АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ

ДЕМОКРАТ ВО ГЛАВЕ РОССИИ

«Долой десять министров-капиталистов!
Первая пуля – Керенскому!»

Из лозунгов Ленина в 1917 году

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В 1917 году впервые в истории России в политику пришел человек широко образованный, с кристально чистой душой, никем не назначенный, не навязанный, любимый интеллигенцией и рабочими. Он потерпел неудачу, но до конца жизни остался верен демократическим принципам, мечте о преображении России в цивилизованное государство. Книга В. Стронгина рассказывает о жизни и деятельности А.Ф. Керенского.

- Варлен Стронгин
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Необходимое послесловие
  - Список использованной литературы

Варлен Стронгин
Александр Керенский. Демократ во главе России

Глава первая
Папка «Ненависть»

Эту папку Александр Федорович Керенский стал собирать в Америке, когда закончил преподавание в Гуверовском институте войны, революции и мира Станфордского университета и освободилось время для своеобразного хобби. В папку аккуратно складывались все очернительные статьи о нем, пасквили, фельетоны, в которых не было ни слова правды – одна клевета и ложь, высосанные из пальца, показывавшие его действия в искаженном, перевранном виде, полные гнусных оскорблений и всячески унижающие его человеческое достоинство. Он считал, что пасквили о нем – лучшее свидетельство его правоты и обязательно найдутся люди, которые когда-нибудь разберутся в его жизни, особенно в деталях незабываемого для него 1917 года, когда он стремился повернуть Россию на путь цивилизации и прогресса. И во многом достиг успеха буквально за несколько месяцев, поразив даже своего главного оппонента из стана большевиков, Владимира Ленина, урожденного Ульянова, часто потом менявшего свою фамилию в целях конспирации – из-за боязни быть узнанным и подвергнуться опасности. Керенский всегда оставался Керенским, но многие клеветники даже не ведали, что его фамилия произносится с ударением на втором слоге. Он жалел, что папка «Ненависть» была далеко не полной, многие статьи и даже документы были утеряны в суматошные времена, когда судьба страны могла измениться за считанные дни и даже часы, либо выкрадены агентами КГБ во Франции… Многие пасквили, напечатанные в Советской России, просто не доходили до него, хотя поток их не иссякал. Запад и его политики всегда были жупелом для прессы Советского Союза, на них сваливали все беды страны, от них якобы постоянно исходила военная опасность. Когда пресса пресыщалась очередными выпадами против кого-либо из западных политиков, то вспоминала о Керенском как о вечном «наемнике мирового капитала» – и вновь строчила о нем клеветническую статью.

Подобную папку завел и Михаил Афанасьевич Булгаков – там хватило места приблизительно для четырехсот отрицательных рецензий на его произведения, а из политиков – герой Сопротивления Франции и ее освободитель от фашизма Шарль де Голль. Он завещал родине альбом, в котором содержалось свыше тысячи пятисот карикатур на него. Его острые, выразительные черты лица были весьма соблазнительным материалом для

художников-карикатуристов, но надо отметить, что там были не только карикатуры, а и множество дружеских шаржей.

Иное дело – карикатуры на Керенского. Они не столько вызывают смех над героем, сколько неприязнь к нему. Особенно изгалялись над ним молодые художники Кукрыниксы. В карикатуре «Временное правительство за работой» Керенский изображен дремлющим за столом, из-под которого выглядывают чемодан, видимо на случай бегства, и женская хозяйственная сумка. Волосы ежиком, глаза закрыты. Политический полутруп. Наверное, такая же идея была вложена художниками в изображение министра юстиции Керенского. В другой карикатуре этих же авторов Керенский показан бодрым, нагло улыбающимся, с цветами встречающим оголтелых бандитов в военных мундирах. Подпись под карикатурой гласит: «Первым актом Временного правительства по Туркестану было постановление от 18 марта 1917 года об амнистии палачам киргизского восстания 1916 года». Поводом для карикатуры послужило решение Временного правительства оставить в Туркестане государственным языком русский, а требование автономии отложить до избрания Учредительного собрания.

В основе шаржа Моора «Керенский – кандидат в Наполеоны» лежит издевательская характеристика, данная Керенскому Лениным. Как правило, карикатуры на Александра Федоровича в подавляющем большинстве отражают не мысли и чувства художников, а ленинские высказывания о главе Временного правительства. Каких только нелестных эпитетов не удостаивался он от Ленина: полукадет, полубонапартист, корниловец, герой фразы, хвастунишка, министр революционной театральности, отъявленный белоэмигрант, бежал за границу, переодевшись в женское платье… Всячески ругал – значит, очень боялся, завидовал его знаниям, активности, благородству, популярности в народе, верности смыслу, законам и истинному бескорыстному служению народу.

Александр Федорович надеялся, что будущие историки разберутся в нелепости и злонамеренности ленинских обвинений, во всех, кроме одного. Он ничем не сможет доказать потомкам, что уезжал из Петербурга не в платье сестры милосердия, не в женской юбке, а в своем обычном полувоенном костюме, во френче и галифе. Эта опереточная, придуманная Лениным ситуация раздражала его, особенно в старости. Он, не терпевший фальши, считал ее оскорбительной, бьющей по самолюбию мужчины и первого премьера демократической России.

Керенский писал, что порою ложь и клевета бывают несокрушимыми. «Даже сегодня иностранцы не без легкого

смущения иногда задают мне вопрос: „Правда ли, что я покидал Зимний дворец в одеянии медсестры?“ Можно простить иностранцев, поверивших столь гнусному утверждению. Но ведь эта чудовищная ложь до сих пор предлагается массовому читателю в Советском Союзе. В большинстве учебников истории вновь и вновь предлагается чушь о том, будто я спасался бегством, напялив на себя дамскую юбку. И все это делается ради того, чтобы дурачить людей в России и других странах, представляя меня этаким трусливым шутом».

Что и как было на самом деле, рассказ впереди. Теперь же упомянем о том, как в самое роковое для себя время Ленин убегал от Керенского, в рабочем кабинете которого на столе лежали неопровержимые документы о переводе Лениным из Германии в Россию денег, предназначенных на расшатывание страны с помощью революции. Позднее мы подробно остановимся на том, почему Керенский не издал приказ о немедленном аресте предателя и как дошло до Ленина известие о грозящем ему аресте. Узнав об этой угрозе, Ленин немедленно испарился из Петрограда, используя для укрытия от властей приемы театрализации вплоть до цирковой буффонады.

Об этом подробно рассказывает финн Эйно Рахья в «Новом мире» за 1934 год – в статье, посвященной десятилетию со дня смерти вождя. Эйно Рахья, в 1917 году помощник финской красной милиции, действовавшей в районе Финляндского вокзала, состоял в охране вождя большевиков. Во время июльских дней в Петрограде состоялась демонстрация. К балкону, на котором стояли Ленин и Рахья, вспоминает финн, подошли матросы, солдаты, рабочие. Над ними развевалось множество знамен, красных флагов было мало. Владимир Ильич говорит: «Нельзя начинать драться, буржуазия нас разобьет». Вскоре мы узнали, что Ильич был прав, продолжает воспоминания Рахья, в начавшейся перестрелке верные Керенскому войска победили слабо организованных большевиков. Временное правительство стало охотиться за Владимиром Ильичом, который был вынужден скрыться. Финскую милицию Керенский тоже приказал разогнать, придравшись якобы к тому, что она несвоевременно выпустила из тюрьмы «Кресты», по словам Э. Рахья, «всякую монархическую нечисть – генералов и жандармов».

Ленин и Зиновьев скрывались в поселке Разливы в доме Емельяновых, на чердаке, а потом перебрались на озеро, расположенное вблизи поселка, и жили в декоративном стогу сена. Внешне он ничем не отличался от других стогов, но внутри был пустой. Вскоре началась осень, дождливая и ветреная, и оставаться в промокшем, продуваемом ветром убежище Ленину

было невозможно. Поэтому и решили переправить его в Финляндию. По дороге сбились с пути, попали в горящий лес, подошли к Черной речке. Решили ее перейти. «Со смешком раздевается и Владимир Ильич, – замечает Рахья, – вода была холодная, доходила до груди. Ленин смеяться перестал». Затем Э. Рахью послали на разведку. По всем приметам это была станция Дибуны. «Кажется, перед нами Дибуны», – сказал Рахья Ленину. «Как так – кажется?! – обрушился на него Ленин. – Почему – кажется? Почему не точно?!» – «Темно было». – «Все равно никогда не должно казаться!» – заключил Ленин. Станция была забита юнкерами и гимназистами. Тогда Э. Рахья с Емельяновым пошли на разведку, а Ленин и Зиновьев залегли в канаву. Там они и пролежали часа два, пока не подошел поезд.

Э. Рахья вспоминает: «Я потихоньку кричу Владимиру Ильичу: „Скорее… прыгайте в вагон!“ И вот они в поезде. Билетов у них, конечно, нет… Но кондуктор оказался знакомым. „Знаешь, – говорит мне он, – Ленин-то сукин сын. Два с половиной миллиона взял и продал нас“. У меня даже сердце захолонуло. Смотрю, Владимир Ильич втянул плечи, уперся локтями в колени и закрыл лицо ладонями». Ленина, согласно плану, машинист Ялава забирал на станции Удельная. «Ленин переоделся рабочим, и мы вместе с ним пошли на станцию… Уговорились, что машинист пройдет электрический фонарь и остановится в тени, – вспоминает Рахья. – Ленин дождался этого момента и вспрыгнул на паровоз, довезший его до станции Терриоки… В деревне Ялкола у моего тестя была сделана к дому пристройка для кур. Ленин изъявил желание жить в ней… Когда у него было свободное от писания время, он ходил с местными ребятами за ягодами, даже купался. Ребят удивило, что Ильич никогда не снимал кепку. Не раз спрашивали его об этом. Владимир Ильич отговаривался головной болью. Точно так же ребят удивляла и борода Ильича, которая у него была то длиннее, то короче, в зависимости от того, как удавалось загримироваться».

Ленин прожил в Ялколе две недели, но его беспокоило, что деревня находится вблизи русской границы, где следовало опасаться шпиков. Поэтому он попросил перевезти его подальше, в глубь Финляндии.

Э. Рахья так описывает приготовление к переезду: «В одно прекрасное утро в Ялколу приехали два финна. Предъявив документы, они отрекомендовались артистами и сказали, что им поручено загримировать Ленина. Они положили на него столько грима, что превратили в какого-то урода. Когда Ильич уселся в вагон, грим от тепла потек по лицу, и оно сделалось пестрым.

Приделанная борода съехала на сторону. Пришлось грим смыть, а бороду убрать. Вышло так, что в вагон человек пришел с бородой, а в вагоне оказался без бороды… Ну и досталось всем нам от него за плохую конспирацию!»

В то время в Финляндии не было большевистской партии, а местных социал-демократов Ленин называл «меньшевистским дрянцом». Жизнь среди них была ему не по нутру. Он потребовал переезда в Петроград. И вновь принял новый облик: «Надел на себя крахмальную рубашку с черным галстуком, приладил старый парик, очки и нацепил на голову фетровую шляпу. В этом костюме и в осеннем пальто он удивительно стал похож на благочестивого лютеранского пастора. Посмотрев в зеркало, Ильич остался доволен собой».

25 октября 1917 года Керенский дал указание разводить в Петербурге мосты. Ленин посчитал это началом революционных событий. «Ага, значит, начинается!» – радостно произнес он и приказал довести его до Смольного. Рахья нашел старую кепку, одел Ильича в выношенную до последнего одежду и повязал ему белой тряпкой щеку, чтобы было похоже, что у него болят зубы.

Герой рассказа простодушного финна выглядит не как серьезный политик, а как участник политического фарса, более похожий не на вождя революции, а на целеустремленного, хитрого и опасного авантюриста.

Говорят, что политика никогда не делается чистыми руками. Поспорим с этим модным до сих пор утверждением и вспомним выдержавший испытания веками афоризм великого мыслителя Эразма Роттердамского: «Иногда побеждает не лучшая часть человечества, а большая».

Возможно, маскировка спасла Ленина от ареста. И ему не нужно было собирать папку под названием «Ненависть». Его любили те, кто был ничем и стал всем. Очень любопытно рассказывает связной и охранник Ленина Э. Рахья о создании Совета народных комиссаров, происходившем в Смольном: «Слышу, как один из присутствующих кричит своему товарищу, сидящему напротив: „Ты будешь комиссаром финансов!“ Тот отнекивается: „Что вы, товарищи, какой я комиссар, ведь я даже не знаю, что делать на этой должности“. Владимир Ильич хохочет: „Бросьте, товарищи, ну кто же из нас и когда бывал на таких должностях! Никто не бывал. Поэтому нечего отнекиваться – бери комиссариат финансов, и больше никаких“.

Очевидец рассказывает, что когда Сталин впервые увидел Троцкого, то издал дикий гортанный звук злобы и отчаяния. Сталин понял, что никогда не достигнет ума и культуры своего сотоварища по партии. Убрать его с пути можно только одним

способом – уничтожением. Ленин не убил Керенского, хотя, вероятно, и пытался это сделать, но не успел – сам ушел из жизни. Для Сталина более был опасен Троцкий, чем Керенский, но он внимательно следил за ним, и Керенский чувствовал это. Папка «Ненависть» росла и пухла. К ней можно было бы добавить грубое поношение Керенского с эстрады, с подмостков театра… Но его враги не учли специфики истории: ее можно исказить, переврать, но лишь на время. Рано или поздно в истории все становится на свои места. Об этом напомнил нам еще в 1955 году известный ученый-историк Д. А. Волкогонов: «История лаврами победителей увенчивает своих лауреатов обычно много лет спустя. Ленин казался победителем на все времена, но в его октябрьском триумфе Милюков, Мартов, Плеханов, Керенский и другие проницательные россияне увидели смутные очертания неизбежного исторического поражения. Сегодня мы знаем, что именно они оказались правы». На мой взгляд, Александр Федорович Керенский увидел эти очертания весьма отчетливо еще в далеком 1917 году, пытался, прилагая огромные усилия, повернуть страну на единственно верную дорогу демократии и цивилизации. И пусть на несколько месяцев, но в России воцарились законность и демократия. Образованный, деятельный и неравнодушный ко всему дурному человек, политик с чистой совестью, гуманными и благородными помыслами, он, наверное, имел немало врагов, но, преодолевая их ненависть, он шел своим путем все годы долгой жизни, небывало страстной, увлекательной и поучительной, особенно для политиков и людей нашего времени.

Глава вторая
Детство в Симбирске

Александр Федорович Керенский в своих мемуарах называл Симбирск, где он родился, городом консервативных землевладельцев, где уклад и образ жизни горожан если и менялся как-то, то медленно и незаметно. Из волжских городов он был, пожалуй, самым небольшим, чуть больше или меньше Костромы. Здесь не было толчеи саратовских улиц, шума и чудес разудалой ярмарки, пьяных песен, доносящихся из трактиров, разбросанных вдоль спусков к Волге, здесь не было суеты казанских площадей, студенческих споров, переходящих иногда в веселое застолье, иногда в драку, здесь не было гонок на пролетках с заезжими купчиками… С большими волжскими городами Симбирск роднила величественная вольная река, еще не загаженная мазутом (даже у пристани и складов), отходами заводов и фабрик, не цветущая, как ныне, ядовитой зеленью в самый разгар лета.

Волжское приволье именно тут, в маленьком городке и рядом с ним, дало жизнь знаменитым писателям: Николаю Михайловичу Языкову, Дмитрию Васильевичу Григоровичу, Ивану Андреевичу Гончарову, великому историографу России Николаю Михайловичу Карамзину, которому еще до рождения Саши Керенского был установлен памятник. Карамзин был вылеплен во весь рост и облачен в античные одежды, что должно было символизировать его вечность и героизм, присущие великим деятелям древности.

Казалось, консерватизм города помешает вылиться наружу революционному буйству, заложенному в некоторых людях, но не тут-то было… Начнем с нашего героя. Саша Керенский родился 22 апреля 1881 года в семье директора мужской гимназии и средней школы для девочек. Отец его, Федор Михайлович, происходил из семьи бедного приходского священника в полузабытом богом городке Керенске, берущем название от протекавшей там речки Керенки. Окончил духовное училище, затем семинарию, что позволило поступить ему в Казанский университет – в то время одно из лучших в России высших учебных заведений. Получив диплом по специальности «история и классическая филология», был оставлен на работе в университете. Одновременно был приглашен преподавателем на Высшие женские курсы, где встретил и полюбил студентку Надежду Александровну, вскоре ставшую его женой. В 1872 году

супруги переехали в Вятку. Там Федор Михайлович был назначен директором гимназии. Через три года в их семье появился первый ребенок – Наталья, затем через каждые два года родились Елена и Анна, а Александр и Федор – уже в Симбирске. Семья считалась благополучной. И Федор Михайлович получал немалое жалованье, и за Надеждой Александровной – дочерью начальника топографической службы штаба Казанского военного округа – вышло богатое приданое.

Симбирская гимназия, во главе которой стал Федор Михайлович, считалась одной из образцовых в России. Жизнь семьи протекала бы при полной безмятежности и благоденствии, если бы не болезнь Саши – туберкулез бедренной кости. Опасное заболевание и трудноизлечимое. Пришлось носить тяжелый, кованый сапог с привязанным к каблуку дополнительным грузом, что-то похожее на неусовершенствованный аппарат известного хирурга нашего времени курганского доктора Илизарова. И Саша носил его – скрепя зубы, не жалуясь на боль, на тяжесть, проявляя удивительное для шестилетнего ребенка упорство в преодолении недуга.

Труднее для него, от природы живого и подвижного, было лежание в кровати. Он считал это сущим наказанием, спасаясь чтением книг, которое со временем стало для него привычным и любимым делом. Он проглатывал книгу за книгой: исторические романы, путешествия, научные брошюры, рассказы об американских индейцах… Он познал обаяние Пушкина, Лермонтова и Толстого, не мог оторваться от «Домби и сына», проливал горькие слезы над «Хижиной дяди Тома»…

Здесь сделаем отступление от воспоминаний Керенского о своем детстве, отметив редкое для маленького ребенка переживание и сострадание к бедным, униженным людям. Няня Пушкина – Арина Родионовна – рассказывала будущему поэту русские сказки, напевала народные песни, оказав благотворное влияние на развитие души и характера мальчика. О ней часто вспоминал великий поэт. Не забыл свою няню – Екатерину Сергеевну Сучкову, бывшую крепостную, неграмотную, но тем не менее преподавшую ему в детстве хороший нравственный урок христианства, – и Александр Федорович Керенский. Ее рассказы о крепостной жизни рождали в душе мальчика множество вопросов о сути несправедливого отношения людей друг к другу, доходившего до издевательства. Однажды весной из местной тюрьмы вооруженные солдаты вели к причалу партию заключенных, приговоренных к ссылке в Сибирь. Когда Саша и его младший брат увидели наполовину обритые головы осужденных и услышали звон кандалов, то в страхе бросились

бежать. «Вы куда? Неужто и в самом деле боитесь, что они обидят вас?! – вслед убегающим мальчикам прокричала няня. – Лучше пожалейте несчастных. Нам ли судить и осуждать их? Ради Христа, будьте добры к ним». Затем обратилась к Саше: «Ну-ка, Саша, вот я сейчас куплю калач, а ты подойди к солдату, тому, что впереди, и попроси, чтобы разрешил отдать калач несчастным. И радость придет не только к ним, но и к тебе».

Преодолевая несусветный страх, мальчик дрожащей рукой протянул калач каторжнику. Потом чувствовал себя едва ли не героем. Вспоминал, что они с братом «очень любили христианские праздники – в Благовещение выпускали из клеток птиц». Саша не мог забыть мгновения, когда впервые увидел изображение Христа, «словно прозрачного, в падающих на него лучах света, и живого».

«Мальчиком Владимир Ульянов тоже, наверное, смотрел на это распятие и, быть может, в душе посмеивался, сохраняя благочестивое лицо, если, конечно, верить его собственному рассказу о том, как он в четырнадцать лет выбросил в мусорное ведро свой нательный крест. Что касается меня, то в моих чувствах никогда не было двойственности. В детстве был очень религиозен. Образ замечательного человека, пожертвовавшего своей жизнью на благо других и проповедовавшего лишь одно – любовь, – стал источником моей юношеской веры, которая позднее воплотилась в идею личного самопожертвования во имя народа. На этой вере зиждился и революционный пафос – и мой, и многих других молодых людей того времени. Конечно, в религиозной вере была и официальная сторона, казенную сущность которой выражал Святейший синод – бездарный бюрократический аппарат. Своей борьбой с инакомыслием, своим бездушным отношением к нуждам людей он лишь укреплял позиции атеизма. Но в детские годы я не знал об этой стороне церкви».

Одно из радостных воспоминаний детства – выздоровление, полное, после чего Саша вновь стал жизнерадостным мальчишкой. Но перенесенная болезнь, испытание мучительной болью, пережитое впечатлительным ребенком, в чем-то меняют его сознание. Он это чувствует сам: «В глубине души я стал ощущать, что все, что окружало и окружает меня, все, что происходило со мною, изначально связано с Россией: красота Волги, вечерний звон, архиерей, торжественно восседающий в карете, запряженной четверкой, лошади, каторжники в кандалах, хорошенькие маленькие девочки, с которыми я ходил в танцкласс, оборванные, босоногие мальчишки, с которыми играл летом, мои родители, детская, няня, герои русского эпоса, Петр

Великий… Я стремился понять сущность того, что раньше считал очевидным. Однажды майским днем освободившаяся от ледяного плена Волга казалась безбрежной. Покоренный открывшейся красотой, я испытал ощущение ликующего восторга, которое почти достигло состояния духовного преображения. И вдруг, поддавшись безотчетному чувству страха, я опрометью бросился бежать. Этот момент стал решающим в выборе духовного пути, которому я следовал потом всю оставшуюся жизнь».

Это – самое загадочное изречение Керенского. Наверное, чтобы в точности осмыслить эти слова, надо быть самим Александром Федоровичем. На первый взгляд его изречение противоречит истине. Почему «ликующий восторг» должен привести к «духовному преображению», которого надо бояться? Вероятно, по мнению Керенского, «ликующий восторг» – явление столь редкое, что не отражает повседневную жизнь, и на волне этого «восторга» можно расслабиться, потерять те духовные качества, которые движут человеком в созидании более лучшей и новой жизни, можно лишиться своей нынешней сути, самого себя, своей мечты. Можно превратиться из романтика и борца в человека, живущего прочувствованным им на какие-то мгновения «ликующим восторгом» и остановиться в развитии, проще – не пройти «медные трубы», а жить воспоминаниями об их прекрасных и услаждающих звуках. «Ликующий восторг» еще не раз будет посещать нашего героя, и, спасаясь от него, он будет бежать, поддаваясь безотчетному и спасительному страху.

Вообще-то люди не страшили Сашу Керенского – даже самый отпетый в городе пьяница, который в состоянии подпития набычивал шею и грозился оторвать голову всякому, и в первую очередь «антиллигентам, от коих идет в умах зараза». Но был в городе юноша Владимир Ульянов, окончивший гимназию ранее Саши, юноша с кудряшками на голове, с узенькими глазами, в которых Саша сумел разглядеть холодность и расчетливость. Он убеждал себя, что Володя все-таки не такой опасный, как он его себе представляет, а причиной такого мнения о бывшем гимназисте был его родной брат Александр, покушавшийся на жизнь императора Александра III и за это казненный. Саша вспоминал убийцу – сына директора Симбирского департамента народных училищ. Ничем особенным он не отличался и оставил след в сознании «как зловещая угроза». В городе разговоры о нем велись не раз, и при этом в мыслях Саши возникала мчащаяся по городу «таинственная карета с опущенными зелеными шторками, которая по мановению руки могущественного главы жандармского управления увозит людей в неизвестном направлении».

Темноволосый, узколицый, с выпяченной верхней губой, грубоватый, но без злобы на лице, Александр Ульянов не представлялся горожанам Симбирска убийцей, тем более царя. Узнав о его казни, брат Володя сказал, что он пойдет другим путем. То ли на самом деле он произнес эти слова, чтобы отмежеваться от брата, то ли позднее их приписала ему большевистская печать – историей точно не установлено. Но в обоих случаях они звучат неопределенно, а значит – опасно. Неясен путь, по которому собирался пойти юный Владимир Ульянов. А когда выяснится, то окажется неслыханно кровав, и противостоять ему будет нелегко, даже его истинно демократичному земляку, поднаторевшему в юридической науке и установившему в стране, казалось бы, нерушимые законы.

Саша читает программу организованной осенью 1879 года новой партии – «Народная воля». Ближайшая ее задача «снять с народа подавляющий его гнет современного государства, провести политический переворот с целью передачи власти народу». Основное средство для достижения этой цели – террор. Убийство царя – вот путь к захвату власти. Под руководством народовольцев Желябова и Перовской после нескольких покушений удается 1 марта 1881 года уничтожить царя Александра II. Непосредственными исполнителями были Рысаков и Гриневицкий, от бомбы которого царь и погиб.

Народ не поддержал убийц. «Народная воля» терпит ряд жесточайших поражений. Казнены Желябов, Перовская, Рысаков, Кибальчич и рабочий Тимофей Михайлов. Попытки к возрождению террора не имеют успеха. В 1887 году группа петербургских студентов организует покушение на царя Александра III. Попытка неудачна. Метальщиков бомб хватают на улице 1 марта 1887 года и пятерых казнят: Александра Ульянова, Осипанова, Андреюшкина, Генералова, Швырева. Саша Керенский отмечает, что даже внешне эти убийцы резко отличаются от предыдущих народовольцев, чьи лица были более интеллигентны, в чьих глазах проглядывал ум. У нынешних они проще – суровы, злобны и туповаты. Убийцы именовали себя «террористической фракцией» партии «Народная воля». Их программа показывала, что они знакомы с учением Маркса и Энгельса, многое из него попытались воплотить в жизнь. Обосновывая неизбежность в будущем социалистического строя, программа говорит, что осуществление социалистического идеала «возможно только как результат изменения количественного или качественного увеличения силы в рабочем классе… Рабочие – естественные носители социалистических идей… они будут иметь решающее значение при экономической и политической борьбе…». В

программе явно марксистский уклон. Но «Народная воля» постепенно уходит со сцены. В России к концу восьмидесятых появляются первые марксистские кружки, и один из них, в Самаре, возглавляют А. П. Скляренко и В. И. Ульянов-Ленин.

Гимназист Саша Керенский интуитивно чувствует, что Володя Ульянов враждебно настроен к нему. При встрече отводит глаза в сторону. Владимир замкнут, нелюдим, необщителен.

– Папа, почему ты приписываешь Владимиру Ульянову те качества, которых у него нет? – спрашивает Саша у отца.

– Ты читал мою аттестацию? – удивляется Федор Михайлович.

– Читал, – простодушно отвечает сын. – «Весьма талантливый, постоянно усердный, аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению… За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда наблюдали его родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать, сосредоточившая все заботы и попечения свои на воспитании детей». Пусть так, папа. Но дальше ты пишешь, что в основе воспитания Ульянова всегда лежала религия… Сомневаюсь. Имею для этого основания…

– А факты? – вскидывает брови отец.

– Были разговоры, – нервничает Саша – ему не хочется ябедничать, тем более отцу, о гимназисте, бросившем нательный крест в мусорное ведро.

– Я нарушил бы закон, если бы написал неправду, – хмурится Федор Михайлович, – да, добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова. Пойми ты, Саша, брат за брата не отвечает. По закону. Но разве примут в университет брата цареубийцы? Без моей отличной аттестации? И маму его жалко. Я был хорошо знаком с ее покойным супругом. Из одного города мы, разве не понимаешь? Ты что, поссорился с Ульяновым?

– Нет, папа.

– Зачем закрывать Ульянову двери университета, сынок? С каждым может приключиться беда. Его брата, Александра, лишили жизни. Разве это не страшное наказание для его брата и сестер? Для несчастной матери? Будем милосерднее к людям, Саша! Я сам рисковал, подписывая отличную аттестацию Ульянову. Мне он сам не очень приятен. Чересчур замкнутый. Себе на уме. Но фактов его отрицательного поведения у меня не было.

– Будут! – неожиданно вспылил Саша, введя отца в растерянность. – Он может пойти дальше Александра! Я чувствую

это!

– Ты чересчур резок, сынок, – придя в себя, заметил Саше отец. – Судьба брата отпугнет его от подобных авантюр! Вас еще столкнет жизнь, непременно столкнет. Не сейчас, а через много лет. Ты расскажи ему, Володе Ульянову, что твой отец рисковал местом, незапятнанной репутацией, но не закрыл ему дорогу в жизнь. Он тоже когда-нибудь рискнет, чтобы помочь людям, и, если понадобится, поможет тебе, Саша. Ведь мы, симбирцы, должны помогать друг другу…

В отношении младшего Ульянова Саша был не во всем согласен с отцом, но больше спорить не стал. Отца он уважал безмерно, гордился им. Как инициативного, бесконечно преданного делу просвещения человека отца знали и ценили в столице, повышали в должности и звании. В начале 1898 года действительного статского советника Федора Михайловича Керенского переводят в Ташкент на пост инспектора учебных заведений Туркестанского края.

Глава третья
Жизнь в Ташкенте. Учеба в Петербурге

Саша покидал родной город без особого сожаления. Здесь ему все было известно, привычно, иногда до скукоты, но позже, вдали от родного города, он часто мысленно возвращался к нему, грустил, зная, что судьба не скоро устроит свидание с ним. А приехать в Симбирск, даже на неделю, было делом немыслимым, потому что одна дорога до него из Ташкента, куда вместе с отцом переселилась семья, занимала очень много времени. Переезд в Ташкент оказался целым путешествием – сначала через Каспий, потом через пустыню до Самарканда. В этом городе сделали остановку. Дворцы, мечети, гробницы с разнообразными витиеватыми узорами поражали воображение. А местный базар – колоритнейшее зрелище, от которого было трудно оторваться. Горы невиданных овощей и фруктов, гирлянды винограда – и все почти за бесценок.

Местные жители без особой неприязни относились к «урусам». Покорение Туркестана закончилось четверть века тому назад, и узбеки хотя и невольно, но свыклись, сжились с приехавшими к ним русскими. Первые из них – генералы и солдаты – беспощадно расправлялись с туземцами за малейшую попытку возмущения с их стороны. Целые кишлаки сжигались дотла в отместку за убийство русского, найденного поблизости. В приказе офицера, усмирявшего восстание в Катта-Кургане, писалось, что одна «подошва русского солдата ценнее тысячи голов несчастных сартов» (узбеков). Такие приказы не оставались «фразами». В 1898 году, уже после переезда Керенских, вспыхнуло восстание в тогдашней Ферганской области. Во главе него стоял местный религиозный вождь Дукчи Ишан. В ночь на 18 мая отряд местных жителей, вооруженных кинжалами, железными булавами и палками, напал на солдатские казармы в Андижане. Было убито 19 солдат. Царские войска быстро подавили восстание, перебили сотни узбеков, сровняли с землей все кишлаки, где жили руководители восстания, и на том месте начали строить русские селения. 18 человек были повешены, 362 – присуждены к каторжным работам от четырех до двадцати лет. А до Ташкента не донеслись даже отголоски этого восстания. Здесь в большом количестве были расквартированы русские войска, для русских строился новый город, но ночные появления в старой части для

приезжих из России были довольно опасны. Однако днем местное население относилось к ним почтительно.

Саша наблюдал, как во время прибытия в Ташкент русских генералов тысячи узбеков падали перед ними на колени. Он знал из истории, что приращение территорий к России началось еще при Петре I, захватившем районы нынешней Эстонии, части Латвии и Финляндии, Кавказское побережье Каспия. Екатерина II присоединила к России северное побережье Черного моря, Крым, Правобережную Украину, Белоруссию, Литву и Курляндию. Александр I отнял у шведов Финляндию, у турок – Бессарабию и после войны с Наполеоном – часть Польши с Варшавой. При нем же Россия начала многолетнюю войну за покорение кавказских горцев. Александр II закончил покорение Кавказа, отвоевал у Китая Приамурский и Уссурийский края, захватил огромные территории в Средней Азии. Трудно было десятилетнему мальчику судить о правомерности этой политики, он принимал свою жизнь в Ташкенте как естественную, тем более что отец согласился здесь работать.

Саша побаивался местных жителей, когда они толпою вываливались из мечети, возбужденные, с фанатически горящими глазами, но вражды к ним не ощущал. Вспоминал Симбирск, где жизнь была куда понятнее и спокойнее. Семью Керенских поселили в новый кирпичный дом, расположенный вдалеке от старого города. Соседями были высокообразованные россияне: врачи, учителя, инженеры, чиновничий люд. Их привлекали сюда различного рода льготы и более высокое жалованье, почти бесплатное жилье и дешевизна продуктов, а также новизна жизни, желание помочь отсталому народу в образовании… С годами противостояние между узбеками и русскими все уменьшалось, особенно в Ташкенте. Саша с головой окунулся в гимназическую жизнь. Учился средне. Поэтому отец проявлял большое внимание к его сочинениям, часто повторяя свою излюбленную фразу: «Меньше слов, больше мыслей». Отец придерживался монархических взглядов. Саша прислушивался к разговорам старших и был удивлен, что отец поддержал открытое письмо Льва Толстого, в котором известный писатель выступал против франко-русского союза. Значит, отец был не во всем согласен с царем, что поразило сознание юноши.

Отец часто упоминал министра Сергея Юльевича Витте, честного, преданного государству политического деятеля. «Николай (дядя царя – Николай Николаевич. – *В. С.*) и Витте виноваты в том, что Дума существует, а тебе она принесла больше забот, чем радостей», – вспоминала царица в 1915 году в письме Николаю II. Графу Витте, обладавшему широким

кругозором, было трудно отстаивать свои реформистские политические взгляды перед реакционными чиновниками Санкт-Петербурга. Однажды во время пребывания в Ташкенте Витте посетил отца. Они разговаривали долго и увлеченно, к обоюдной радости сходясь во мнениях по многим вопросам. Позднее отец сказал: «Если бы все вельможи Санкт-Петербурга были похожи на Витте, то Россия была бы совсем другой страной».

Гимназист Саша Керенский был подвержен монархическим убеждениям, и в день смерти Александра III (20 октября 1894 года) горько и искренне плакал. Но именно в Ташкенте его взгляды на верховную власть в стране изменились, и объяснил он это тем, что поведение и мышление его европейских сверстников складывалось под влиянием постулатов, принятых в другой части России, действительность виделась им в свете устарелых и косных догм, а в Ташкенте, вдалеке от неусыпного чиновничьего контроля, преподаватели в своих мыслях зачастую отклонялись от учебных программ. «Над нами, учившимися в Ташкенте, – замечал в своих мемуарах А. Ф. Керенский, – не тяготели шаблонные стереотипы. Мы были вольны делать свои выводы из происходящих событий. Это позволило мне освободиться от веры в благодетельного царя».

Учеба Саши в университете после гимназии не вызывала в семье никаких сомнений. Спорили лишь о том, в каком из двух университетов – Казанском или столичном. Саша, как и отец, решил заняться историей и филологией, добавив еще учебу на юридическом факультете. Отец расхваливал свою альма-матер, славный город Казань, но Сашу магнетически притягивал Санкт-Петербург, откуда шли новые веяния – хотя и разного толка, но интересно было в них разобраться самому. Там уже училась на Высших женских курсах сестра Елена, собиралась поступать вторая сестра – Анна.

Ранней осенью 1899 года Саша Керенский со своими сестрами совершил путешествие из Азии в Европу, но не в родной Симбирск, а в Санкт-Петербург. Опять через Самарканд, через Каспий, но уже без длительных остановок. Положение местного населения виделось ему уже не таким благополучным и спокойным, как при переезде сюда; даже осенний, сказочно богатый самаркандский базар не мог скрыть бедность и забитость азиатов, а мучительное преодоление пустыни не заглушило, не затмило мысли об этом. Но величавый и мудрый, одетый в священный камень Санкт-Петербург своей неповторимостью и красотой сразу и полностью поглотил внимание Александра Керенского. Ему, юноше с периферии, не хотелось выглядеть в чем-то отстающим от столичных студентов. И он поразился, что в

спорах и дискуссиях он по суждениям и мыслям не уступает им.

Его сразу зачислили на два факультета: историко-филологический и юридический, который он и выбрал, когда запретили совмещение учебы. Тяга интеллигентной молодежи к освоению юридической науки была в то время едва ли не повальной, о чем справедливо рассуждает историк: «Русская адвокатура, в представлении поколения, это была та горсть настоящей интеллигенции, которая в самые глухие и безобразные времена одна возвышала свой одинокий, смелый, тоскою и негодованием звеневший голос над бесправной, молчащей, задыхавшейся от злобы и повиновения страной… По праву гордилась тогдашняя Россия своими адвокатами, своими защитниками, теми всеми, кто с умом, с изяществом и почти с донкихотской отвагой, первыми бросались вперед, и шли до конца и напролом, чтобы напомнить русской дебелой бабище, грузной и сырой Альфонсе о тонком образе бессмертной Дульцинее, о вольности, о попранном, но неотъемлемом праве жить и дышать».

Преподаватель университета, рассказывая студентам о Новгородском вече, с неподдельным пафосом восклицал:

– Не будь веча, ничего бы не было! Понимаете господа, ни-чего!

В ответ раздался задиристый голос студента Керенского:

– Так ведь ничего и нет!

Преподаватель в ответ отреагировал сейчас же:

– Так вот именно, друзья мои, поймите раз и навсегда, что не будь того веча, то даже и того, чего нет, тоже не было бы!

Аудитория разразилась оглушительным смехом, благодарно глядя на остроумного преподавателя и смелого студента Керенского. Он становился смелее в разговорах, особенно после того, как заметил, что к его мнению прислушиваются даже студенты более старших курсов. В университете задерживался до позднего вечера, когда следящие за порядком дежурные преподаватели гасили в аудиториях свет. Еще успевал перебросится со спорщиками несколькими репликами во внутреннем дворе, и только тогда, усталый, но довольный жизнью, о которой мечтал, брел в находящееся неподалеку от института общежитие. И там, наскоро поужинав, спешил ввязаться в дискуссию, иногда длящуюся до полуночи. Свободная, безнадзорная жизнь окрылила его.

Он ждал наступления нового дня, новых знаний, знакомств, новых и интересных разговоров. Не пропускал гастрольные спектакли Художественного театра, литературные вечера, проводимые в университете и на Бестужевских курсах, где

училась сестра Елена. Ему поручили организацию благотворительных встреч. Он гордился тем, что привозил в университет актрису Комиссаржевскую, тогда еще молодую, не очень известную. На курсах Елены тоже проводились благотворительные вечера. Там он с упоением слушал стихи, читаемые авторами-символистами Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским. Провожая поэтов, поцеловал руку, поданную ему Зинаидой Гиппиус, – сделал это впервые в жизни, но очень благородно и складно. Поэтесса была красива и грациозна. Он слушал ее стихи и порою замечал, что перестает вникать в их смысл, очарованный ее внешностью.

Будучи далеко не красавцем, но живым, интересным собеседником, он не страдал от невнимания девушек, чувствовал, что нравится им, в том числе весьма симпатичной, но грустноватой Оле Барановской. Он сам удивлялся, что часто оказывался рядом с нею, поджидал после занятий. Провожал ее до дома. И однажды натолкнулся на маму Оли, галантно представился ей, она в ответ сказала ему, что является дочерью видного китаеведа академика Василия Павловича Васильева и, уже пригласив Александра в дом, угощая чаем, призналась, что недавно потеряла отца, а с отцом Оли – полковником Генерального штаба Львом Сергеевичем Барановским – разведена. Александр почтительно внимал своеобразной исповеди мамы девушки, за которой ухаживал. Она нравилась ему, но не более. Тем не менее все чаще и чаще, устав от споров, он мысленно возвращался к образу миленькой, статной Оли Барановской… Но не считал, что влюбился в нее. Казалось, что на это у него нет и не будет времени. Он и его новые товарищи постоянно участвовали в жарких дискуссиях о текущих событиях в России, всех объединяло неприятие абсолютной монархии, они решительно осуждали официальную политическую линию, сочувствовали движению народников, скорее – соцреволюционеров, среди которых марксистов не было. Марксисты пропагандировали отказ от союза с буржуазными и мелкобуржуазными студенческими организациями и сосредоточивали усилия на победе промышленного пролетариата, полностью игнорируя роль крестьянства. Для Александра было очевидно, чем его органически отталкивал марксизм: присущим ему материализмом и подходом к социализму как к учению лишь одного класса – пролетариата, при котором классовая принадлежность полностью поглощала сущность человека. Но какого? Без личности, индивидуальной и неповторимой, без цели освобождения человека, как результата исторического процесса. Что же оставалось у марксистов от

русской идеи?

Позднее в своих мемуарах Александр Федорович отметит, что «борьба между социалистическими группировками в университете в начале столетия отражала резкое противостояние общественного и экономического мышления в среде радикальной интеллигенции, что сыграло историческую роль в революции 1917 года». Даже в конце жизни Керенский не мог понять, какая сила толкнула его на первое и громкое политическое выступление. Ведь он не принадлежал ни к какой партии. Может, этот юноша из Симбирска был инопланетянином, хотя понятия о пришельцах из космоса тогда не существовало. Впрочем, как и его земляк Владимир Ульянов. Если так, то были они с разных планет, с разными понятиями о предназначении человека, и одного из них обуревало желание освободить человечество от ложных и опасных понятий, а другого – обманом, несбыточными обещаниями заманить в дьявольскую ловушку, свалить в пропасть примитивного единомыслия и нищеты.

Если приглядеться к облику Александра Федоровича, к его отнюдь не классическим чертам лица, к такому, как его изображали художники в шаржах и карикатурах, то он становится весьма похожим на инопланетянина в представлении современных живописцев. Стоило немного утрировать черты его лица, фигуру, жесты – и сразу проявлялось его своеобычие, наводящее на мысль о космическом происхождении. Не будем брать за основу образа Владимира Ульянова массу приторных до слащавости его портретов и скульптур. Смените на нем костюм на робу – и перед вами предстанет готовый уголовник из зоны. Есть в городе Иванове посмертная скульптура Ильича в его истинный рост, изображенного реальным, таким, каким он был в жизни, – с искаженным от злости лицом, пустыми, холодными глазами, – настолько реальным, что местные партийные власти убрали его с центральной площади и упрятали в местный музей, заменив высоченным трафаретным вождем с протянутой рукой, возможно, в направлении той планеты, что сбросила его на Землю с явно недобрыми намерениями.

А если уйти от иронии, то при всех противоречиях между ними этих людей объединяло детство в Симбирске, о котором Александр Федорович помнил до конца жизни, а в разговоре с одним известным россиянином признался, что «уважает Владимира Ульянова как земляка-однокашника». Может, поэтому и сохранил ему жизнь, хотя считал предателем и не любил. И было за что – не столько за убеждения, сколько за злодейство, о фактах которого знал преотлично. И переживал, когда в старости читал советскую прессу, где искажали их взаимоотношения и

создавали легенду о великом, честном и благородном основателе первого в мире социалистического государства.

Многое оживало в памяти Александра Федоровича. Даже первое публичное выступление. Случилось это на лестнице у центрального входа в университет. Он увидел массу студентов, заполнивших пролеты лестницы, о чем-то спорящих громко и возбужденно. То ли ему передалось их волнение, то ли оно давно накопилось в его душе и требовало выплеска, но какая-то совершенно необъяснимая, неведомая сила подняла его на верх одного из пролетов и заставила говорить так страстно и громко, что студенты приумолкли, полностью обратив внимание на него, еще далеко не всем знакомого второкурсника. Он не готовился к речи, поэтому говорил сбивчиво, переключаясь с факта на факт, но не отклоняясь от основной темы, от размышлений о том, как помочь народу в его освободительной борьбе: «Террор не спасет людей от тирании. На смену убитому диктатору придет другой, возможно еще более кровавый. Царю не нужна даже Дума, где представительство масс народа невелико. Еще в начале своего правления Николай II назвал попытки либералов внести поправки в его режим „бессмысленными мечтаниями“. Царица писала самодержцу: „Никому не нужно их мнение – пусть они лучше всего займутся вопросом о канализации… Россия, слава богу, не конституционная страна, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться“. Господа! Кто мы с вами на самом деле? Бессловесные твари, которые пошли учиться в университет только с одной целью – научиться налаживать канализацию? Или мы самостоятельные люди, самостоятельно мыслящие и осваивающие науки, чтобы потом помочь народу стать свободным? Господа, мы часть народа и живем его бедами и надеждами!» Речь студента Керенского не раз прерывалась криками: «Правильно! Правильно! Мы – люди! С нами нельзя не считаться! Даже царю и царице!» – а закончилась шумными аплодисментами студентов. Саша пошел к выходу, а они еще звучали в его ушах, и ему казалось, что он плыл по воздуху, одухотворенный и счастливый. Приземлился на следующий день в кабинете ректора университета. Их разделял длинный стол, за которым ректор принимал преподавателей. По гневному лицу ректора Александр Керенский почувствовал, что сближаться с начальством ему не стоит, но и расстояние не спасло студента от расправы. «О вашей дерзкой речи говорит весь университет! – раздраженно произнес ректор. – Нашли место для митинга! В святых стенах! Безумствовали более часа! Молодой человек, не будь вы сыном уважаемого Федора Михайловича, внесшего большой вклад в служение стране, я немедленно выгнал

бы вас из университета! Не раздумывая! В сию же минуту после вашего проступка, пусть неосмысленного, объяснимого вашей нервностью и несдержанностью, свойственной молодости и глупости! Но ваш отец… Поклонитесь ему… Выдающаяся личность! Сеет зерна разума в труднодоступном, далеком от столицы краю! М-да… Что же делать с вами? Гнать поганой метлой? За вашу кощунственную речь? Вы заслужили это. Поймите! Я больше не хочу разговаривать с вами, молодой человек! Предлагаю взять отпуск и некоторое время пожить с семьей. Все! Идите!»

Александр вышел из кабинета удрученный наказанием, но не столь страшным, как он ожидал, – его не выгнали из университета, чего он страшился более всего. Наказание показалось ему не только мягким, но и в какой-то мере престижным, даже льстило ему. Студенты с восхищением смотрели на него, дружелюбно здоровались. У входа в университет прохаживалась Оля Барановская. Она ждала его. Увидев, бросилась навстречу: «Не выгнали! Я уже знаю! Как ты не испугался?! Один! Перед сотней человек! Клеймить власть! Я не думала, что ты такой смелый! Я горжусь тобою, Александр! На меня и твоих сестер студентки теперь смотрят как на героинь!» Душа Александра ликовала, и в этот вечер он впервые поцеловал Ольгу, а она чувственно прижалась к нему. «Придется уехать домой», – как бы между прочим заметил ей Александр. «Возвращайся скорее, я буду ждать!» – трепетно произнесла Оля Барановская и в темноте быстро нашла своими губами его губы. Но он не оценил чувства девушки и через минуту заговорил о своей речи. «Ты знаешь, кто теперь я? Ссыльный студент! – не без юношеского хвастовства вымолвил он. – Это своего рода знак отличия, который я получил в борьбе за свободу», – задрал он подбородок и подумал, что стал в один ряд со студенткой Верой Ветровой, которая за свои свободолюбивые идеи была заключена в Петропавловскую крепость и подвергла себя самосожжению, облив одежду керосином из лампы. «Мы теперь не скоро увидимся!» – выдохнула Ольга, и Александр, забыв о своих достижениях в области свободомыслия, крепко обнял Олю и ловко расстегнул верхнюю пуговицу на ее студенческом платье…

Позже в мемуарах он вспомнит это время, не только свою жизнь, но и положение в стране: голод 1891-го и 1892 годов, вызванную им эпидемию холеры, обращение Льва Толстого к царю – все это способствовало оживлению политической активности. Молодые просвещенные люди Ташкента встретили его как героя. Зато отец был донельзя расстроен случившимся; не позволив сыну отдохнуть после тяжелой дороги, повел с ним

серьезный разговор, скрывая боязнь, что он пойдет по пути братьев Ульяновых: «Ты еще слишком молод, чтобы понять нужды страны и разобраться в том, что в ней происходит. Станешь старше – поступай, как тебе заблагорассудится». Александр согласился с отцом – он, по существу, не имел достаточного представления о жизни в России и обещал держаться в стороне от всякой политической деятельности до окончания университета. Он готовился к академической карьере в области права, но в глубине души уже тогда понимал, что «его место среди тех, кто борется с самодержавием, что нужно быстрее добиться принятия конституции в стране. Многие вступали в ряды революции не оттого, что изучали запрещенные идеи. На революционную борьбу толкал сам режим. Размышляя о судьбе России, я понял, что в ее бедах виновно не правительство, а верховная власть».

События в стране подтверждали правоту мыслей Керенского. Произошло резкое ограничение свобод в Финляндии, что вызвало недовольство среди лояльных и законопослушных финнов. На Кавказе стали конфисковывать собственность Армянской апостольской церкви в духовном центре Эчмиадзин. Просьбу католикоса остановить уничтожение армян царь оставил без внимания. На пост министра внутренних дел вместо Сипягина был назначен воинственный и безжалостный реакционер Вячеслав Константинович Плеве. Вскоре после его назначения в Кишиневе в Пасхальный день 6 июня 1902 года состоялась массовая резня евреев. В личном письме царю Сергей Юльевич Витте писал: «Господь Бог поможет вам лишь в том случае, если Вы, царь России, будете представлять одно, единое государство». В 1901 году власти провели несколько карательных экспедиций в Полтавской и Харьковских областях, где после неурожая и голода крестьяне отобрали часть зерна у помещиков. За это телесным наказаниям подверглись сотни человек. Царь не вошел в их положение и призвал повиноваться представителям дворянства, что «в начале двадцатого века выглядело наивно». Поэтому царь принял сторону Плеве, отстаивавшего привилегии дворянства, и сделал его преемником Витте. «Осознав все это, – писал Керенский, – я пришел к выводу, что по вине верховной власти Россию ждут великие испытания и беды».

Александр понял, насколько дальновиден был отец, направляя его учиться в университет, где студента приучают мыслить самостоятельно, заставляют приводить свои суждения в соответствие со «знаниями, полученными из первоисточников». С упоением слушал лекции по философии права профессора Льва Иосифовича Петражицкого, который первым провел грань между правом и моралью, а также между законом, как таковым, и

законами, созданными государством. «Подлинная мораль, – говорил он, – это внутреннее осознание долга, выполнению которого человек должен посвятить всю свою жизнь, при одном обязательном условии, чтобы на него не оказывали никакого внешнего давления». Он отвергал марксистскую идею о том, что государственная власть – простое орудие в руках правящего класса для подавления и эксплуатации своих оппонентов.

Петражицкий внешне ничем не выделялся, но от него исходила огромная духовная сила. Для студентов, привыкших к банальным суждениям о праве и морали, его лекции были столь необычны и интересны, что их приходилось проводить в зале заседаний, вмещающем тысячу человек. Он мечтал претворить свои мысли в жизнь, приходил к Керенскому, когда тот уже занимал пост во Временном правительстве, предлагал осуществить немало полезных начинаний в области законов и политики для улучшения социальных отношений, но, как признавался Александр Федорович, «в условиях 1917 года, увы, следовать его советам было едва ли возможно».

Большое впечатление произвело на студента Керенского высказывание философа Владимира Сергеевича Соловьева о том, что материалистические идеи превращают человеческие существа в крошечные винтики чудовищной машины. Его мысли в этом направлении были оригинальны и доказательны. «Я понял, что марксизм не для меня», – осознал тогда Александр Керенский и не отступал от своего решения до конца жизни.

В июне 1904 года он закончил университет, не без грусти попрощался с друзьями, с любимыми профессорами. Запомнил шутливое предворение Петражицким своих лекций: «Вам будет трудно понять меня, потому что я думаю по-польски, пишу по-немецки, а обращаюсь к вам по-русски». Позднее Петражицкий стал блестящим оратором в I Думе, и Александр с гордостью говорил Оле Барановской, ставшей его женой, что учился у него. Их венчание произошло вскоре после окончания университета, в имении будущего тестя в Казанской губернии. Его увлечение Олей переросло в глубокое чувство. Он любил ее по-юношески пылко и самозабвенно. Они остались в поместье до глубокой осени.

– Я боюсь с тобою ходить по грибы, – кокетливо замечала Оля.

– Почему? – недоумевал Александр.

– Подумай, – игриво предлагала Оля. – Земля сырая и холодная…

– А ты замечаешь? – смеялся Александр.

Они наслаждались природой, друг другом. Иногда обычно

задумчивые глаза Оли становились печальными.

– Я знаю, ты нравишься женщинам, – вздыхала она.

– Ну и что? – искренне произносил Александр. – Ты сомневаешься в моей любви к тебе?

– Нет, – говорила Оля, – пока ты со мною, пока рядом нет других женщин – не сомневаюсь.

– Значит, ты считаешь меня ветреным юношей? – обижался Александр.

– Ты не ветреный, – качала головой Оля, – ты любвеобильный! А это опасно!

– Для кого?! Ты просто дразнишь меня, видя, что я сгораю от любви! – улыбался Александр и с горящими глазами приближался к ней.

– Не сейчас! – выставляла она вперед руки.

– Сейчас и здесь! – громогласно заявлял Александр. – Не идти же нам по грибы в сырую погоду?!

Он был счастлив и неохотно возвращался в Петербург. Там он официально оформил вступление в коллегию адвокатов. Для начала, как полагалось, помощником присяжного поверенного. Получил документ на глянцевой бумаге и грустно подумал, что вот позади детство, период учебы, довольно длительный и богатый событиями; увы, ничто не вечно в человеческой жизни, как и сама жизнь.

Глава четвертая
Адвокат России

Александр Федорович считал, что ему очень повезло в самом начале карьеры. Ему предложили работу в юридической консультации Народного дома; его хозяйкой и основательницей была графиня Софья Владимировна Панина. Высокообразованная, умная и красивая женщина открыла Дом для оказания культурной и просветительской помощи беднякам и вдовам неимущим, особенно рабочим, проживающим в отдаленных кварталах. Это было чисто европейское начинание. Народный дом, сделанный добротно, но не так шикарно, как у богатейшей Паниной, я видел в латышском городе Даугавпилсе. На свои деньги, еще задолго до прихода советской власти, его построил Ульманис-старший, отец нынешнего президента суверенной Латвии. Постройки в Санкт-Петербурге и Даугавпилсе по проекту весьма схожи: концертный (или лекционный) зал примерно на тысячу мест, множество аудиторий для юристов, врачей… Российский побольше латышского, да и город куда крупнее. Тем не менее при советской власти в Народном доме Даугавпилса, разумеется, потерявшем свое прежнее назначение, располагалось двадцать шесть организаций (!).

Однако судьба основателей этих домов сложилась отнюдь не радужно, в Советской России Панина была объявлена реакционеркой, так как входила в состав двух созывов Временного правительства Керенского товарищем (помощником) министра народного просвещения. Было забыто, что она материально помогала Художественному театру, Земскому союзу, обществам содействия женщинам и детям, но принадлежность к партии кадетов ей припомнил сам Ленин. Ее за это большевики судили, но неудачно, ими еще не была отработана карательная система революционных трибуналов. К тому же ее защитник В. Я. Гурович представил подсудимую очень эффектно, восхваляя ее достоинства. Панину приговорили к общественному порицанию. Потом она бежала на юг, много помогала Белому движению и скончалась в Америке в 1957 году. На ее похоронах присутствовал Александр Федорович Керенский, говорил о ней проникновенно и благодарно, вспомнил о ее приглашении работать в Народном доме, сказал, что «именно там познакомился с положением низших слоев населения». Кстати, ленинградцы долгие годы называли дом, построенный ею для просвещения народа, «домом Паниной».

Она не случайно пригласила на работу молодого Керенского, а по рекомендации одного из профессоров университета, охарактеризовавшего юношу как неравнодушного к судьбе народа, деятельного и целеустремленного человека. Приемная Керенского всегда была наполнена рабочим людом. Он уже достаточно разбирался в сложившейся политической ситуации.

В январе 1905 года забастовал Путиловский завод, а за ним остановились другие промышленные предприятия. Поводом послужило увольнение двух членов «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Долго копившееся недовольство народа стихийно вырвалось наружу. Это «Собрание» было создано в 1904 году священником Георгием Гапоном и охватило массу трудящихся. На одном из заседаний «Собрания фабрично-заводских рабочих» присутствовал петербургский градоначальник Фулон, одетый по форме со всеми регалиями. Возможно, гапоновское общество поначалу носило полицейский характер и, как известные зубатовские организации, преследовало цель отвлечения народа от политической борьбы, но, чтобы не потерять влияние в массах, Гапон был вынужден выражать их желания и волю. В этом убедился Александр Федорович, прочитав петицию, подготовленную священником и его ближайшим окружением и принесенную ему в Народный дом одним из рабочих. Начиналась она такими словами: «Государь, мы, рабочие и жители С.-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества: нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук». В числе просимых политических мер в петиции было требование немедленного освобождения всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, немедленного объявления свободы печати, слова, собраний и, наконец, требование народного представительства и всеобщего избирательного права. Кончалась петиция такими словами, обращенными к царю: «Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена; а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом… Нам не жаль этой жертвы, мы

охотно приносим ее».

Александр Федорович дважды прочитал петицию и задумался.

– Вы молите царя о проведении им революции, – сказал он рабочему, – иначе готовы охотно умереть. Петиция противоречива. Если вы не рабы, то тон ее должен быть не столь угодливым. Царь не пойдет на политические требования. Вы предлагаете ему, по существу, отменить монархию. Лишить себя незыблемых, как он считает, уготованных ему Богом прав…

– Мы пойдем к Зимнему, передадим царю петицию, пусть прочитает наши мольбы, наш царь должен нас понять, – возразил Керенскому рабочий.

– Будет кровопролитие, возможно… – осторожно предупредил рабочего Керенский.

– Да что вы, господин хороший, – обиделся рабочий, – с чего бы это, аль царю нашей кровушки не жаль. Пойдемте с нами. Сами увидите… Царь поймет нас…

Захваченные стихийной верой в царя, народные массы двинулись 9 января к Зимнему дворцу. Среди них не было Керенского, хотя желание увидеть самому, как поступит царь с людьми, даже в петиции покорными ему, готовыми принять смерть, но все-таки поднявшими голос против произвола над ними, одолевало его. Он все-таки остался дома, решив, что не сумеет остановить никакой речью толпу наивных, надеющихся на справедливость людей. Он сочувствовал их страданиям, но не верил в благостность царя, не верил, что он может даже пойти на уступки своим верноподданным. Может случиться самое страшное – царь еще раз бросит их на колени, а кого и повалит на землю, после чего им уже никогда не подняться с нее. Оправдались наихудшие ожидания, и сердце Керенского буквально рвалось на части от каждого выстрела, доносившегося от Нарвских ворот, от Зимнего…

Потом он напишет в мемуарах: «События Кровавого воскресенья разорвали духовные узы, связывавшие царя и рабочих». Коллегия адвокатов, куда входил молодой присяжный поверенный, приняла решение помочь жертвам этой трагедии. «Я посещал рабочие семьи… Написал письмо, обращенное к гвардейским офицерам, напомнил им, что в то время, когда армия сражается за Россию, они на глазах всей Европы расстреляли беззащитных рабочих, нанеся ущерб престижу своей страны».

Керенский еще надеялся, что царь поймет, что сотворил с народом, вряд ли покажется перед ним, но хотя бы признается, что пошел на поводу у своего окружения, признает расстрел

мирных жителей ошибочным, но царь молчал. Зато в его адрес прямо на улицах неслись проклятия людей. На Васильевском острове выросли баррикады. Не дремали большевики. Керенский догадывался, что включение в петицию царю политических требований, резких и явно невыполнимых монархией, было своеобразной провокацией. Керенский прочитал в большевистской газете «Вперед» отклики на событие 9 января. Находившийся за границей Ульянов писал: «Рабочий класс получил великий урок гражданской войны». Керенскому не верилось, что его бывший земляк-однокашник может призывать народ к кровопролитию в масштабе всей страны.

Но так и было. Большевики призывали к вооруженному восстанию. И в стране начались массовые забастовки политического и экономического характера. Но до вооруженных столкновений дело не доходило. К тому же в стане большевиков обнаружились разногласия. Александр не без интереса рассматривал карикатуру большевистского художника П. Н. Лепешинского. Она делилась на три части. Как объяснял автор, в первой части был изображен «повешенный за лапку мурлыка» Ильич; в окошко выглядывала «Крыса Онуфрий» – Г. В. Плеханов (между «предательскими дверцами» – «протоколами съезда» и «протоколами Лиги» – этими литературными свидетелями перехода Плеханова от большевиков к меньшевикам); на перекладине бойкие мыши – Мартов и Аксельрод, отдирающие лапку кота от перекладины, и молодой мышонок Троцкий; на хвосте кота пляшет седая мышь В. Засулич; острыми зубами держит хвост меньшевик Дан, а его коллега Потресов храбро трогает лапку «мертвого» кота. В стороне на бочке Инна Смидович. Всюду в мышином подполье стоят пустые бочки из-под диалектики с надписью «Остерегайтесь подделки» (намек на смешную претензию Плеханова считать марксистский диалектический метод мышления своей монопольной собственностью).

Второй рисунок изображал оргию мышей над «трупом» кота. Плеханов и Троцкий пляшут от радости под дудку «кота в миниатюре» (Дан – тезка Ленина по отчеству), Мартов («поэт Клим») читает надгробное слово, а Потресов поднимает бокал. Но радости и веселью скоро приходит конец.

Третий рисунок изображал пробуждение кота. В его лапах оказались и Мартов и Дан; мышонок Троцкий удирает без хвоста, а «несчастная Крыса Онуфрий» – Г. В. Плеханов, – «забыв о предательских дверках, свой хвост прищемил и повис над бочонком». Карикатура позабавила Керенского, особенно тот факт, что большевистские вожаки были изображены в виде

мелких и отвратительных зверушек, заброшенных в подполье. «И „мурлыка“ не страшен, тем более за границей», – подумал Александр. Не нравилась ему эта экстремистская партия, но она все же была демократической. Поэтому Керенский не сбрасывал ее со счетов, когда писал: «Теперь, полностью освободившись от юношеского романтизма, я понял, что в России никогда не будет подлинной демократии, пока ее народ не сделает шага к единению во имя достижения общей цели. Я твердо решил, что… отдам все силы делу сплочения всех демократических партий в России».

Он любил живое дело, дающее результат, а адвокатская помощь жертвам Кровавого воскресенья вылилась в сочувственное славословие. Некоторые из них даже не осуждали царя, а недоумевали по поводу его поступка, думали, что, возможно, он не расслышал их прошение: «Мы к нему от чистого сердца, а он вдруг пулями. Непонятно – почему?» Гвардейские офицеры не ответили на его письмо – ни один, вроде и не читали. А может, подумали, что объясняться с каким-то полуадвокатишкой ниже их достоинства. И вдруг простая и ошеломляющая мысль поразила его сознание: «Ведь офицеры давали присягу царю! Могли ли они ослушаться приказа?!» Впервые в жизни Александр растерялся. Даже мысленно скатился до экстремизма, подумав, что в нынешних условиях индивидуальный террор неизбежен – уж очень хотелось побыстрее избавиться от аристократов-реакционеров, восхвалявших царя, каждое его слово, движение.

Среди приближенных монарха особым рвением выделялся его дворцовый комендант В. Н. Воейков. Он буквально обожествлял своего кумира, писал в воспоминаниях: «При высоком положении царя поражало его сердечное отношение к людям, ярко проявляющееся в его обращении к ним, так что про него можно сказать: „И на череде высокой не забыл святейшего из званий – „человек“… Моим жизненным крестом до конца дней будет мысль, что при всей преданности царю и царской семье я, проникнутый чувством долга бывший Дворцовый Комендант Государя, оказался бессильным в борьбе с окружающим престол предательством и не мог спасти жизнь того, от кого как я, так и все русские люди видели только одно добро“. К ним он не относил Керенского и в своих воспоминаниях приводил, правда весьма осторожно, как версию слова друга своего детства, „родственник которого по матери, Федор Керенский, якобы в молодости женился на особе, у которой уже был сын Аарон Кирбиц. Федор Керенский, происходивший из русской православной семьи, усыновил Аарона Кирбица, который и

превратился в Александра Федоровича Керенского“. Попытка ярого антисемита В. Н. Воейкова причислить Керенского к „вражеской нации“ была настолько нелепой и лживой, что даже не пригодилась не менее льстивым и верным поклонникам монарха, чем его дворцовый комендант.

Возможно, Керенский даже не знал о существовании такой версии или не обратил на нее внимания, но позднее жизнь Воейкову сохранил, а мысль об индивидуальном и вообще терроре, неожиданно возникшая в его сознании, после недолгих размышлений испарилась навсегда. И период неуверенности в себе, в необходимости его действий, их результативности, длился сравнительно недолго, но изобиловал важными событиями. Произошло первое выступление войсковых частей – вспыхнуло восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Убийство офицером матроса Вакалинчука привело к избиению и аресту всех офицеров и захвату власти на судне. «Потемкин», не поддержанный другими кораблями эскадры, вышел в море и после одиннадцати дней безнадежных скитаний сдался в городе Констанце румынскому правительству. Тем не менее царь, напуганный этим восстанием, почувствовал, что верность войск ему начинает давать трещину. Двухмесячную забастовку проводят текстильщики Иваново-Вознесенска. Ослабление цензуры в 1905 году, вызванное революционным напором рабочих и передовой интеллигенции, позволило издать ряд легальных газет антимонархического направления.

Под давлением забастовочного движения и роста демократических настроений в обществе у царя был вырван «Высочайший манифест», обещавший создание Думы и разные свободы. Под пунктом первым царь возлагал «на обязанность правительства… даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Но ликование народа по этому поводу оказалось преждевременным. Во время демократического шествия по одной из улиц Москвы агентом царской охранки был зверски убит большевик Николай Бауман. Похороны его вылились в многотысячную демонстрацию протеста. Хотя, судя по манифесту, царь отказался от абсолютной власти (и это с радостью заметил Керенский), молодой ученый-историк и начинающий политик Павел Николаевич Лимонов, выступая на съезде „Союза освобождения“, сказал, что „ничего не изменилось, борьба продолжается“. Царская охранка через своих агентов и осведомителей развязала в мелкобуржуазной и люмпенизированной среде антиинтеллигентские и

антисемитские настроения. В конце 1905 года Николай II писал матери: „Народ возмутился наглостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них – жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией – старая знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам, инженерам и всяким другим скверным людям“.

В журнале «Буревестник», органе небольшой группы «Организация вооруженного восстания», Керенский печатает резкую антимонархическую статью. Бюллетень конфисковывают, но авторов не трогают. «Пронесло», – облегченно вздыхает Керенский. В его семье радостное событие – рождается мальчик. Его называют Олегом. В один из предрождественских вечеров, когда мальчик уснул, сон его нарушает настойчивый стук в дверь. Ротмистр предъявляет Александру ордер на обыск, а после обнаружения в его квартире старых и поэтому забытых листовок «Организации вооруженного восстания», совершенно не опасных для царского правления, – но не разбираться же в этом жандармам – они вскоре приносят уже ордер на арест.

Бледная, испуганная Оля с плачущим Олегом на руках провожает мужа до двери. Александра отвозят в знаменитую тюрьму «Кресты». Сидя в одиночке, ожидая допроса, он думает не столько о наказании – на него нет улик, группа, печатавшая листовки, уже распалась, – а о том, что, наверное, зря ушел из юридического кабинета Народного дома. Посчитал свою деятельность там мелкой и недостаточно престижной даже для помощника присяжного поверенного. Владелица Народного дома была им довольна. И посетителей, в основном рабочих, хватало. Он вникал в их помыслы, надежды и помогал им как мог. В основном улаживал их отношения с предпринимателями в отношении штрафов. Некоторые хозяева напридумывали их множество, и наряду с правильными, обоснованными штрафами – например, за курение на рабочем месте, за бесцельное хождение по территории, за пользование чужим инструментом без разрешения начальства – были и чисто грабительские, а иногда и просто бесчеловечные вроде штрафа за длительный невыход на работу даже по причине тяжелой болезни. Юрист старался помирить предпринимателей с рабочими, писал предпринимателям письма, когда считал штрафы несправедливыми, и часто добивался их отмены. Приносил людям пользу. Конечно же он видел, что рабочие бывают разные – квалифицированные, живущие в относительном достатке, отнюдь неглупые люди, с определенными культурными потребностями, и

примитивные пьяницы, еле доживающие до получки. Думал о своем маленьком ребенке, о том, как справляется с ним Ольга.

Отсидка затягивалась. Пошел четвертый месяц пребывания в «Крестах». К Александру Керенскому, как к юристу, хорошо знающему законы, относились там достаточно корректно. Наконец выпустили без амнистии, в числе «заключенных, не представляющих опасности для короны». Запретили жить в столице и крупных городах. И теперь уже трое Керенских едут в Ташкент. Александр даже рад этому, доволен, что дедушка и бабушка обнимут внука. Но он не знает, увидит ли еще родителей. В своих мемуарах он больше не упомянет о них, и неизвестно, по какой причине. Вряд ли по забывчивости…

В Ташкенте до него доходит известие о выборах в Государственную думу. До этого большевики пытались укрепить партию, собрав весною 1906 года IV Объединительный съезд. Этот съезд, в своем большинстве меньшевистский, отказался от бойкота Думы, к чему призывали большевики. В основе новой аграрной платформы партии лежало требование передачи конфискованных земель в распоряжение местных органов самоуправления, а не национализации всей земли, на что после победы революции рассчитывали большевики. В результате в Думе создается социал-демократическая фракция меньшевиков в составе восемнадцати человек во главе с И. Рамишвили и Н. Жордания. С небольшим перевесом над другими фракциями в Думе были представлены члены конституционно-демократической партии во главе с Павлом Николаевичем Милюковым. За ними шли трудовики – депутаты от крестьян и интеллигенции народнического направления, к ним присоединились социал-демократы, позднее примкнет и Керенский. Он воодушевлен итогами выборов. Считает, что на его глазах рождается новая, цивилизованная, свободная страна. Принято решение не допускать к избранию неграмотных людей, которые по своей неразвитости могут говорить и поступать так, как им подскажут другие.

Дума торжественно открылась в Зимнем дворце 27 апреля 1906 года. Николай II зачитывает обращение к собравшимся депутатам, он внешне спокоен, желает успеха думцам, приветливо улыбается, хотя временами, оглядывая членов Думы, хмурится. Состав Думы его не устраивает – слишком демократичен. Через два с половиной месяца он разгонит Думу. Это приведет к восстаниям в Свеаборге и Кронштадте. И пусть они будут жестоко подавлены, Керенский назовет их знамением времени, а в прокламации социал-демократов будет сказано: «Русский солдат показал, что он может умирать не только как

послушный, верный раб начальства, но и как сознательный, верный друг народа».

Керенский интуитивно чувствует, что должны наступить перемены и в его жизни. В конце июня он возвращается в Петербург. Ему предлагают вести гражданские и уголовные дела, что для адвоката весьма прибыльно, но он уже давно для себя решил участвовать только в политических процессах, послужить на благо родине. Тогда эти слова не были еще затерты и дискредитированы. Его желание искренне, идет от глубины души. И вот коллегия адвокатов предлагает ему провести защиту на процессе в городе Ревеле (с 1917 года – Таллин) по делу крестьян, разграбивших поместье местного барона. Первое заседание назначено на 30 октября 1906 года. Преступление крестьян блекло перед жестокостью расправы с ними. Вместо содержания до суда под стражей обвиняемых подвергли жестокой порке, а многих застрелили на месте. «Мне было 25 лет, выглядел еще моложе, – вспоминал Керенский, – успешно провел защиту. Назвал имена организаторов и участников карательных экспедиций. Большинство обвиняемых крестьян было оправдано. После защитительной речи наступила тишина, а затем зал взорвался бурей аплодисментов». Можно только представить, что творилось в душе молодого адвоката. Вел он себя предельно скромно, уважительно по отношению к местным юристам, к судье. Освобожденные прямо в зале суда подсудимые благодарили его, наперебой предлагали ему отметить победу, отужинать с ними. Он в ответ улыбался: мол, ничего особенного я не сделал, соблюдал законы – вот и все. Газеты с отчетом о суде в Ревеле вышли в Санкт-Петербурге раньше, чем он вернулся в город. «Коллеги поздравили меня, признали мои ораторские способности, хотя я никогда не писал текстов защиты заранее, не репетировал выступления», – наверное, не без гордости подумал о себе Александр Керенский, считавший, что, выступая на политических процессах против произвола и реакции, он становится защитником родины, адвокатом России.

Следующий процесс, проходивший в Лифляндской губернии, в эстонском городе Тукумсе, он не выиграл. Там после вооруженных выступлений народа несколько дней существовала мини-республика. Дело слушалось в специальном военном суде, где место присяжных заседателей занимали офицеры, образовавшие так называемое «независимое жюри» (без права вынесения вердикта о виновности). Они всячески поддерживали председателя суда – генерала Кошелева, решившего за убийство пятнадцати драгунов-карателей повесить столько же участников восстания. Военному суду были даны неограниченные права, чем

он и воспользовался, не принимая во внимание аргументы защиты. Тщетно пытался молодой адвокат защитить или хотя бы смягчить приговор обвиняемым. В редких случаях ему удавалось уменьшить меру наказания, но в основном Кошелев добился того, чего хотел.

Военные суды были созданы по предложению Столыпина 19 августа 1906 года, и по их приговорам, а иногда и без них в течение одного года по политическим мотивам было казнено свыше десяти тысяч человек. Видимо, тогда Керенский задумался о необходимости придания судам и судьям независимости и об отмене военных и других специальных судов. Должен существовать один суд, рассматривающий все дела – гражданские, уголовные, военные. Увы, до такой единственно правильной судебной системы и до сих пор дело не дошло. Как-то, выступая в телепередаче «Тюрьма и воля», я напомнил об этом предложении Керенского, и оно с одобрением было выслушано известными нашими юристами, присутствующими на телесъемке.

Керенский вернулся из Тукумса не удрученным. Он не считал, что потерпел поражение. Знал, на что мог рассчитывать. Его более беспокоило волнение жены. Деньги в семье постепенно таяли. Раньше значительно помогало жалованье, получаемое в Народном доме, а теперь не было никаких доходов. По неофициальной договоренности между собой адвокаты не брали гонорары от обвиняемых по политическим делам. Оплачивались лишь расходы по проезду на поезде в вагонах второго класса и десять рублей суточных. «Такого рода дела требовали особого, глубокого сострадания к обвиняемым и осознания политического значения этих процессов. Именно о такой работе я и мечтал», – писал Керенский, но у жены была своя логика, она хотела иметь второго ребенка, как и положено в нормальной семье. Александр не спорил с Ольгой, отмалчивался, но однажды она, проявив настойчивость, вызвала его на откровенный разговор.

– Ты снова отказался вести уголовный процесс. К тебе приходят достойные, уважаемые люди… Который раз… Ты отказываешь им, даже самым известным…

– Говори точнее – богатым… – нахмурился Александр.

– Да, и богатым! Что здесь плохого?! – восклицала Ольга. – К тебе скоро перестанут обращаться солидные клиенты. Я не против твоего увлечения политическими делами, но проведи одно-два уголовных. Ты выступаешь так искренне, темпераментно, разжалобишь, убедишь любых присяжных… У тебя не будет отбоя от предложений. Разве это помешает твоему главному увлечению?

– Помешает, – уверенно произнес Александр, – один большой

гонорар, второй, третий… Я не каменный… Может понравиться… Уголовные дела иногда тянутся очень долго… Не выберешься из их омута… Кстати, ты неправильно квалифицируешь мою работу. Это не увлечение… Долг… Перед страной.

– Извини, Александр, – смутилась Ольга, – но… но у тебя есть еще один долг… Перед семьей…

– Вы не будете голодать… Я не позволю… Я не горький пьяница, милая, – подошел к жене Александр и обнял ее за плечи, – я люблю тебя, Олежку.

– Но твои мысли заняты не нами! Я чувствую это! – вырвалось у Ольги.

– Извини, – тихо произнес Александр и вышел из комнаты.

Жена была права, он много думал о своей работе, много времени уделял изучению судебного кодекса других стран. Ему стало жаль Ольгу. Она преданная жена, она мечтала об иной жизни, о такой, какая была у них в медовый месяц, когда он полностью принадлежал ей. Ему сейчас же захотелось сказать Ольге, что он изменится, будет с нею неразлучен и душою и телом все свободное время. Они молоды. Он любит ее, любит по-прежнему… Но что-то остановило его от этого признания. Что именно? Он всегда стремился докапываться до истины, до причины. Особенно когда это касалось его собственных действий. И тут он понял, что работа полностью поглощает его, он побледнел, разволновался, бешено заколотилось сердце. Он присел на краешек дивана. У них будет второй ребенок. Ольга скрывает от него, но он знает, что она беременна. Как поступить? Пойти и честно признаться ей, что он, увы, не тот, кем был в начале их жизни. А может, и тогда был другим человеком и у него было иное предназначение – не главы семьи, не беспредельно любящего мужа, а адвоката России. Просто он еще не знал об этом, не ведал, что не способен будет совместить любовь к ней с любовью к родине. Хотя должен был бы, что вполне нормально, естественно. Может, он внушил себе все это, выдумал, находится в плену аплодисментов после первого процесса?

Он подавил волнение. Сознание стало спокойным. Он понял, что не сможет столько же сил и внимания уделять семье, сколько отдает работе, которая, словно спрут, но не гибельный, а сладостно манящий, захватывает своими волшебными щупальцами его душу, отдаляет его от семейного счастья, от прежде неодолимого желания быть с Ольгой, видеть, обнимать ее как можно чаще. В Ревеле он лишь раз вспомнил о ней, когда ему страстно аплодировал зал, он тогда пожалел, что она не видит этого. Он хотел встать с дивана и откровенно рассказать Ольге,

что происходит с ним, поговорить об их дальнейшей жизни, но она, в отличие от настоящей, не представлялась ему ясно и определенно, была скрыта то ли дымкой, то ли туманом. Он снова ушел в раздумье и ощутил слабость в коленках, ноги не слушались его, не было сил пойти к Ольге. С чего бы это? Не надо долго размышлять. Он просто струсил. Ему страшно. Не знал за собой такой слабости. А может, он преувеличивает опасность и не будет развала семьи? Может, его раздумья – плод воспаленной фантазии? Вернее всего. Ольга в соседней комнате. Он уедет на следующий процесс, вернется, обнимет ее. Конечно, надо быть внимательнее к жене. Эта мысль успокоила его, и настолько, что он мгновенно забыл о важном и нервном разговоре с Ольгой, страх покинул его сердце, и он раскрыл книгу, где приводился свод законов Англии.

Осенью 1908 года Керенский поехал на Южный Урал, в город Златоуст, где слушалось дело об экспроприации Миасского казначейства. Миасс – небольшой промышленный городок. Экспроприация представляла собой не что иное, как вооруженное ограбление. Все обвиняемые были членами большевистской группы социал-демократической партии во главе с Алексеевым – выходцем из богатой купеческой семьи. Керенскому, играя на противоречивых показаниях свидетелей, удалось доказать несостоятельность обвинения, и судья оправдал нескольких подсудимых и самого Алексеева.

Но этот процесс, в общем-то несложный, запомнился Керенскому. Он знал, что Ленин официально заклеймил экспроприации как «мелкобуржуазную практику». Поэтому его удивило поведение большевиков. «Как же так? – спросил он у Алексеева. – Вы делаете то, что противоречит взглядам вашей партии?» – «Очень просто, – ответил тот, – перед тем как проводить экспроприацию, мы выходим из партии, заявляя о несогласии с ее политикой. Это дает нам полную свободу для проведения акции. Захваченные деньги, к примеру, направляем на Капри Максиму Горькому для финансирования его школы. Через две недели подаем заявление о восстановлении в партии, признаем свои ошибки, и нас немедленно принимают обратно!» Алексеев рассказывал об этом цинично, хитро улыбаясь, и впервые подзащитные вызвали у Керенского брезгливость.

Он выполнил свой долг адвоката, но в этот раз навряд ли помог России, выгораживая жуликоватых людей. Было жаль, что они принадлежат к демократическому движению. Вскоре он узнал, что у большевистской партии в целом большие финансовые затруднения. Свидетельством этого был весьма любопытный эпизод, связанный с V съездом партии.

Первоначально он был намечен не в Лондоне, а в Копенгагене. Но датское правительство запретило его проведение. Решили перенести съезд в Швецию, в город Мальме, но и там его постигла та же участь. Тогда все делегаты снова через Данию двинулись в Лондон, где наконец и начались заседания.

Однако эти неожиданные передвижения, а также продолжительность съезда, растянувшегося на три недели, привели к полному денежному кризису приехавших на съезд депутатов. Они обратились за помощью к Германской социал-демократической партии, но выделенная Бебелем сумма их не удовлетворила. Тогда при помощи Горького съезд произвел заем у англичанина Дж. Фельса, согласившегося дать деньги при условии подписания обязательства об уплате долга всеми членами съезда. (Само обязательство было выкуплено уже после революции представителем большевиков Красиным и передано на хранение в Музей Революции СССР в Москве.)

Об истории большевистской экспроприации Златоустовского казначейства и финансовых трудностях большевистской партии Керенский поведал молодому талантливому писателю Марку Александровичу Алданову, настоящая фамилия – Ландау, дружба с которым возникла в Берлине, позднее продолжалась в Париже и Нью-Йорке, куда они перебрались, спасаясь от немцев, захвативших Францию. Сын богатого промышленника, Алданов, помимо физико-математического, окончил юридический факультет Киевского университета и по образованию был коллегой Александра Федоровича, но сблизили их гуманистическое мышление и судьба эмигрантов. Керенский приятно удивился, услышав от Марка продолжение своего рассказа об экспроприации в Златоусте. Было это в конце двадцатых годов, в Париже, где Алданов заведовал отделом прозы в газете «Дни», выпускаемой Керенским.

– Я вам благодарен, Александр Федорович, – сказал Марк, – ведь это вы надоумили меня изучить, а точнее – провести журналистское расследование о партийной кассе большевиков. Обнаружились весьма любопытные факты. Я обнародую их.

– Понимаю – напишите. Долго ждать статью или повесть об этом?

– Не думаю, что долго, – улыбнулся Алданов, – может быть, вы опубликуете мою статью?

– А что за факты? – поинтересовался Керенский.

– Слушайте, – обрадовался Марк вниманию Александра Федоровича. – Впрочем, я не сомневался, что мое расследование не оставит вас равнодушным. Увы, только журналистское, хотя история большевистской партийной кассы заслуживает уголовное

расследование и издание целой книги, и та стала бы занимательной во всех отношениях: в историческом, бытовом и психологическом. Увлекла бы, наверное, и любителей детективной литературы. Кто только не давал денег большевикам?! – многозначительно произнес Марк Алданов и сделал паузу в рассказе.

– Известно, что помогал им Савва Морозов, – заметил Керенский.

– В том числе и Савва, – согласился Алданов, – он субсидировал большевиков оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а люди своего круга в особенности. Давал Максим Горький. Вероятно в определенное время сочувствовал большевикам и очень уж шумно в ту пору реял над Россией «буревестник черной молнии подобный». Поддерживал большевиков Михайловский-Гарин, ибо он, милый, вечно-юный Тема Карташев никому не мог отказать, когда были деньги: он отвалил большевикам 25 тысяч на социальную революцию, как бросал деньги цыганам в «Стрельне» на счастье, или саратовскому самородку на изобретение вечного двигателя. Кажется, Достоевский сказал: «Широк русский человек, я бы сузил».

– Достоевский, – подтвердил Александр Федорович, – но вряд ли большевикам хватило бы денег от этих взносов даже на элементарную пропаганду своих взглядов. Ведь жили они в основном весьма бедно. Сам Ленин ютился с семьей в одной нищенски обставленной комнате.

– Вы странный, вы слишком благородный человек, Александр Федорович. Сопереживаете своему злейшему врагу, распускающему о вас мерзкие небылицы, – покачал головой Марк, – но я вас понимаю. Правда, для вас важнее ваших эмоций. Насчет бедности большевиков могу добавить воспоминания Троцкого о том, как он однажды в Париже отправился в оперу в ботинках, купленных ему Лениным. По существу, своих денег у большевиков не было и благотворительные взносы мало помогали. Ленин для обогащения партии использовал три способа. Первый – подделка денег. Попытка осуществить это в Петербурге, но переговоры с экспедицией государственных бумаг в Петербурге окончились неудачно. Тогда Ленин перенес дело в Берлин, поручил его фирме Сименс. Деньги изготовили, но подделку обнаружила германская полиция. Раскрытое ей преступление тогда наделало очень много шума. Ленин вынужден был согласиться на строжайшее расследование дела, организованного по его прямому предписанию, надеясь, что концы его надежно спрятаны в воду. Однако Чичерин (в ту пору

еще большевик) неожиданно проявил способности следователя, нашел человека, предоставившего большевикам годную для подделки бумагу с водными знаками. Тогда Ленин встрепенулся и провел в ЦК постановление о передачи следствия заграничному бюро ЦК, в котором добытые Чичериным материалы, разумеется, бесследно исчезли.

Второй способ, – загадочно улыбнулся Марк, – второй способ был гораздо менее банален, чем первый. Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им дамах и затем передать приданое в партийную массу.

С поручением товарищи справились артистически: оба благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы – один из них счел более удобным оставить деньги за собою. Над товарищем провели суд чести, грозили подослать к нему убийцу, но образумить его не удалось, об этом говориться в одном из писем Мартова. Другой большевик – Войтинский в изданных воспоминаниях рассказывает, что один из друзей Ленина обратил его внимание на одного московского большевика, которого характеризовал, как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом: «Тем-то он и хорош, что ни перед чем не останавливается. Вот вы, скажите прямо, могли бы пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я бы не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый».

– Забавная история, – заметил Александр Федорович, – я многое знал о хитростях и подлостях большевиков, но об этой истории слышу впервые.

– Не удивительно, – сказал Алданов, – матримониальный способ пополнения партийной массы, разумеется, был лишь вспомогательным. Главное свое внимание вождь большевиков устремил на то, что называлось «эксами» или «эксациями», на то, чему вы стали свидетелем в Златоусте.

– Тогда даже был в употреблении такой глагол, – «эксировать», – напомнил другу Керенский.

– Совершенно точно, – кивнул головой Алданов, – это был третий и самый важный для большевиков способ добывания денег.

В этой области правой рукой Ленина стал уже известный в ту пору кавказский боевик по революционной кличке «Коба», он же «Давид», он же «Нижарадзе», он же «Чижиков», он же «Иванович», он же всемогущий советский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили… Он был верховным вождем так называемых боевиков Закавказья, и сколько «эксов» проводилось по его предначертаниям, вероятно, известно только ему. Наиболее памятный и страшный произошел в Тифлисе 13 июня 1907 года.

– Знаю. Жестокое и кровавое, невиданное по размеру ограбление почти Государственного банка. О нем писали все газеты, – подтвердил Керенский, – большевикам досталось более 250 тысяч рублей.

– Мне известны многие подробности ограбления, – сказал Алданов, – полученные по почте деньги из столицы кассир и счетовод банка повезли в фаэтоне, за которым следовал другой фаэтон с двумя вооруженными стрелками, рядом ехал казачий конвой. В центре города с крыши дома князя Сумбатова в поезд был брошен снаряд страшной силы, от его разрыва разлетелись вдребезги стекла окон на версту в округе. С тротуара в поезд полетели еще несколько бомб, кто-то открыл по нему пальбу из револьверов. На людной площади началась отчаянная паника. Кассир и счетовод были выброшены из сиденьев первым же снарядом. Лошади бешено понесли чудом уцелевший фаэтон. На другом конце площади кто-то швырнул под ноги лошадям еще одну бомбу. Все исчезло в облаке дыма. Однако один из свидетелей увидел, что человек в офицерском мундире, проезжавший на рысаке по площади, бросился к разбитому фаэтону, что то выхватил из него и умчался с добычей, паля наудачу из револьвера по сторонам. Теперь известно, что переодетый офицером человек был Петросян – ученик и помощник Сталина, прозванный им Камо, поскольку плохо говорил по-русски и спрашивал: «Камо отвезти? Камо передать? Камо сказать?» В этом знаменитейшем из эксов было убито около 50 человек. Деньги найдены не были. Камо упрятал казначейские билеты (пятисотрублевка) в обшивку дивана заведующего кавказской обсерватории. Позднее деньги были отправлены Ленину для нужд партии. От него, кстати, Камо привез из Финляндии бомбы со взрывчатым веществом для этого экса. Европейцы за последние столетия несколько отвыкли от государственных деятелей типа Ленина. А в России в настоящее время к правителям предъявляются весьма заниженные требования в отношении сведений об их судимости. Это, разумеется, не всегда будет. Но я, боюсь, что так будет еще довольно долго.

Алданов тяжело вздохнул и развел руками:

– Что мы можем сделать? Ничего…

– Можем! – возразил Александр Федорович, – говорить, писать. Люди должны знать об этом! Непременно!

– Я напишу, конечно, напишу, – обещал Алданов и сдержал слово. Рассказанное им вошло в статью под названием «Современники», опубликованную вскоре в Париже.

К одному из самых крупных и успешно проведенных

процессов Керенский относил дело армянской партии Дашнакцутюн. Перед судом предстала вся армянская интеллигенция: писатели, врачи, юристы, банкиры… Они обвинялись в предоставлении денежных средств для революции, для осуществления террористических актов и вооруженных восстаний с целью освобождения армян, проживающих в Турции, и создания собственного государства.

Слушание началось в январе 1912 года и продолжалось до середины марта. Опросили около шестисот свидетелей. Керенский попросил судью назначить экспертизу для изучения свидетельских показаний. У него были основания сомневаться в их правдивости, но тем не менее его просьба была смелой и рискованной. Председатель суда – сенатор Кривцов – спросил у защитника: «Отдаете ли вы себе отчет, что ожидает вас в случае ошибки?» – «Да, отдаю», – ответил без колебаний Керенский. Была назначена экспертиза, которая признала фальшивыми большую часть дел. Из 145 обвиняемых 95 были оправданы. Исход процесса поднял престиж России за рубежом, особенно среди армян в Турции.

Глава пятая
Ступеньки жизни

Созыв в России Государственной думы был единодушно принят как явление прогрессивное даже со стороны многих большевиков. И не случайно Николай II дважды разгонял Думу как слишком сильное и опасное для самодержавия оппозиционное собрание. Но большевики, постоянно проваливаясь на выборах, посчитали, что царь преследует цель превратить Государственную думу в учреждение, ставящее штемпель, «одобряющее всегда и при всяких обстоятельствах самодержавную династию». Разумеется, царь ждал от думцев решений, не выходящих за рамки его правления. Тем не менее лучшие умы России заботились о проникновении в Думу людей образованных и радеющих о благе страны.

Закон о выборах, изданный в связи с разгоном II Думы и получивший название «государственного переворота 3 июня», был построен таким образом, что 63 процента всех рабочих-мужчин лишались избирательного права, женщины вообще не имели его, а остальные рабочие на каждые 125 тысяч человек могли послать лишь одного выборщика в избирательное собрание, тогда как в I и II Думе они имели одного выборщика от 90 тысяч человек. Крестьянству вместо 29 тысяч голосов, необходимых для избрания одного выборщика, по новому закону требовалось 60 тысяч голосов. Каждый крупный землевладелец проходил в выборщики от 230 своих избирателей, крупный фабрикант или заводчик – от одной тысячи! Легче стали попадать в Думу люди деятельные, образованные, обладающие доверием и уважением избирателей. И это были не обязательно землевладельцы и фабриканты. К примеру, композитор Рахманинов владел поместьем в селе Ивановка Тамбовской губернии. Многим гуманитариям земля или заводы достались в наследство. Среди них были и политики, и профессора, и юристы, и писатели, и художники, и музыканты… Лев Толстой, его жена и дети тоже числились крупными землевладельцами. Константин Константинович Станиславский (Алексеев) был из семьи крупного фабриканта. Качество избранных в Думу от нового закона не пострадало. Понесли урон большевики. Лишь единицы из них попадали в Думу, и поскольку многие находились в подполье, то, естественно, вызывали особый интерес у царской охранки, внедрившей в их ряды своих агентов, среди которых, как выяснилось позже, наиболее активными были М. И. Бряндинский

(Вяткин-Кропоткин), А. И. Лобов (Мек), М. Е. Черномазов (Москвич), А. С. Романов (Пелагея) и виднейший «большевик» Р. В. Малиновский, избранный в Центральный комитет партии и прошедший от рабочей Москвы в IV Государственную думу. Царская охранка была прекрасно осведомлена о каждом шаге большевиков, знала организационные схемы большевистских ячеек и могла в любой момент ликвидировать те из них, которые считала нужным. Неусыпная слежка велась и за социал-демократами, в том числе трудовиками и лично за Александром Федоровичем Керенским, ставшим депутатом IV Государственной думы.

«Я никогда не заглядывал в будущее, – вспоминал Александр Федорович, – с самого начала политической жизни стремился служить правде и был захвачен врасплох, когда осенью 1910 года глава фракции трудовиков Л. М. Бралкон и член ЦК этой партии С. Знаменский предложили мне баллотироваться в IV Думу по списку партии. Для избирательной кампании выделили крайне трудный участок – Саратовскую губернию. Я выехал в город. Его жителям были присущи традиции свободолюбия и острое чувство независимости, уходящие корнями ко временам Пугачевского восстания XVIII века. Там я установил контакты с судьями, врачами, чиновниками… Многие из них оказались замечательными людьми. Говорили свободно, не прибегая к революционной риторике. Соперников у меня не было, хотя такого единодушного доброго отношения трудно было достичь в крестьянской курии, так как среди зажиточных крестьян и деревенских старшин было немало желающих стать депутатом Думы». Керенский прошел в Думу от города Вольска.

Следующей ступенькой в его жизни было вступление в 1912 году в русскую масонскую ложу, чего он не скрывал и в мемуарах прямо и подробно писал о масонстве. В принадлежности к нему многие писатели того времени видят скрытые пружины тех или иных действий Керенского, от продвижения к власти до ее потери, даже влияния на историю России – влияния, приведшего к победе большевизма. Отмечают, что в его мемуарах главка о масонах занимает всего четыре странички и расположена произвольно, вне зависимости от их содержания. Это «обвинение» не выдерживает никакой критики. Керенский пишет о масонстве после сведений о своем попадании в Государственную думу, что вполне отвечает хронологии его жизни. Ему предложили вступить в русскую масонскую ложу сразу после выборов в IV Государственную думу. Сообщает кратко историю масонства. Во-первых, она известна, во-вторых, на мой взгляд, вполне достаточна для того, чтобы объяснить свое вступление в ряды

масонов и ту роль, которую оно сыграло. Вокруг этого вопроса накручено много предположений, предсказаний и фантазий, но нет ни одного достоверного факта, определяющего тот или иной важный для истории поступок Керенского. Поэтому внимательно выслушаем самого Александра Федоровича.

Да, масонские организации возникли в XVIII и начале XIX века, были «ведущей силой в духовном и политическом развитии России». Среди масонов были верующие и вольнодумцы. Екатерина II терпимо относилась к существованию лож. Сторонница вольтерьянства и свободомыслия, она не была обременена религиозными предрассудками. Просветительская деятельность масонов заключалась в пропаганде либеральных идей. В том умышленно искаженном изображении масонства, которое стало общепринятым в период царствования Николая I, очень мало правды. Главной задачей общества масонов было объединение культурной элиты России для уничтожения абсолютизма, а также освобождения крестьянства, к которому благосклонно относился Александр I, покровительствовавший ордену. К ложам примыкали либерал Сперанский, герой войны с Наполеоном Кутузов, многие из декабристов. Однако пресса постоянно утверждала, что падение монархии и создание Временного правительства произошло благодаря тайной деятельности лож. Между тем, вступая в ложу, Керенский осознавал, что его собственные цели совпадают с целями этого общества. Русская масонская ложа была не совсем обычной, туда допускались женщины, был отменен сложный и мистический ритуал приема, разорвана официальная связь с зарубежными организациями общества. Но обязательно сохранена непременная внутренняя дисциплина, гарантировались высшие моральные качества членов и их способность хранить тайну.

В последней части своей жизни, находясь в Америке и работая в Гуверовском институте войны, революции и мира, получив легкий доступ к русскому архиву и изучая собранные там документы царской охранки, Керенский не обнаружил никаких сведений о создании общества масонов даже в циркулярах, которые касались его лично. И это вполне объяснимо: общество не вело никаких письменных отчетов, стенографирования выступлений его членов, не составлялись их списки – ни поименные, ни зашифрованные. В циркуляре № 165377 от 16 января 1915 года, о котором говорится в письме VI отделения Департамента полиции от 30 мая того же года, признается «слежка за А. Ф. Керенским, присяжным поверенным и членом партии трудовиков». Отмечается, что его противоправительственная деятельность получила

подтверждение в ходе тайного и открытого наблюдения за ним и его связями. Во время своих поездок по стране Керенский неоднократно встречался со многими лицами, известными своей неблагонадежностью. В соответствии с циркуляром, чинам охранки предписывалось усилить наблюдение за А. Ф. Керенским и всю полученную информацию докладывать Департаменту полиции. Но кроме этого и еще одного, менее интересного циркуляра, среди документов царской охранки нет ни слова о Керенском, о деятельности масонов, даже о том, что высший совет органа имел право создавать специальные ложи: в Думе, среди писателей и т. д. А ведь порой на съездах общества возникали споры и разногласия по национальному вопросу, о формировании правительства, аграрному вопросу. Разногласия не наносили ущерб солидарности. «Такой внепартийный подход, – заключал Керенский, – позволил достичь замечательных результатов, наиболее важный из которых – создание программы будущей демократии в России, в значительной мере воплощенной Временным правительством. Бытует миф его противников о том, будто некая мистическая тройка масонов навязывала правительству, вопреки общественному мнению, свою программу. В действительности положение в России и насущные нужды страны обсуждались на съездах масонов людьми, которые руководствовались лишь своей совестью и стремлением найти наилучшие решения проблем. Мы ощущали пульс жизни и всегда стремились воплотить в нашей работе чаяния народа».

Осенью 1915 года во время обсуждения в Думе доклада Бюджетной комиссии Керенский обратился к министру, ведавшему Департаментом полиции: «Господин министр, у меня создалось впечатление, что ваш Департамент расходует чересчур много средств. Я, конечно, безмерно признателен директору Департамента полиции за заботу о моей безопасности. Я проживаю в доме, расположенном в глухом месте, и каждый раз, когда я выхожу на улицу, по обеим ее сторонам стоят по два, а иногда и по три человека. Нетрудно догадаться, что это за люди, поскольку летом и зимою они носят галоши, плащи, а в руках держат зонтики. Неподалеку от них стоят пролетки на случай, если мне понадобится куда-нибудь поехать. По тем или иным причинам я предпочитаю не пользоваться этими пролетками, а идти пешком. И когда я не спеша шествую по улице, меня сопровождают два телохранителя. Когда я убыстряю шаг, сопровождающие меня компаньоны начинают задыхаться от спешки. Иногда, когда я, завернув за угол, останавливаюсь, они пулей вылетают из-за угла, натыкаются на меня и, ошарашенные, кидаются обратно, оставив меня без охраны. Стоит мне немного

отойти от дома и сесть на извозчика, как один из стоящих на углу кидается рысью за мной. В подъезде моего дома я часто застаю за беседой неспешных очаровательных людей в галошах и с зонтиками в руках. Мне представляется, господин министр, что от 15 до 20 человек выделены для того, чтобы заботиться о моей драгоценной персоне, поскольку они сменяют друг друга днем и ночью. Почему бы вам не посоветовать директору Департамента полиции предоставить в мое распоряжение машину с шофером? Ведь тогда он будет знать все – куда, когда и с кем я направляюсь, – да и мне это пойдет во благо: не придется тратить такую уйму времени на поездки по городу и так уставать от этого».

Закончив свою ироническую речь, Керенский с выжидательным видом опустился в кресло. Выступление его сопровождалось взрывами смеха. Впервые в Думе депутат позволил говорить о серьезных вещах столь шутливо и остроумно. В зале наступила напряженная тишина. Юмор не смягчил, а только заострил проблему филерской службы, поднадоевшей многим думцам. Министр неожиданно улыбнулся: «Если предоставить вам машину, то придется дать машины и всем вашим коллегам, а это разорит казну». Ответил на шутку шуткой. Вышел из нелегкого положения. Оба заявления вызвали оживление и смех в зале.

Вспоминая в своих мемуарах этот забавный эпизод, Александр Федорович серьезно замечает, что, скорее всего, был бы арестован в начале 1916 года, если бы из-за внезапной болезни не прекратил полностью всякую политическую деятельность. А заболел, наверное, из-за физических и нервных перегрузок, связанных с избранием в Думу и вступлением в организацию масонов, после чего объем и важность его работы намного расширились. Надо сказать, что обвинители Керенского считали преступным для России сам факт его участия в масонской деятельности. Известная писательница-эмигрантка Нина Берберова написала нашумевшую в свое время и до сих пор единственную книгу о русских масонах – «Люди и ложи». Перед приездом писательницы в Советский Союз с нею встретился журналист Феликс Медведев. Отвечая на его вопросы, Нина Берберова восторженно заметила: «Масонство XX века – потрясающе интересно, оно связано с европейским масонством, не с шотландским, когда все знают, кто масон, кто не масон, а с тайным обществом, с Францией… Вы знаете, что А. Ф. Керенский, М. И. Терещенко и другие министры, кроме П. Н. Милюкова, были масонами? (Речь идет о министрах Временного правительства. – *В. С.*) И они шли от французского масонства. «Гранд Ореан» –

«Великий Восток» французский их благословил на открытие лож и на процветание масонства в России. Они дали масонскую клятву, которая по уставу превышает все остальные – клятву мужа и жены, клятву родине. Они дали клятву – никогда не бросать Францию. И поэтому Керенский не заключил мира». (Имеется в виду сепаратный мирный договор с немцами, который мог бы выбить козырь из рук большевиков, стоявших на пораженческой позиции, спасти Россию от большевизма, но дать Германии возможность победить Францию.) Приверженцы версии Нины Берберовой считают, что после подписания в 1914 году соглашения между Россией, Англией и Францией о незаключении мирного договора с Германией русские масоны дали клятву никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять союзников. Но возможно, это была не верность клятве масонов; а долг России как союзницы Англии и Франции?

Вернемся к 1914 году, к началу Первой мировой войны, когда Керенский стал секретарем верховного совета масонской ложи, половина членов которого являлась депутатами Государственной думы, но был далек от власти в правительстве, которую получил в 1917 году, когда в масонскую ложу входили два большевика, вступившие в нее без ведома партии, – Иван Иванович Скворцов-Степанов и Семен Пафнутьевич Середа, – когда возник мифический образ жидомасонства, хотя, по свидетельству одного из лидеров партии кадетов Иосифа Владимировича Гессена, в верховном совете масонов страны состояли трое евреев, в ложах Петербурга, Одессы и Екатеринбурга – по одному, в Киеве и Москве – ни одного, когда махровый антисемит, последний Дворцовый Комендант Государя Императора Николая II В. Н. Воейков выдвинул версию о еврейском происхождении Керенского и задавался вопросом: «Не знаю, почему многие из последователей Талмуда вступают в масонские ложи и играют в них выдающуюся роль? Их влиянию, между прочим, приписывается то обстоятельство, что масоны, раньше не занимавшиеся политикой, теперь стали обсуждать в масонских храмах вопросы, тесно связанные с ходом революционного брожения…»

20 июля 1914 года царь Николай II опубликовал манифест о войне. Задыхаясь в пыли проселков, шагая мимо неубранных полей, полки русской армии спешили к германской границе. Мобилизация еще не кончилась. Пушки в беспорядке стояли на площадях у арсеналов. Не на чем было подвозить артиллерию. В деревнях и станицах в самый разгар жатвы молодежь прямо с работы гнали на призывные пункты. Но царь был связан договорами с Францией, получал большие займы от французских

банкиров. По военным соглашениям Николай II должен был двинуть свои армии в наступление против Германии на четырнадцатый день после объявления войны. На Западе германские корпуса неудержимо катились через Бельгию, стремительно приближаясь к Парижу. Оттуда в Петроград неслись панические требования – скорее выступить против Германии. 30 июля русский агент в Париже срочно доносил в Ставку: «Французские армии перейти в наступление в настоящее время едва ли смогут. Я ожидаю в лучшем случае медленного отступления… Весь успех войны зависит всецело от наших действий в ближайшие недели и от переброски на русский фронт гражданских корпусов». Французский посол Морис Палеолог обивал пороги военного министерства, добиваясь перехода русских армий в наступление. И 31 июля главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, дядя царя, по прозвищу Большой Николай, сообщал Палеологу, что Виленская и Варшавская армии начнут выступления «завтра утром на рассвете».

Неподготовленные русские армии вторглись в Германию. Кайзер Вильгельм, не ожидавший такой быстроты от русских генералов, вынужден был замедлить поход на Париж и перебросить на Восточный фронт два стрелковых корпуса и кавалерийскую дивизию. Еще до прихода этого подкрепления немецкие войска опрокинули русских. Царская армия потеряла двадцать тысяч убитыми и девяносто тысяч пленными, всю артиллерию. Однако Париж был спасен. Еще до исхода боев в Восточной Пруссии Палеолог записал в своем дневнике: «29 августа: „Сражение… продолжается с ожесточением. Каков бы ни был окончательный результат, достаточно уже того, что борьба продолжается, чтобы французские и английские войска имели время переформироваться в тылу и продвинуться вперед“. В день разгрома русских войск – 30 августа – министр иностранных дел Сазонов говорил Палеологу: „Армия Самсонова уничтожена… мы должны были принести эту жертву Франции“. Большевики утверждали, что в войне 1914 года русский царизм выступил в качестве наемника англо-французского капитала. К десятилетию войны Милюков писал в эмиграции: „Я не ожидал тогда, что, так и не собравшись с силами, Россия пошлет миллионы своих сынов за чужое дело“.

Следует отметить, что тем не менее манифест царя о войне был встречен многими людьми, в первую очередь имущими, с нескрываемым восторгом. Ко дворцу направлялись патриотические шествия. Престол был засыпан верноподданническими телеграммами. В храмах, упав на колени,

люди пели: «Боже, царя храни». Ленин это объяснял верно, хотя и со своих антиимпериалистических позиций: «Задача империалистской политики… России… может быть кратко выражена так: при помощи Англии и Франции разбить Германию в Европе, чтобы ограбить Австрию (отнять Галицию) и Турцию (отнять Армению, и особенно Константинополь)». Ему в какой-то мере вторил, конечно, со своих чисто российских позиций, журнал «Промышленность и торговля»: «Страна не может жить под постоянным страхом, как бы „ключ от входной дверки“ в наше жилище, выпав из слабых турецких рук, не очутился в чужих сильных руках, которые будут в своей прихоти казнить нас или миловать». Но ход войны омрачил восторженное настроение людей. После того как русские армии поправили свои первые неудачи в Восточной Пруссии, захватив 21 августа 1914 года город Львов, а 9 марта 1915 года крупнейшую неприятельскую крепость Перемышль, добрались до Карпат, в Закавказье отбросили до Эрзурума турок, воевавших на стороне Германии, торжество победы длилось недолго. Германские и австрийские войска вскоре отбили потерянные области. Как выразился Милюков на заседании Государственной думы 19 июля 1915 года, «патриотический подъем сменился патриотической тревогой».

К разгрому на фронте прибавилась разруха в тылу. В этом месте хотелось бы задать вопрос Нине Берберовой о масонском следе в Первой мировой войне. Конечно, хотелось бы пополемизировать с ней лично, но время для этого упущено. И все-таки спросим: неужто к масонам надо отнести и Николая II, и Большого Николая, начавших войну с Германией? И многих других государственных деятелей? Не говоря уже о рядовом члене Государственной думы Александре Федоровиче Керенском? Ведь вся великая «масонская тройка», по словам Берберовой вершившая судьбою России, еще далека от власти. К тому же Керенский писал в главе о русских масонах, что они официально порвали связи с международным масонством. Даже если сохранили, то не они повлияли на вступление России в войну с Германией, не верность масонов клятве, даже если она касалась защиты интересов Франции. И возникает еще один интересный вопрос: откуда Берберова брала материалы о русских масонах? Она утверждает, что вообще о масонстве узнала из рукописных фондов Французской национальной библиотеки. Но, как известно, члены этого общества не вели протоколов своих заседаний, даже список членов не был письменно оформлен. Может быть, исключение из этих правил составляла Шотландия, где было известно, «кто – масон и кто – не масон», но только не Россия. Царская охранка, внедрившая своих агентов в партию

большевиков, следившая за трудовиками, октябристами, лидера которых А. И. Гучкова, как считала императрица, «следовало бы повесить», и мечтала, чтобы «тяжелое железнодорожное несчастье» прекратило его жизнь – к этой мере наказания позднее она приговорит и Керенского, – но о масонах охранка ничего ей не сообщала, потому что не ведала. Берберова ссылается на дневники русской масонки Екатерины Дмитриевны Кусковой, которая в своем завещании, составленном в Париже, разрешила их обнародовать лишь в 1987 году, и случилось ли это, нам неизвестно.

Прислушаемся к доводам Нины Берберовой, касающимся времени правления Керенского. Заподозрить ее во враждебности к нему нет оснований, они много общались, и, судя по воспоминаниям писательницы, весьма дружелюбно и искренне. Она писала ему в Америку, куда он уехал перед захватом немцами Парижа в 1940 году. Письмо ее хранится в личном архиве Керенского, в русском отделе библиотеки Гуверовского института войны, революции и мира. Вот оно:

> «Дорогой Александр Федорович! Простите и простите! Я действительно поступаю с людьми по-свински. Я до сих пор не могу наладиться со временем. Работы так много, что я обо всем забываю и только думаю о том, как бы поскорее добраться до кровати. С тех пор, что мы Вам писали, никаких особенных событий не произошло. И ваши упреки, что мы не думаем о гибнущей родине, излишни. Когда же Вы приедете в Париж? Было бы приятно посидеть с Вами и поговорить „за жизнь“. Я совершенно разучилась печатать на русской машинке, так как 8 часов печатаю на английской. Напишите о себе.
>
> Всегда ваша *Нина Берберова*».

Очень характерные для Александра Федоровича слова: «что мы не думаем о гибнущей родине». Он до конца жизни размышлял о том, как освободить родину от тирании «кремлевских владык».

Трудно поверить, что он умышленно открыл им дорогу к власти в России, следуя масонской клятве. Но Берберову манит поиск истины, и это понятно, она пишет в книге «Курсив мой» (Автобиография): «…почему Временное правительство летом 1917 года не заключило сепаратного мира с Германией и настаивало на продолжении войны. Ответ этот надо искать в факте приезда в Петербург в июле французского министра Альбера Тома, которому якобы дано было обещание „не бросать

Францию“. Эта клятва связывала русских министров с французским как масонов… Даже когда стало ясно, что сепаратный мир мог спасти Февральскую революцию, масонская клятва нарушена не была. Члены Временного правительства Терещенко и Некрасов, остававшиеся с Керенским до конца, принадлежали к той же ложе, что и он сам… Вопрос о причинах, почему именно Керенский, Терещенко и Некрасов настаивали на продолжении войны, начал меня интересовать еще в начале 1930 года и вплоть до этой минуты беспокоит меня и волнует. Я назову пять человек, с которыми вела на эту тему беседы. Я ничего не услышала от них положительного и фантастического, но кое-что, особенно в составлении ими сказанного, приоткрыло мне прошлое, недостаточно, чтобы сделать исторический вывод…»

Но она все-таки его делает: «Политическая карьера Керенского связана с масонством. Да, он соблюдал царские союзы, но Франция была для него, как и для всех масонов, превыше всего. Как же можно было бросить Францию в такой час?! В свое время мне казалось, что Александр Федорович, со своей точки зрения, прав, ведь немцы стояли под Парижем. Париж пал бы в три дня, если бы русская армия помирилась с немцами. Он это, конечно, понимал. Поэтому до последнего, до 25 октября 1917 года, немцы старались наступать… Конечно, с точки зрения русского человека, Керенский мог сказать, что ради французов он дал возможность Ленину захватить власть. Если бы он арестовал Ленина в июле и замирился бы с немцами, революции могло не быть…»

Не будем строго судить писательницу, отказывать ей в праве на самые невероятные предположения и даже фантазии, но не исключено, что в словах Берберовой лежит невольная подсознательная благодарность Франции, приютившей ее после бегства из России, напоминание Франции о тех узах помощи и дружбы, что связывали эту страну с ее бывшей родиной. Нина Берберова, без всякого сомнения, была писательница чуткая и внимательная, но, видимо, эмоции порой чересчур захватывали ее. Ведь даже образ Керенского она явно искажает, говоря, что «сам он был лишен какого-либо чувства юмора и понимания комических положений, как своих, так и чужих». Вероятно, забыла приведенную выше его речь на заседании Думы, обращенную к министру, ведавшему Департаментом полиции, речь, полную юмора и иронии, разговоры о которой шли по всей стране. Объяснимо желание писателя высказать свое, отличное от других, мнение об известном герое, но не правильнее ли прислушаться к нему самому, когда он говорит, что в основе его деятельности и других масонов всегда лежало «благо народа»,

сопереживание «чаяниям народа».

Я никогда не задумывался, есть ли в Советском Союзе масонская организация. Считал, что никакой тайной группировки быть просто не может, не ускользнула бы она от внимания известной силовой организации и была бы уничтожена, хотя бы в период кампании по борьбе с космополитизмом. Поэтому я был буквально поражен, когда в курортном поселке Коктебель, в Доме творчества писателей, мне об этом рассказал поэт, человек добрый, тем не менее решивший проверить – отношусь я к масонам или нет. Мое неподдельное недоумение убедило его в обратном и он серьезно посоветовал мне нигде об этом не говорить, если я не хочу обрести неприятности и едва ли не смертельных врагов. Он мне назвал фамилии лишь двух масонов – бывшего главного редактора крупного журнала и его заместителя, якобы ставшего секретарем масонской ложи. Я заподозрил поэта в недобром отношении к редактору журнала, который не нашел места в своем издании для его творчества. Я сам, мягко говоря, недолюбливал этого редактора, бывшего инструктора то ли горкома, то ли обкома партии, направленного в журнал с большим тиражом для строгой цензуры поступающих туда произведений. И он исправно справлялся с поставленной задачей, печатая талантливых авторов редко и в малом объеме и заполняя журнал полуграфаманскими, никого не задевающими поэзией, прозой и вялой критикой. Кстати, он сам чистился поэтом, весьма плодовитым, но примитивным, писал тексты для оптимистичных песен, и, если о любви, то обязательно счастливой. Я забыл бы услышанное в Коктебеле, но вспомнил свои отношения с главным редактором журнала, одно его заявление в мой адрес, необъяснимое до сих пор, и задумался.

В журнале выходили мои сатирические рассказы, но, когда я сдал туда повесть, принятую отделом прозы, то печатание ее стало переноситься из года в год. Кажется, на пятый год я спросил у главного редактора о реальном сроке выхода моей повести.

Тот перевел взгляд с потолка на меня, глаза его затянули белки и зрачки еле просматривались, наверное, от постоянной лжи, что случалось с другими подобными ему функционерами.

– Надо объединяться! – решительно произнес он. – Надо объединяться!

Я был ошеломлен этими словами. Ведь редактор прочитал мою повесть и лестно отозвался о ней на собрании в редакции, о чем мне рассказала моя приятельница, работник журнала, милая скромная девушка, ставшая в последствии женой главного редактора. Ведь он знал мое отношение к жизни, мои мысли и

взгляды. Ведь именно это, как я считал, определяет духовную близость людей. С кем же я должен был объединяться? Неужели редактору, как я думал человеку, как я думал признающему демократические ценности, нужно было что бы я где-то поставил свою подпись официально и поклялся им в своей преданности? Вошел в какую-то группу людей? В какую группу? Я тогда не мог понять – в какую. И зачем это было нужно? Кому? Я выступал в литературных концертах, проводимых в Центральном Доме литераторов, вместе с Фазилем Искандером, Булатом Окуджавой, Беллой Ахмадулиной, Юрием Левитанским, Владленом Бахновым. Разве этого было мало, чтобы оценить и понять направление моего творчества?

– Тебя хотели принять в масонскую ложу, – объяснил мне коктебельский поэт, – а ты, дурак, отказался! И твою повесть, конечно не напечатали.

– Разумеется, – вздохнул я, – она восемь лет пролежала в журнале и я сам забрал ее – не выдержали нервы. Слишком велико было напряжение. Ведь публикация в столь крупном журнале с миллионным тиражом, облегчила мне выход книги и вообще литературную жизнь. Я был далеко не одной «жертвой» этого редактора. Он много лет морочил голову моему другу – писателю Валерию Медведеву, автору знаменитого «Баранкина», и не опубликовал его отличный роман «Свадебный марш». А вот молодой способной писательнице из Ташкента повезло. При мне заведующая отделом прозы журнала вошла в комнату редактора по юмору и спросила:

– Виктор, ты знаешь, они от нас требуют печатать периферийных авторов. Пришла повесть из Ташкента, не ахти какая, но терпимая. Автор Рина Дубина. Как ты думаешь, она не еврейка?

– Не знаю, – ответил редактор, – фамилия ни о чем не говорит.

– Попробуем напечатать, – осторожно решила заведующая.

После начала перестройки журнал с прежним содержанием и тиражом существовать не мог и его начальник, опасаясь неминуемых неприятностей от авторов, которым несправедливо отказывал в публикации, уехал за рубеж, в Израиль, благо его новой женой стала еврейка. Перед отъездом он направил в «Литературную газету» статью, в которой каялся перед обиженными им писателями. Много лет отсутствовал. Вернувшись в Москву, вел себя выжидательно, на книжной ярмарке при встрече бросился ко мне и обнял, как старого друга. Далее, что показалось мне удивительным, стали выходить его книги с ничуть не лучшими стихами, чем писались раньше, он

завоевал телевизионный экран, провел творческий вечер аж в Кремлевском зале, куда был заказан путь и Белле Ахмадулиной, и Фазилю Искандеру, и Андрею Вознесенскому… Странно очень. Не помогли ли ему в этом его дружки-масоны, если они все-таки существуют. В любом случае и он, и его дружки, как личности далеки от масонов типа Керенского, и заботятся лишь о своем благополучии, не думая ни о чаяниях народа, ни о его благе.

Ни в коем виде нельзя сводить деятельность Керенского с принадлежностью к масонской ложе.

Думаю, проще, честнее проследить его жизнь постепенно, по ступенькам, приведшим его к всенародному признанию. Не случайность, не благоприятное стечение обстоятельств, а служба народу, многолетняя защита его на самых сложных политических процессах сделала Александра Федоровича любимейшим в России политиком, пусть на короткое время торжества демократии, путь к которой всегда сложен и не всегда благодарен. После Ленского расстрела по России прокатилась самая мощная волна забастовок. Взрыв накопившегося недовольства потряс страну. Всколыхнули народные массы и вызвали возмущение события 4 апреля 1912 года на берегах реки Лены, более чем в двух тысячах верст от железной дороги на золотых «приисках англо-русского товарищества „Ленсолото“. Бастовавшие уже свыше месяца рабочие мирно шли с одного прииска на другой, где находилось управление. Они знали, что в эту ночь был арестован их стачечный комитет, и они собирались предъявить хозяевам требования об освобождении товарищей. Но, так же как 9 января 1905 года, они были расстреляны без всякого предупреждения. По данным газеты „Звезда“, убитых оказалось 270 человек, раненых 750. Эта бессмысленная расправа над людьми, живущими в скотских условиях, в грязных, наскоро сколоченных бараках, трудившихся по 15–16 часов в сутки, обираемых штрафами, при мизерной зарплате, нашла такой силы отклик в стране, что привела к забастовке семисот тысяч рабочих и вынудила правительство направить туда для рассмотрения комиссию во главе с бывшим министром юстиции С. С. Манухиным. Состав комиссии вызвал подозрение в возможности необъективного ведения следствия. Поэтому Дума создала собственную комиссию для независимого расследования. Руководить ею был назначен тогда еще не член Думы, но уже известный молодой адвокат Александр Федорович Керенский.

Дорога до места трагедии была долгой и тяжелой. На поезде до Иркутска, а затем на пароходе и лодках-шитиках. По пути в городе Киренске навстречу Александру Федоровичу вышла легендарная женщина, революционерка с семнадцати лет,

политкаторжанка Брешко-Брешковская, которую эсеры, сподвижники по партии, называли «бабушкой русской революции». Сюда, в очередную ссылку, она попала в 1910 году. Ей было шестьдесят восемь лет, но выглядела она бодро, была женственна, приветлива и шутила, что ее закалили ссылки, особенно северные. Они беседовали несколько часов, подружились, нашли общий язык, и после этого, вернувшись в Петербург, Брешко-Брешковская отозвалась о Керенском как о «достойном из достойнейших граждан земли Русской». Она была свидетелем его упорного труда в следствии по Ленскому расстрелу: тщательному опросу свидетелей, выяснению неопровержимых фактов притеснения и грабежа рабочих на приисках. Усилия лично его и членов комиссии заставили администрацию товарищества уволить наиболее ретивых сотрудников, злоупотреблявших властью, построить на месте бараков дома, повысить жалованье рабочим, уменьшить длительность трудового дня, а главное, без чего этого нельзя было бы добиться, – ограничить до минимума, а потом и вообще ликвидировать монопольное положение «Лензолота». Это, пожалуй, был первый чувствительный удар по богатым промышленникам, считавшим себя безнаказанными хозяевами жизни. Уважение в народе к смелому и умному адвокату, защищавшему униженных и обездоленных, резко возросло.

За следующим процессом, на который он откликнулся страстно и гневно, делом киевского приказчика кирпичного завода М. Бейлиса, уже внимательно следила вся страна, если не весь мир.

30 марта 1911 года полиция обнаружила убитого мальчика Андрея Ющинского. Полицейские задержали первого попавшегося еврея – Бейлиса – и предъявили ему обвинение в убийстве Ющинского с ритуальной целью – добавлением христианской крови в пасхальный еврейский хлеб – мацу. Ходили упорные слухи, что автором этого сценария был министр внутренних дел И. Г. Щегловитов, органически не выносивший инородцев, и в первую очередь евреев, которых насчитывалось в России свыше четырех миллионов. Задумка министра была дальновидной. Осуждение Бейлиса по религиозному мотиву можно распространить на весь еврейский народ и отложить надолго планы предоставления инородцам равных прав с русскими людьми. По депутатскому запросу членов III Государственной думы В. М. Пуришкевича и Н. Е. Маркова 2-го Бейлиса арестовали. Крупный бессарабский помещик Пуришкевич начал свою карьеру в качестве чиновника особых поручений при свирепейшем начальнике полиции В. К. Плеве. Погромные речи,

безудержная травля инородцев сделали имя Пуришкевича символом мракобесия, разумеется в прогрессивных кругах. О Маркове 2-м – помещике Курской губернии – можно было сказать то, что писал Гоголь в «Мертвых душах» о Ноздреве: «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без историй, какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала, или принуждены вытолкать свои же приятели». Все скандалы в Думе и даже случавшиеся среди депутатов потасовки были связаны с именем Маркова 2-го – ретивого защитника самодержавия. Оба они – Пуришкевич и Марков – опирались на черносотенный «Союз русского народа», организованный еще в 1905 году из самых реакционных элементов общества. Из ущербных мещан и босяков они вербовали боевые дружины, так называемые «черные сотни». Чтобы расположить к себе отсталые слои рабочего класса, «Союз» открыл столовые, чайные, где велась монархическая пропаганда, раздавались деньги, в изобилии получаемые от государства. Основной задачей «Союза» была борьба с революционно настроенными массами, а главным методом борьбы – погромы, организуемые при содействии властей, антисемитская травля и преследование нерусских народностей.

Сам Николай II вступил в «Союз русского народа» и надел его значок. При поддержке Департамента полиции черносотенцы после ареста Бейлиса развернули мощную антисемитскую пропаганду. В его защиту выступили передовые представители интеллигенции: Александр Блок, Максим Горький, Дмитрий Мережковский, Анатоль Франс, Владимир Иванович Вернадский… Известный писатель и, как бы сейчас сказали, правозащитник Владимир Галактионович Короленко провел в Киеве полтора месяца, усиленно готовясь к выступлению в защиту Бейлиса. Среди его официальных адвокатов был брат реакционного министра внутренних дел Н. А. Маклакова – Василий Алексеевич Маклаков, которому спустя много лет, уже находясь в Америке, Керенский доверил свой личный архив в библиотеке Гуверовского института. Доводы экспертов обвинения опровергал молодой профессор психиатрии В. М. Бехтерев, позднее отважившийся публично заявить об обнаружении им признаков шизофрении у Сталина и за это отравленный пирожным в театральном буфете. Члены Святейшего синода Русской православной церкви разоблачили вымыслы о том, что убийства детей-христиан являются одним из обрядов еврейской религии. Не мог остаться в стороне от этого провокационного процесса и Александр Федорович Керенский. В заявлении группы

адвокатов по этому делу он сформулировал основные положения. Текст заявления, оглашенного за неделю до вынесения приговора, написал Василий Дмитриевич Соколов: «Пленарное заседание членов коллегии адвокатов Санкт-Петербурга считает своим профессиональным гражданским долгом поднять голос протеста против нарушений основ правосудия, выразившихся в фальсификации процесса Бейлиса, против клеветнических нападок на еврейский народ, проводимых в рамках правопорядка и вызывающих осуждение всего цивилизованного общества, а также против возложения на суд чуждых ему задач, а именно сеять семена расовой ненависти и межнациональной вражды. Такое грубое попрание основ человеческого сообщества унижает и бесчестит Россию в глазах всего мира. И мы поднимаем наш голос в защиту чести и достоинства России».

Вернувшись после оправдания Бейлиса, кстати вскоре эмигрировавшего в Америку, Василий Маклаков рассказывал Керенскому об огромном резонансе в народе по поводу адвокатского заявления, о том, как ликовали киевляне после освобождения Бейлиса. В городе царил праздник. Люди вышли на улицы, обнимались, целовались, поздравляли друг друга не потому, что оправдали еврея, а потому, что победила справедливость. Александр Федорович пожалел, что не поехал в Киев, но ощутил ту же радость, что и киевляне. Его не пугал приговор суда, касавшийся его и других адвокатов, подписавших заявление. Он даже забыл, что, как член Думы, обладает неприкосновенностью. Соколов приговор опротестовал и добился его отмены, а грозило восемь месяцев тюрьмы. «Мы были вместе с самыми честными и светлыми людьми мира, – сказал Александр Федорович Соколову, – а за это не страшно отсидеть и год».

Керенский жаждал объединения с такими людьми, видел перспективу установления демократии в стране в сплочении всех социал-демократических сил. Большевиков не считал врагами, ведь они выступали против самодержавия. Но удивлялся, что Ленин отчаянно противится сближению большевиков даже с меньшевиками, хотя их взгляды на революцию во многом совпадали. Боялась возможного союза этих партий и царская охранка, но по другой причине. 16 декабря 1914 года директор Департамента полиции издает секретный циркуляр за № 190791: «В связи с чрезвычайной опасностью настоящего плана объединения партий и крайней желательностью сорвать его необходимо просить всех руководителей тайной полиции довести до сведения находящихся в их распоряжении агентов, что они должны настойчиво проводить в жизнь во время посещения партийных собраний и всячески отстаивать идею о полной

невозможности слияния существующих течений, особенно большевиков и меньшевиков». В начале декабря из Швейцарии дошли до российских большевиков ленинские тезисы, призывающие к поражению в войне и посему названные «пораженческими». На конспиративной сходке ЦК партии, на окраине Петрограда (в августе 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград) присутствовала «пятерка» – полный состав большевистской фракции в Думе. Руководил сходкой Л. Б. Каменев (Розенфельд), находившийся на легальном положении. Собрались для обсуждения ленинских тезисов. Через своих агентов, один из которых был редактором «Правды», охранка арестовала всю «пятерку», лишенную Думой права неприкосновенности, немедленно осудила и отправила в Сибирь. «Большевики заполучили пять „мучеников“ и стали разыгрывать эту карту», – записал в своих мемуарах Керенский.

Назовем «пятерку»: Г. Г. Петровский, М. К. Муранов, Н. Р. Шагов, Ф. П. Самойлов, А. Е. Бадаев. Ссылка, по существу, была вынужденным поселением. Без охраны. Ссыльные одеты в легкие пальто, подпоясанные плащевыми ремнями. На голове – матерчатые шапки типа бескозырок. Большевики не выглядят каторжниками по сравнению с узниками периода советской власти. Им спасена жизнь. Кем? Керенским! Об этом по сей день умалчивает история. Да, Александр Федорович защищал на суде большевиков, обвиняемых в попытке свержения существующего государственного строя, то есть в измене родине, за что полагалась смертная казнь. При обыске у них нашли ленинские тезисы и газету «Социал-демократ» с антивоенным манифестом РСДРП, призывавшим к окончанию войны, лучшим и быстрейшим выходом из которой считалось поражение.

Александр Федорович взялся за их дело, потому что ЦК партии большевиков запретил своим членам-адвокатам участвовать в этом процессе. Хотелось «заполучить мучеников», погибших за дело пролетариата. Но задумка Ленина полностью не удалась. Дело слушалось 10–13 февраля 1915 года в Особом присутствии Петроградской судебной палаты. Керенский и присоединившийся к нему адвокат Василий Дмитриевич Соколов сумели доказать, что обвиняемые лично не были на фронте и никаким войскам не навязывали идею пораженчества в войне, не протягивали через окопы для мирного рукопожатия врагам свои руки. Адвокатам удалось переквалифицировать предъявленную подсудимым статью об измене родине на «участие в противозаконном сообществе», каким являлось их собрание. И хотя время для благоприятного решения подобных дел было трудное – шла война, Керенского не устроил приговор «пятерке» –

высылка на вечное поселение в Туруханский край, и он обратился к министру юстиции А. А. Хвостову с просьбой о помиловании осужденных. Керенский считал, что они хотя и лишены членства в Думе, но выбраны туда народом, а в Думе должны быть представлены все имеющиеся в стране партии.

Если бы по политическим мотивам судили самого Ленина, то Александр Федорович, как адвокат, призванный защищать даже убийц, смягчать их участь, не отказался бы от защиты руководителя большевиков, разумеется с его согласия. И пока тот прячется по заграницам, «томится в Швейцарии», Керенский решил помочь его сопартийцам. Министр юстиции обещал рассмотреть дело о помиловании, продвинуть его по инстанциям при условии, что осужденные откажутся от призывов к поражению в войне, от антивоенного манифеста их партии. Осужденные на это не пошли. Согласился с условием лишь куратор «пятерки» Л. Б. Каменев, что, впрочем, не спасло его от Сибири. Кстати, только «соглашатель» позднее вошел в ЦК партии большевиков, а истинные борцы за дело пролетариата, действительно пострадавшие за него, не попали на более или менее крупные посты. За исключением Н. Р. Шагова, получившего в ссылке нервное заболевание, все остальные члены «пятерки» были выпущены на волю и вернулись домой после февральской амнистии, как и многие другие большевики, в том числе будущий глава ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский, забывший об этом милостивом и благородном акте и не допускавший в своей деятельности ни ноты милосердия и прозванный за свою суровость и жестокость «железным».

Именно Керенский, как министр юстиции и, по признанию большевиков, самый левый в Думе, и позднее – во Временном правительстве, был инициатором амнистии для всех политзаключенных. Он мечтал о коалиционном правительстве, в которое войдут люди, облеченные доверием народа, независимо от партии, к которой принадлежат. Его удивлял основной ленинский политический лозунг о перерастании империалистической войны в гражданскую, ибо его осуществление на практике привело бы к страшной братоубийственной войне, отбросившей развитие России на целую эпоху назад. Керенский считал этот лозунг бредовым и неопасным, поскольку большевиков в стране было не более ста пятидесяти тысяч и люди не вникали в смысл лозунга по разным причинам – чаще всего по недомыслию, так как не считали большевиков реальной силой, способной без помощи других демократических партий низвергнуть самодержавие.

В приемной адвоката Александра Федоровича Керенского

толпились ходоки от крестьян с просьбой выступить на процессах по поводу аграрных беспорядков, от рабочих, от представителей национальных меньшинств. О нем с восхищением говорили в народе, его имя стало неразлучным со словами «борьба за свободу человека и справедливую жизнь по демократическим законам». О нем при жизни рассказывали легенды, не сильно отличавшиеся от действительности. Даже большевистская печать тех лет, в отличие от самого Ленина, не была столь беспощадна в его характеристике: «Вождем трудовиков в IV Государственной думе был А. Ф. Керенский. Исключительно темпераментный оратор, резкий и стремительный, Керенский получил известность как защитник в ряде политических процессов и часто выступал в Думе с речами, критикующими правительственные мероприятия…» В Думе после ареста большевиков Керенский оказался наиболее левым депутатом. Революционером считали его правые, и октябристы, и даже охранка. Народом он клялся, о народе говорил, но не считал народ движущей силой истории. Не занимаясь постоянной работой в массах, он тянулся в сторону либеральных групп, где находился, по его мнению, центр движения. (Еще работая в юридической консультации Дома народов графини Паниной, он увидел самый различный рабочий люд – от сознательных грамотных рабочих до отупевших от тяжелого труда и водки, не способных руководить страной. Единомышленников он искал среди либеральной интеллигенции. Под народом он понимал не только пролетариат, а всех трудящихся и мыслящих людей.) Нервный, быстро воспламеняющийся, часто теряющийся, без особых политических пристрастий, он считал себя эсером. (Ну и что, что стал эсером?) Партия эсеров в основном вела работу среди крестьянства, агитируя за «социализацию земли… за постепенное изъятие ее из товарного оборота и обращения путем выкупа из частной собственности отдельных групп или лиц в общенародное достояние». Будешь нервным, прилагая неимоверные усилия в повороте самодержавной России на путь демократии при твердой политической установке: неприкосновенность частной собственности – основное условие любого цивилизованного государства. Терялся? Несомненно. Он очень уставал, сталкиваясь с непониманием новых устоев жизни. Но минуты и часы растерянности проходили – и он воспламенялся снова.

В советское время принадлежность к партии эсеров считалась чем-то позорным и даже ругательным, хотя на самом деле она называла себя «партией всех трудящихся» (рабочих, крестьян и интеллигенции). Болезненное самолюбие и тщеславие сочетались в нем с актерством, любовью к позе, жесту. (Без самолюбия и

тщеславия (чувства достоинства) в сочетании с мыслью – свойства умелого оратора.)

Империалистическую войну он поддерживал открыто, признавая необходимость военного могущества царской России (и не только царской, но и демократической), и резко выступал против большевиков, отвергал начисто большевистский план пораженчества страны в войне с Германией, не мог продать связанные с Россией союзнические державы. Керенский не раз брал на себя роль примирителя буржуазии и некоторых групп рабочих. Так, в сентябре 1915 года, когда рабочие под влиянием меньшевиков пришли на съезд Союза городов с просьбой допустить их на этот съезд хотя бы с «совещательным голосом, к ним вышел Керенский. Он предложил рабочим прекратить забастовку, которая не имеет „серьезного значения“, заняться своей внутренней организацией, тогда-де либеральная буржуазия не посмеет отклонить их участие в политических совещаниях».

Большевики считали, что задолго до революции Керенский репетировал роль соглашателя, примирителя буржуазии и трудящихся в интересах буржуазии. Они жаждали крови, ликвидации либеральной интеллигенции, безоговорочной власти пролетариата, а он стремился к бескровному союзу всех слоев населения, в меру сил готовил этот союз. Слова «бескровный», «бескровная» наиболее часто звучали в его лексиконе. Для него народ не был безликой толпой. За таким диковатым и примитивным народом он не хотел идти и не пошел бы. Возможно, это было его политической ошибкой, но отнюдь не духовной и нравственной. «Если бы тогда было телевидение, – говорил он в конце жизни при встрече журналисту Генриху Боровику, – я бы достучался до сердец большинства людей. Я бы победил. Но я старался как мог. На любой встрече с людьми, даже на улицах, в окопах, произносил свои речи, до изнеможения, до хрипоты. Ведь тогда не было даже микрофонных усилителей. Ах, если бы существовало телевидение!..»

Александр Федорович Керенский ясно видел разницу между народом и толпой. Народ – для него понятие возвышенное, сообщество прогрессивно думающих граждан, а толпа – стая людей с низменными инстинктами.

Глава шестая
События и люди

Известно, что президент Франции генерал де Голль завещал своему народу около полутора тысяч карикатур и шаржей, нарисованных на него, благо крупные черты лица к тому располагали – легко писалось бойким художникам. Но тем не менее генерал остался в памяти французов народным героем. Однако не так «повезло» Александру Федоровичу Керенскому, первому демократу во главе России, после сотен лет самодержавия повернувшему громадную страну к идеалам свободы. Как уже отмечалось, ему посвящен всего десяток карикатур, зато каких злых, проникнутых ненавистью к герою.

Уезжали из страны, уходили из жизни люди, знающие истинного Керенского, и постепенно в глазах и умах советских людей на основе этих живописных и газетных пасквилей вырисовывался определенный стереотип пустоголового и злобного неврастеника. Даже уважаемый человек, книголюб и известный фельетонист Николай Павлович Смирнов-Сокольский в тридцатые годы выступает на сцене с обозрением «Разговор с Керенским». Александр Федорович, окарикатуренный донельзя, предстает перед зрителем в виде большой куклы. Артист задает ей вопросы:

– Вы действительно считали себя вторым Наполеоном?

Кукла молчит.

– Или третьим?

Кукла молчит.

– Значит, вторым. Молчание – знак согласия, – резюмирует артист. – Почему же вы бежали не в форме императора, а в женском платье?

Кукла молчит.

– Понятно. Женское платье подходит вам больше, – шутит артист, но на этот раз, как и в течение всего обозрения, молчат и кукла и зрители.

– Ваш уход! Уход на свалку истории закономерен! – пафосно заключает артист и за ноги уволакивает со сцены куклу под редкие аплодисменты зала.

Обозрение вскоре снимают с репертуара. И уже в наши дни Керенский появляется на сцене Театра на Таганке. Спектакль ставит Юрий Петрович Любимов. Роль Керенского поручают Владимиру Высоцкому. Великие, честнейшие творцы – и Любимов и Высоцкий – даже они были под тяжелейшим прессом

навязанного обществу стереотипа Керенского. Редчайший случай, когда спектакль с их участием выглядел неубедительно и шел недолго. Надуманный, лживо показанный Керенский как бы сам «мстил» за себя. Как он мечтал, особенно в последние годы жизни, о том, что о нем расскажут правдиво! С его слов. Поэтому эта книга выдерживается в хронологии его мемуаров, в его оценке событий и людей того давнего и волнующего времени. Но история лучше видится на расстоянии – и достижения героя, и его ошибки, – хотя он сам прожил до девяноста лет и весьма самокритично относился к своим поступкам и решениям. Однако несомненно – цель, поставленная им, была высока и патриотична, а дела – искренни и бескорыстны. В этом нельзя отказать ему и теперь, читая его мемуары и очередную главу из них – «На пути к демократии».

Период между роспуском Думы и началом Первой мировой войны был одним из важнейших в жизни России.

9 июля 1906 года бывший саратовский губернатор П. А. Столыпин был назначен председателем Совета министров. Он был красноречивым оратором, предприимчивым человеком. Николаю II нравился задором молодости, преданностью, готовностью исполнять задуманные царем изменения в избирательном законе. «Я всегда выступал против Столыпина, – откровенно признавался Керенский, – его тактический лозунг „Вначале умиротворение страны, а потом реформы“ казался мне ошибочным. Однако, несмотря на ошибки и даже преступления, остается фактом, что в его намерения не входило ни восстановление абсолютизма, ни уничтожение народного правительства. Он стремился лишь к установлению консервативной, но строго конституционной монархии».

Выступая на заседании IV Государственной думы, Керенский подверг резкой критике столыпинскую земельную реформу: «…он разжег в деревне пламя гражданской войны». Россия не желала, чтобы правительство прибегало к кровавым расправам с политическими противниками. После учреждения Столыпиным военно-полевых судов Л. Н. Толстой обратился к правительству с глубоко волнующим обращением «Не могу молчать!» и потребовал положить конец казням. Умеренный либерал и видный оратор Ф. И. Родичев с трибуны Думы назвал петли палачей «столыпинскими галстуками». Вот почему после падения монархии в 1917 году правительство демократической революции отменило смертную казнь за все без исключения преступления. Главным инициатором отмены явился министр юстиции Керенский. Эта судебная реформа была встречена ликованием народа, по этому поводу проводились праздничные демонстрации

и парады войск. Позднее, учитывая разложение армии, Керенский был вынужден ввести смертную казнь на фронте. Но его вердикт в первом варианте сразу выдвинул Россию в число самых цивилизованных стран, где судебная реформа находилась на столь же высоком уровне.

Керенский внимательно относился к деятельности Столыпина и был поражен, когда узнал о его убийстве. Драма произошла 1 сентября 1911 года в киевском театре, в партере, в нескольких метрах от царской ложи, где сидел царь с дочерьми. Столыпин был смертельно ранен полицейским агентом, бывшим анархистом. Керенского смутило, что в Киеве Столыпин почему-то оказался без охраны. Убийца был казнен с необычной поспешностью, а до этого содержался в строжайшей изоляции. Видимо, охранка, стараясь ублажить высокопоставленных врагов Столыпина, смотрела сквозь пальцы на готовящееся преступление. Керенский делает вывод: «Столыпин был для Распутина чересчур независимым и честным». Александр Федорович не видит Распутина в сонме врагов отечества, но его фигура и огромное влияние при дворе весьма показательны для нестабильного состояния страны.

Именно в периоды распада империй, разрухи и нищеты как грибы появляются на свет мнимые ясновидящие, гадалки, якобы обладающие могущественным даром, посланным им свыше. Царский двор, за всю историю Романовых бывший не раз ареной интриг, подкупов и тайных убийств, открыто стал пристанищем проходимца, которому под стать эпитет «великий». Крестьянин села Покровского Тюменского уезда, он в молодости бродил по монастырям, вращался среди святош, странников, юродивых. Вскоре он сам стал «пророчествовать», собирая вокруг себя кликух. В деревне его прозвали «Гриша-провидец». Слухи о новом «святом» дошли до Петрограда, где в некоторых великосветских салонах широко распространился религиозный мистицизм. Там Распутин поменял свою фамилию на Новых. Не лишенный ума, хитрый мужик быстро приспособился к ханжеской обстановке сановных кругов. Распутина наперебой приглашали сиятельные дома. На истерических старух и скучающих барынь Григорий производил сильное впечатление не только необычным и загадочным видом, но и слухами о своей бесподобной мужской силе, что, впрочем, соответствовало действительности и, как ни странно, до наших дней бередит сознание обывателей. В центральной прессе появились заметки о якобы найденном фаллосе Распутина редкой величины, сохраненном одной из его поклонниц.

Начальник Департамента полиции С. П. Белецкий, по

должности своей наблюдавший за «старцем» и одновременно пользовавшийся его влиянием в интересах своей карьеры, написал после революции, что Распутин брал уроки гипноза и преуспел в учении. В великосветских кругах из уст в уста передавали случай «святости» Распутина, рассказывали о его чудесном даре – исцелять больных. Распутина пригласили ко двору. Наследник престола Алексей страдал гемофилией – нарушениями в системе свертывания крови и частыми кровотечениями. Наблюдательные очевидцы обратили внимание на то, что Распутин являлся исцелять наследника, когда приступ гемофилии подходил к концу. Суеверная царица и до появления Распутина прибегала к помощи странников, гипнотизеров, возила сына прикладываться к мощам, но безрезультатно. Так или иначе, но именно Распутину удавалось приостанавливать болезнь Алексея. Не будем слишком материалистичны, чтобы безоговорочно отрицать хотя бы гипнотические возможности Распутина, позволявшие ему положительно влиять на заболевание наследника. Распутин внушил царице, что без его помощи и молитв наследник умрет, погибнет долгожданный сын в семье Николая II, где до него рождались только девочки. Ходили упорные слухи о любовной связи императрицы со святым лекарем, но даже если этого не было, то спасения Алексея было достаточно, чтобы покорить ее сердце. Она писала о Распутине мужу: «Милый, верь мне, тебе следует слушаться советов нашего друга. Он так горячо денно и нощно молится за тебя. Он охранял тебя там, где ты был. Только нужно слушаться, доверять и спрашивать совета – не думать, что он чего-нибудь не знает. Бог все ему открывает». Квартира Распутина помимо обожавших его поклонниц была переполнена разного рода аферистами и дельцами. Многие назначения на самые высокие посты проходили с его участием. Стоило хорошо отозваться о, «друге» царицы – и А. Н. Хвостов попадает в министры внутренних дел. И вот Распутин, человек неграмотный, пишет записку своему протеже, без единого знака препинания, каждое слово отдельно:

«Министру
Хвостову
милой
дорогой
красивую
посылаю
дамочку бедная
спасите ё
нуждаетца

поговори сней
григорий».

Этой дамочкой была молодая и красивая замужняя женщина Е.Ф. Джанумова, мать которой, родившуюся в России, но германскую подданную, после начала войны с немцами в 1914 году, собирались выслать в Сибирь. Сестра посоветовала Джанумовой обратиться за помощью к Распутину. Вот что пишет о нем в своих мемуарах просительница: «Говорят, что он управляет Россией, все зависит от него, все судьбы государства Российского… Как это странно. Ведь он простой невежественный человек… Любопытно взглянуть на него». Это ей удастся: «Он был в белой шелковой, вышитой рубашке навыпуск. Темная борода, удивленное лицо с глубоко сидящими серыми глазами. Они поразили меня. Они впиваются в вас, как будто сразу до самого дна хотят прощупать, так настойчиво проницательно смотрят, что даже как-то не по себе делается. Вдруг без всяких предисловий протянул мне стакан с красным вином и сказал: „Пей!“ И дальше командовал он: „Возьми карандаш и пиши!“ Я стала писать. Одна пожилая дама, с благоговением глядящая на Распутина, шепнула мне: „Вы счастливая, он вас сразу отметил и…“

Заговорили о войне.

– Эх, кабы не пырнули меня – не бывать бы войне. Не допустил бы я государя. Он меня вот как слушается, я бы не дозволил воевать. На что нам война? Еще что будет то…

После завтрака перешли в другую комнату.

– Играй «По улице мостовой»! – внезапно скомандовал он, одна из барынь села к роялю и заиграла. Он встал, начал в такт покачиваться и притоптывать ногами в мягких сапогах. Потом вдруг пустился в пляс. Танцевал неожиданно легко и плавно, как перышко носился по комнате, приближался к дамам, выманивая из круга партнершу. Одна из дам не выдержала и с платочком поплыла ему навстречу.

– Ну, довольно, – вдруг оборвал он и обратился ко мне. – А ты что же по делу пришла? Ну, пойдем, говори, что надоть, милуша?

Я изложила свою просьбу.

– Твое дело трудное. Сейчас и заикаться о немцах нельзя. Но я поговорю с ею, а она с ним потолкует. Оно, может, и выгорит. А ты должна приехать ко мне в Питер. Там и узнаешь. Утром меня разбудил телефон. Беру трубку. Слышу заразительный смех подруги, устроившей мне встречу с Распутиным.

– Распутин ночевал у меня на квартире и с утра волнуется, собирается к вам. Он просил у меня духовитой помады и ножниц

для ногтей. На мой вопрос: «Зачем?», говорит: «А мы поедем к чернявой красотке». Теперь вы у него просите все, что вам надо. Все сделает. Пользуйтесь.

Керенский понимал, что Распутин лишь отражение гнилости самодержавия. При дворе успешно подвизался М. М. Андронников – спекулянт, деляга, сумевший при содействии военного министра В. Сухомлинова задешево приобрести прибыльные орошаемые земли в Туркестане. Секретарь Распутина Манасевич-Мануйлов, секретный агент полиции, настолько беззастенчиво занимался аферами и взяточничеством, что был арестован полицией, но отпущен на волю, после того как царица написала Николаю, что арест Мануйлова совершен «с целью повредить нашему другу». Министр внутренних дел Н. А. Маклаков (не путать с его братом В. А. Маклаковым, адвокатом и другом Керенского) нравился царю тем, что умел развлекать его семью: петь петухом, подражать «влюбленной пантере» и другим животным.

Но не эти люди должны вершить судьбой страны. Внимание Керенского серьезно привлекал А. И. Гучков – создатель партии октябристов и ее глава в III Думе. Внук крепостного крестьянина, он отражал интересы интеллектуальной верхушки московского купечества, презирал сословные привилегии и испытывал недоверие к бюрократам. Живой, энергичный, он в молодости добровольцем сражался на стороне буров против англичан, участвовал в восстании македонских четников. Входил в отряд Красного Креста в войне России с Японией. В комиссиях и на совещаниях Думы он не раз критиковал неповоротливость и продажность генералов, снабжавших армию боеприпасами. Часто ездил на фронт, лично налаживая контакты с высшими чинами командного состава. Во время обсуждения в Думе бюджета Военного министерства Гучков обратился с призывом к великим князьям принести «патриотическую жертву», а по существу отказаться от административной деятельности в армии, где они демонстрировали полную беспомощность. Его речь вызвала возмущение в придворных кругах, а императрица расценила ее как нападки на царские прерогативы. Керенский высоко оценил позицию октябристов, стоявших, по его мнению, «в арьергарде тех сил, которые выступали за подлинную демократию». Позднее Александр Федорович пошутил по поводу ленинского высказывания о том, что истинными революционерами могут быть только пролетарии. Керенский ценил Гучкова за стремление поднять страну до более высокого экономического и культурного уровня, соответствующего великой державе. Большинством голосов III Дума утвердила законопроект и программу всеобщего

и обязательного образования. Не разразись война, программа была бы полностью реализована к 1922 году. Но даже и до войны в школу не ходили только те дети, родители которых этого не хотели. С точки зрения социальных корней среднее и высшее образование в России было в мире самым демократичным.

В период деятельности III Думы земства тратили на образование треть своих средств. При школах открывались библиотеки, проводились лекции, вечерние и воскресные занятия для взрослых, устраивались театральные представления. До Первой мировой войны тысячи учителей из государственных школ побывали на учебе в Италии, Франции и Германии. Росла экономика, бурно развивалось сельское хозяйство. С 1906-го по 1913 год площадь обработанных земель возросла на 16 процентов, а урожай на 41 процент. Крестьянский земельный банк выкупил у частных землевладельцев миллионы гектаров земли и передавал их крестьянам. К началу войны 89,3 процента всех пахотных земель находились в руках крестьян. Экспорт продукции вырос на 150 процентов. Крестьянские хозяйства доминировали на внутреннем и внешнем рынках, поставляя за границу три четверти зерна, льна и практически все масло. Наблюдался большой рост фермерских хозяйств, особенно в Сибири, где крестьяне вступили в фазу экономического развития по американскому типу. Перед войной все масло, которое вывозила Англия из России, производила Сибирь. Впоследствии даже некоторые коммунистические авторы признавали быстрое промышленное развитие России за время «конституционной пятилетки» в канун Первой мировой войны: «Россия стала быстро развиваться по капиталистическому пути, оставляя позади старые капиталистические страны, шедшие ранее впереди». Капиталовложения в промышленность были в три раза больше, чем в Америке. Именно в это время впервые на гастроли в Италию приехал еще неизвестный там певец Федор Шаляпин, с которым в Риме произошел любопытный эпизод, отразивший тогдашнее экономическое положение России.

Об этом в книге воспоминаний поведал читателям популярный до революции писатель и фельетонист Влас Дорошевич. Он находился в Риме во время приезда Шаляпина и удивился, когда узнал, что местные любители пения готовят провал Шаляпину, нанимая специальных людей – клакеров, которые должны были освистать певца. Удивленный этим, Дорошевич поинтересовался у римлян, почему они еще до концерта отрицательно судят о способностях Шаляпина. Ему ответили: «Сам факт его приезда в Италию – форменное нахальство. Оно подобно тому, как если бы мы из Италии

привезли в Россию пшеницу!» Кстати, дебют Шаляпина в Риме прошел блистательно и ему аплодировали даже клакеры. Керенский любил Власа Дорошевича, с интересом читал его хлесткие фельетоны, рассчитанные на мыслящего читателя. После Октябрьской революции Дорошевич писал мало – он потерял своего читателя и, оставшись в России, пал духом, захворал и умер в 1927 году. А февраль встретил с восторгом… Полностью разделял взгляды Керенского.

Александр Федорович неоднократно замечал, что жизнь нормально развивающейся страны основана на принципе честной игры. Власти и простой люд в своих взаимоотношениях должны придерживаться определенных правил. Всякий раз, когда эти правила нарушают власти, начинаются злоупотребления. И тогда людям остается выбирать – либо смириться с произволом властей, либо встать на путь борьбы за свои права, прибегая к самым крайним методам. Эта своеобразная формула, выведенная А. Ф. Керенским, верна для всех времен. Он писал: «Побывав в самых разных уголках страны, с годами я приобрел представление о чувствах и чаяниях простых людей. Став членом Думы и изучив всю систему управления страной, я ясно осознал всю трагическую сложность отношений между правительством, формально несущим ответственность за благосостояние страны, и верховной властью, находящейся в руках безответственной клики невежественных и бесчестных политиков. Правящие и привилегированные круги русского общества совершенно не желают проявить независимость и передать власть трезвым, здравомыслящим людям. Стало очевидным, что распутинщина, превратившаяся в позор России, и беспомощность перед ней царя ставят Россию на грань нового тяжелого кризиса».

Предчувствие страшной беды мучило Александра Федоровича. Он даже дома не находил покоя от бесконечного потока мыслей, терзавших его сознание. Некому было открыть душу, не с кем было посоветоваться. Ольгу то ли не интересовали его волнения, то ли ей мешали домашние заботы, воспитание детей. Однажды он ранее обычного пришел домой, и еще не уложенный спать Олег бросился к нему:

– Папа! Папа! Поиграй со мной!

– Что?! – изумленно вымолвил Александр Федорович, ушедший в свои мысли, и легонько отстранил сына, обнявшего его за колени. Ребенок расплакался. В переднюю вошла Ольга.

– Почему плачет Олежек? – спросила она. – Ты ударил его?!

– Я? – удивился Александр Федорович. – Как ты могла подумать такое?!

– Могла! – обиженно вымолвила жена. – В последнее время

ты стал груб. Отвечаешь резко и невпопад. Совсем не уделяешь внимание детям… И мне, – добавила она и смахнула слезу с ресницы.

– Извини, дорогая, – смутился Александр Федорович, и ему стало жутко от мысли, что она права. Он фактически забросил семью, мотаясь по стране, по собраниям, по различным встречам. Он не мог сказать Ольге о том, что много времени у него отнимает масонская ложа, но именно там он узнал Александра Ивановича Гучкова как доброго и искренне преданного стране человека. Одно дело – официальное выступление с трибуны Думы, другое – приватный откровенный разговор, при котором собеседники смотрят друг другу в глаза и от их взора не ускользнет даже мельчайшая фальшь.

– Ты знаешь, что Глеб переболел корью? – с укором произнесла жена.

– Когда?

– Во время твоего отъезда.

– Да, вспомнил. Ты говорила мне об этом.

– Тебе безразлично, Саша, – всплакнула жена, – ты домой-то пишешь?

Александр Федорович остолбенел от ее слов. Он интересовался событиями в Туркестане, но при этом даже не вспоминал, что там остались родные. Несомненно, и отец и мать наслышаны о его успехах, рады, что их сын становится все более и более известным в стране. Но одобряют ли они его деятельность? Мама гордится им. А отец? Он разрешил ему после окончания университета вести себя так, как он пожелает. Отец – умница, он не стал вмешиваться в деятельность сына. Он требовал одного – сначала узнать жизнь, а потом действовать. И сын выполнил его условие, но не разделял фанатичную преданность отца царской фамилии. Сначала он не хотел писать отцу, боясь получить от него гневный ответ, а потом вообще раздумал писать. Поступил глупо. Отец если бы и ругнул его, то по-отечески, желая добра. А мама… Она верила в него… Однажды сказала близкой родственнице, что Саша – необычный ребенок, пытливый, задумчивый не по летам… И будущее у него должно быть необычным. «Я люблю тебя, мама!» – мысленно обратился к ней Александр Федорович и поднял глаза на Ольгу. Ему показалось, что перед ним стоит не любимая жена, а женщина, с которой он привык общаться, не более. Похолодело сердце. Он понял, что надежда на возвращение былых и пылких отношений с Ольгой исчезает, если уже не рухнула. Но сыновья… Он их любит. Нежно. Они подрастут и поймут, почему отец уделял им мало времени. Он стремился построить новую Россию. А если не

поймут? Зачем загадывать так далеко? Оля вышла из передней, уводя за собой Глеба. Он смешно засеменил по-детски неуклюжими ножками. Александр Федорович задержался в передней. Потом шагнул в комнату – к Ольге, детям, но мысль его уже витала далеко от них, хотелось сказать, крикнуть людям, что Россия может спасти себя, стать настоящей демократической державой и достичь этого без восстания и революций. Для этого необходимо ввести всеобщее избирательное право, гарантировать людям свободы. Можно обойтись без кровопролития. При воспоминании о Кровавом воскресенье Александра Федоровича всегда охватывал ужас. Он не доверял Гапону, не пошел с ним просить милости у царя, но, услышав выстрелы, поспешил к Зимнему. Площадь перед ним была усеяна трупами. Открытые глаза мертвых людей более всего поразили его. Они снились ему ночами, возникали при виде баррикад, вооруженных людей, целившихся в своих соотечественников. Ничего не видящие глаза, устремленные в неизвестность.

Александр Федорович подошел к столу, подготовленному для ужина. Ольга в детской укладывала сыновей. Принесла блюдо, накрытое тарелкой.

– Караси в сметане. Ты их любишь. Еще не остыли.

– Спасибо, – благодарно вымолвил он, приподнял тарелку и увидел открытые мертвые глаза рыбешек. – Извини, Ольга, почему-то нет аппетита, – недовольно произнес он, резко встал со стула и направился в спальню.

А Ольга еще долго сидела за столом, в отчаянии обхватив голову руками. Она тоже понимала, что их прежние отношения вряд ли удастся восстановить. Кто отнимает у нее мужа? «Другая женщина», – решила она, но на этот раз ошиблась. Мужа полностью захватила революция. И не случайно в своих мемуарах, относящихся к этому и более позднему периоду, Керенский не упоминает ни ее, ни детей, ни родителей. Зато подробно описывает дальнейший путь России: «Осенью 1912 года октябристы в IV Думе заняли место оппозиции. Гучков обратился к своим сторонникам с новым лозунгом: „Против участия безответственных людей в решении государственных дел, за правительство, ответственное перед народными избранниками“. По сути дела, он повторил призыв, с которым еще в I Думе 1906 года выступали кадеты во главе с Павлом Николаевичем Милюковым, бывшим профессором, историком Московского университета, человеком высокой культуры. Прежде октябристы и кадеты были непримиримы по многим вопросам. Теперь примирение между ними становилось неизбежным. Их общей целью стало сохранение монархии как символа единства

государства при полной и эффективной передаче власти правительству, опирающемуся на поддержку народных избранников. „Но это была недостижимая цель, – позднее грустно отметил Керенский, – монарх, которому была ненавистна одна мысль о Конституции и который мечтал о возрождении абсолютизма, не мог допустить парламентской демократии… Судьба еще оставляла ему шанс…“

В полночь 18 июля 1914 года германский посол вручил русскому министру иностранных дел ультиматум, ввергнув Россию в состояние войны, к которой она была не готова. Через несколько часов об этом узнал Керенский. Он отключил телефон, чтобы не будить жену и детей, и постарался собраться с мыслями. Снова перед ним замаячили открытые глаза несчастных, число их росло, и он старался избавиться от страшного видения. «Снова кровопролитие, кровопролитие…» – вертелась в голове неотвязная мысль. Постепенно страх от неожиданного известия сменила обида: «Ни одна великая держава не нуждалась в мире, как жаждала его Россия после войны с Японией». Вспомнилось, что еще в 1911 году Столыпин писал послу России в Париже Извольскому о том, что «нам необходим мир. Война, особенно в том случае, если ее цели не будут понятны народу, станет фатальной для России. И наоборот, каждый мирный год укрепит Россию и с военной и с экономической точки зрения». Керенский позавидовал удивительному провидчеству Столыпина. Незаурядный был человек. Постепенно проникал в самую глубину событий и жизни. Правда, жестковат был сверх меры. Но кто может точно определить эту меру? Наверное, со временем помягчел бы. Большую пользу мог бы принести отечеству…

28 мая 1914 года на весенней сессии Думы члены всех фракций – от социал-демократов до октябристов – настояли на отставке министров, проявивших фанатическое неприятие народного представительства: министра внутренних дел Н. А. Маклакова, министра юстиции Щегловитова и военного – Сухомлинова. Керенский обратился к главе IV Думы, владельцу огромных поместий в Екатеринославской губернии и соратнику Гучкова по партии октябристов М. В. Родзянко с просьбой от думского Совета старейшин сообщить царю, что для достижения успеха в войне необходимо:

1) изменить внутреннюю политику,

2) провозгласить всеобщую амнистию для политических заключенных,

3) восстановить конституцию Финляндии,

4) объявить автономию Польши,

5) предоставить национальным меньшинствам

самостоятельность в области культуры,

6) отменить ограничения в отношении к евреям,

7) покончить с религиозной нетерпимостью,

8) прекратить преследование законных профсоюзных организаций.

Просьбу составил Керенский, и она была одобрена Советом старейшин без малейших поправок. Потом Александр Федорович посчитал, что в спешке не развил просьбу более подробно. Возможно, из дипломатических соображений следовало бы обратиться к царю не столь ультимативно, но шла война, гибли люди, надвигался кризис, и, впрочем, более мягкие прежние просьбы, даже в верноподданническом стиле, царь отклонял и отвечал на них репрессиями. Вернувшийся из Царского Села Родзянко сказал Керенскому, что царь бегло просмотрел листок и отложил его на край стола. Александр Федорович расстроился. Где-то в глубине души он наивно надеялся, что царь удовлетворит хотя бы часть требований. Ведь речь шла об успехе в военных действиях. Тем более Дума не требовала ликвидации монархии. Вместе с тем радовало то, что представители разных фракций стали находить общий язык. Родзянко в кулуарах Думы отвел Керенского в сторону: «Александр Федорович, вы зря недоверчиво косились на меня. За вами следит полиция, за мною лично министр внутренних дел. Мне удалось выловить его донос на меня Николаю. Вот посмотрите: „Родзянко, ваше высочество, только исполнитель – напыщенный и неуемный, а за ним стоят его руководители – господа Гучковы, князья Львовы и другие, систематически идущие к своей цели. В чем она? Затемнить свет вашей славы, ваше высочество, и ослабить силу значения святой, исконной и всегда сиятельной на Руси идеи самодержавия“. Вот кто я такой. Исполнитель Ваших намерений, Александр Федорович». – «Но моя фамилия в доносе не значится», – возразил Керенский. «Присутствует, – улыбнулся Родзянко, – в слове „другие“. Будем сотрудничать дальше?» – «Придется», – уверенно произнес Керенский.

Летом 1915 года был созван Всероссийский съезд представителей промышленности и торговли, предложивший организовать Центральный Военно-промышленный комитет с многочисленными подразделениями. В Комитет вошла группа рабочих-оборонцев, которая с конца 1916 года и вплоть до революции решительно противодействовала пораженческой пропаганде Ленина и Людендорфа – немецкого военачальника и политического деятеля.

Комитет организовал немедленную отправку на фронт обмундирования, снаряжения и боевой техники. Его поддерживал

Союз земств и Союз городов, а возглавил председатель Союза земств князь Г. Е. Львов, впоследствии первый председатель Временного правительства. Все политические партии, за исключением большевиков и крайне правых, все патриотически настроенные министры и Верховное главнокомандование на фронте ориентировались на Комитет Львова. Позднее, живя в эмиграции, князь Львов писал: «Пожалуй, ни одна страна, кроме России, не сталкивалась во время войны со столь важной проблемой. Она вынуждена была вести борьбу не только с противником, который превосходил ее в области вооруженной и военной подготовки, но и создавать мощные оборонные организации. Они возникли вопреки противодействию правительства и опирались на поддержку сил, потенциал которых был доселе неведом. Только природный талант и врожденные организаторские способности, в основе которых лежала предприимчивость русского народа, спасли в то время Россию».

В июне из правительства наконец-то были выведены ненавистные министры. Их места заняли люди, пользующиеся доверием Думы. Во время повального отступления 1915 года великий князь Николай Николаевич – Большой Николай, – мало смысливший в вопросах внутренней экономики и политики, вызвал в стране хаос насильственной высылкой из прифронтовых районов всех без исключения евреев и других местных жителей. Царь отправил Николая Николаевича своим наместником на Кавказ, стал главнокомандующим и укрепил Генеральный штаб генералом М. В. Алексеевым, по мнению Керенского, «лучшим стратегом Европы». Благодаря его усилиям оправившись от нанесенных ей ударов, русская армия заняла позиции вдоль новой оборонительной линии и удерживала их вплоть до Октябрьской революции. В Думе стал оформляться так называемый «Прогрессивный блок» во главе с П. Н. Милюковым, С. И. Щидловским и В. В. Шульгиным. В его состав вошли октябристы, кадеты с прогрессистами, часть умеренно правых, группа националистов и фракция центра. Не вошли меньшевики, крайне правые и трудовики вместе с Керенским, который сочувственно относился к созданию блока и чьи предложения блок включил в свои требования к царю, из тех, что передавал царю Родзянко. Николай II назвал их «бессмысленными мечтаниями». Его в раздраженной форме поддержала царица, презрительно относящаяся к членам «Прогрессивного блока»: «Никому не нужно их мнение – пусть они лучше займутся вопросом о канализации».

Совещание Совета министров с представителями «Прогрессивного блока» состоялось 27 августа 1915 года. Не

найдя поддержки у А. Н. Хвостова, Керенский все-таки перенес в Думу вопрос о помиловании депутатов-коммунистов, признав, что суд не совершил ошибки в своем приговоре. Но и Дума потребовала от осужденных отказа от пропаганды «пораженчества». Посоветовавшись с «клиентами», Керенский снял этот вопрос с повестки дня. П. Н. Милюков заметил ему: «Амнистия, по существу, не есть пересмотр приговора по каким-либо новым обстоятельствам, а признание вины». – «Так же как и помилование», – согласился с ним Александр Федорович.

Депутат П. Н. Крупенский высказался по пункту пятому об отмене ограничительных законов для евреев: «Я прирожденный антисемит, но пришел к заключению, что теперь необходимо для блага родины сделать уступки евреям. Нельзя отрицать, что евреи представляют большую международную силу и что враждебная политика против них ослабляет наше государство, наши отношения с Америкой тоже». Видимо, не случайно, а по иронии судьбы именно пятый пункт в анкетах и паспортах, выявлявший национальность человека, в первую очередь еврейство, при правительственном антисемитизме еще сохранялся.

В начале октября с поста исполняющего обязанности министра внутренних дел был снят Н. Б. Щербатов и заменен крайне правым А. Н. Хвостовым – хитрым, амбициозным молодым человеком, еще до убийства Столыпина запримеченным Распутиным. Руководители «Прогрессивного блока» поняли, что окончательно исчезли все надежды на соглашение с короной.

Возникла драматическая ситуация. Резче всех членов Думы высказался Гучков: «В каждой борьбе есть риск. Все иллюзии исчезли. Я выставил бы боевой лозунг и шел бы на прямой конфликт с властью. Все равно обстоятельства к тому приведут».

Более осторожно выступил депутат А. Шингарев: «На чем держится власть? На энерции, на заинтересованных кругах, на государственной машине. На отсутствии мужества и даже понимания. Я считаю сомнительным готовность к удару в лоб. Я предлагаю конфликтовать с властью на съездах, в Думе, так как ее исчезновение превратит общество в пыль».

Подвел черту под диспутом князь Львов: «Блок ни в чем не ошибся. Вся Россия висит в воздухе».

Глава седьмая
Раздумья об интригах и заговорах

Пятый день Александр Федорович не выходит из дома. Ольга не знает, что с ним случилось. Неужели решил прекратить бешеную деятельность? А вдруг… Вдруг решил зажить спокойно, по-семейному, как и полагается? Не похоже… Хмур… Напряжен. Редко выходит из своей комнаты. Потреплет по головке сыновей. Они рвутся к нему, а он им даже не улыбнется. Наскоро поест и снова удалится в свою комнату. Просил не пускать к нему детей. Побрился на третий день. Ольга думала, что он, как обычно, уедет куда-нибудь по делам, но он снова залег на диван. О чем-то думает, подложив руки под голову. Ольга не знает о чем. Неизвестность пугает ее. Вдруг? Страшная мысль поражает ее – вдруг ему все надоело, вдруг он разочаровался в себе, в своих надеждах и вообще в жизни? Она всегда поражалась его жизнеспособности, необузданной энергии, заключенной в нем, но видела его и в моменты нервных срывов, обычно после тяжелых процессов, череды выступлений. Подруга Ольги восхищалась его речами, рассказывала ей, что он может говорить часами, так взволнованно и интересно, что слушатели не замечают время. И он тоже. Но подруга не знала, что после этого он приходил домой выпотрошенный, нервный и порой, переходя на фальцет, говорил истерично. Ольга поначалу думала, что его раздражают она, дети, но потом догадалась, что его срывы – результат чрезмерной усталости, ее и детей он в эти моменты просто не замечал. Так ей казалось. Но сейчас? Что происходит с ним сейчас? Сердце замерло от пугающей неизвестности. Она поняла, что до сих пор любит его и зря делала вид, что ее не смущает его безразличие к детям, холодность к ней. Она открыла дверь в его комнату. Он лежал на диване, согнув ноги в коленях, устремив взгляд в потолок.

– Тебе чего, Оленька? – сказал он, не повернувшись к ней.

Он давно не называл ее так ласково, и она растерялась, забыла подготовленные слова.

– Ничего, Саша, – покраснев, ответила она.

– Ничего, ничего, – повторил он, уйдя в свои мысли.

Она постояла минуту и вышла из комнаты. Вскоре вернулась:

– Ты здоров, Саша?

– Как никогда болен, – вдруг искренне произнес он, – не пугайся, Оля. Я болен болезнью адвокатов…

– Не слышала о такой, – удивилась она.

– Разве ты не знаешь, что настоящий адвокат болеет за своих подзащитных? – серьезно вымолвил он.

– Тебя пригласили вести новый процесс? – поинтересовалась Ольга.

– Давний, весьма давний процесс, Оленька. Никто не приглашал. Если не считать жизни.

– Кто же твой подзащитный?

– Подзащитная! – неожиданно воскликнул он. – Не понимаешь?

– Нет.

– Да страна наша, Оленька! Россия!

– От кого же ты ее защищаешь? Не от царя же?! Упаси боже!

– От царя, – четко произнес он, и Ольга от испуга сжалась, она давно чувствовала, что в нем зреет ненависть к царю. Уже года три-четыре она со страхом наблюдала, как он морщится, когда она в молитвах упоминает царское имя.

– И ты один? Один? Против… – пролепетала она.

– Время покажет, – задумчиво произнес он, – думаю, что меня поддержат многие.

– И ты не боишься, Саша? Ведь жандармы тебя караулят. Я знаю, что ты посылал свои требования к царю. Он не простит тебе этого.

– И другие тоже, – загадочно и протяжно заметил муж, после чего Ольга молча попятилась к выходу из комнаты.

«Что будет? Что будет с нами? Ведь могут сослать в Сибирь! Помилуй нас, Господи!» – простонала она и тревожно посмотрела на спящих детей.

Тем временем Александр Федорович мысленно вел свой процесс, начав с анализа событий, вспоминая, что в 1905 году были разорваны духовные связи между троном и городскими рабочими, а в июне следующего года подорвана вера в царя у либерально настроенной интеллигенции. Причиной этому послужил разгон I Думы, обсуждавшей вопрос о земельной реформе. Перед каждым патриотом вставал вопрос: во имя кого он живет – во имя России или царя? Первым ответил монархист и умеренный либерал князь В. Н. Львов: «Во имя России». Такой же ответ прокатился по всей думающей, неспящей и неравнодушной к своей судьбе стране. В 1915 году офицеры, казалось, самые преданные самодержавию люди, принимавшие присягу, пытались провести ряд заговоров по уничтожению царя. Известный военный летчик капитан Костенко хотел спикировать на автомобиль императора, когда он прибудет на фронт. Лично к нему, к Керенскому, явился его старый друг, сын одного из царских приближенных, граф Павел Толстой. Он приходил по

просьбе великого князя Михаила Александровича, который, зная о его тесных связях с рабочими и левыми партиями, интересовался, как они отнесутся к тому, если он возьмет власть у брата и станет царем.

Тогда Александр Федорович подумал, что возможна дворцовая революция. Как он был наивен. Считал появление Распутина при дворе лишь отражением распада самодержавия, недооценил возможности неграмотного, но хитрейшего мужика из Сибири. Превращение Распутина из знахаря и друга царской семьи в человека, творящего историю России, привело к мысли, что историю творят не только объективные законы, что отнюдь не последнюю роль в ней играет личность. Много думал о царе, старался понять его действия.

Будучи уже императором, Николай II встретил в Виндзорском замке и влюбился в Алису Гессен-Дармштадтскую. Довольно быстро «Виндзорский солнечный лучик», как называл ее Николай, стала мрачной русской императрицей и фанатичной сторонницей православной церкви. После десяти лет супружеской жизни 30 июля 1904 императрица наконец родила сына. Ранее ее заботы ограничивались семейным кругом, а после появления престолонаследника она стала уделять усиленное внимание государственным делам, поскольку самодержавие символизировало не только власть мужа, но и будущее сына. Она писала царю: «…дарование народу конституции обернется большой потерей для тебя и России». В том, что Распутин был человеком загадочным, сомнения не было. Ему ничего не стоило перейти от разнузданной оргии к состоянию религиозного экстаза. В его присутствии царь терял уверенность.

Старая фрейлина Елизавета Алексеевна Нарышкина, получившая при дворе прозвище Зизи, объясняла изменение характера царя тайнами его личной жизни…

Неожиданно Александр Федорович привстал с дивана. Он давно не общался с людьми, не знал, что происходит в стране. Выбыл из активной политической жизни на целых пять дней. Он не считал, что его домашнее затворничество прошло бесполезно, и предстал перед Ольгой бодрым и одухотворенным.

– Ты выздоровел?! – От неожиданного появления мужа Ольга задала ему нелепый вопрос, о чем тут же пожалела.

– И не подумал! – не без гордости заметил он. – Собери мне газеты! Защита должна быть продолжена!

Он вернулся к обычной для себя беспокойной жизни, постоянно осмысливая ее. Через несколько лет, после убийства царской семьи, он по-своему истолковал зловещую фразу царского камердинера Чемодурова: «Наказание за ужасный грех».

Распутин был для царицы воплощением священного единения короны и крестьянства. Все слухи о моральном разложении Распутина отвергались ею как клеветнические. Даже когда он совратил няньку цесаревича Вишнякову и последствия этого нельзя было скрывать, тем более что сама нянька призналась царице в содеянном грехе, Александра Федоровна восприняла это как попытку оболгать святого человека. Фрейлина Софья Ивановна Тютчева, которой было доверено воспитание царевен, жаловалась царице, что Распутин заходит к ним в любой час дня и ночи, – царица оказалась глуха и к этому сообщению. Но тут вмешался царь – запретил приходы «святого».

Дом Распутина находился под постоянным внешним наблюдением и охраной тайной полиции, а сменяющие друг друга министры внутренних дел тратили баснословные деньги за информацию о «божьем человеке». Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Керенским от имени Временного правительства, раскрыла поистине чудовищную картину деятельности Распутина и его камарильи. Вокруг царицы и ее преданнейшей фрейлины Анны Вырубовой вились льстецы и бесчестные люди, связанные с германской секретной службой, вышедшей прямо на Распутина. Улики ошеломили Александра Федоровича. Министр внутренних дел А. Н. Хвостов позднее сказал ему, что через Распутина немцы получали наиболее секретные планы русского Генерального штаба. Распутину помогал его друг, тибетский знахарь Бадмаев, использовавший для лечения травы, коренья, настои. Именно в это время царица настойчиво советует царю в письмах принимать капли, предписанные Бадмаевым. Однажды Распутин, находясь под хмельком, проговорился князю Юсупову, что бадмаевские капли могут вызывать «душевный паралич, а также останавливать или усиливать кровотечение». Александра Федоровна властвовала честолюбиво и осознанно, и Николай II покорно нес свое бремя, наверное помня, что рожден «в день Праздника Великого долготерпения». И хотя даровал России конституцию, вел себя как самодержец. Вместе с тем, к удивлению Александра Федоровича, проявил безучастность в момент отречения от престола, в чем, видимо, видел «Божий промысел». Николай, конечно, знал о «художествах» Распутина, но не отдавал себе отчета в том, что за пределами дворца они отражаются больше, чем любая революционная пропаганда. Но царь считал себя обязанным уступать Александре Федоровне во всем, что касалось наследника. Лишь к осени 1916 года царь стал явно проявлять признаки усталости от Распутина. После убийства Распутина в декабре 1916 года во дворце не произошло существенных

перемен, ибо все-таки «царь был центральной фигурой в драме, которая близилась к трагическому завершению», – подвел итог деятельности «старца» Александр Федорович Керенский.

Убийство Распутина, совершенное великим князем Дмитрием Павловичем, князем Феликсом Юсуповым и реакционным депутатом Думы Пуришкевичем, выглядело в его глазах незаконным. Когда-то и он был сторонником индивидуального террора, своего рода бунта одиночек. А теперь российский бунт пугал его, будто он видел Пугачевское восстание, сметающее всех и вся на своем пути, похожее на то, к чему стремились большевики, или Думу прежних созывов – «бунт на коленях», унизительный и неэффективный, с которым играючи расправлялся царь. У Александра Федоровича хранился протокол роспуска Думы.

«Председатель. Объявляю заседание Думы открытым. Предлагаю Государственной Думе стоя выслушать высочайший указ. (Все встают.)».

«Поднял членов Думы, чтобы потом бросить на колени», – сокрушенно покачал головой Александр Федорович, но набрался духа дочитать протокол.

«Товарищ председателя Государственной Думы Протопопов. Указ Правительствующему сенату. На основании ст. 99 основных государственных законов повелеваем: занятия Государственной Думы прервать с 3 сентября сего года и назначить срок их возобновления в соответствии с указом нашим… в зависимости от чрезвычайных обстоятельств… На подлинном собственного его императорского величества рукою подписано: „Николай“. В царской Ставке 30 августа 1915 года.

Председатель. Государю императору «ура!». (Долго не смолкающие крики «ура!».) Объявляю заседание Государственной Думы закрытым».

«Крики были. Приверженцев самодержавия. Но не вся Дума исступленно боготворила царя. Не все упали на колени перед ним», – отметил про себя Александр Федорович. Он не совсем точно определял характер царя как безучастного, безвольного человека, легко отрешившегося от власти. Понял это позднее, в первые дни после Февральской революции, когда Чрезвычайная следственная комиссия в личных бумагах Николая обнаружила анонимную записку, казалось, фантастического содержания, бывшую не чем иным, как планом императора по удержанию власти:

> «I. Назначить на высокие государственные посты только бесконечно преданных Единой Царской

Самодержавной власти.

II. Манифестом Государя должна быть распущена Государственная Дума.

III. В обеих столицах и городах, где ожидаются особенно острые выступления революционной толпы, ввести военное положение.

IV. Закрыть все органы левой и революционной печати».

Как выяснила Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, план императора, выглядевший анонимной запиской, был составлен в так называемом «Кружке Римского-Корсакова» и отнюдь не музыкантом. Ее готовил, судя по содержанию и тону, министр внутренних дел А. Д. Протопопов, назначенный на пост 6 сентября 1916 года. Александр Федорович был предельно огорчен тем, что после его отъезда из Саратова, где он вел беседы со многими ведущими политическими деятелями, все они были арестованы.

Тогда Керенский встретился с Протопоповым, как и он, уроженцем Симбирска, с которым поддерживал хорошие отношения. «Сейчас мы все уладим!» – улыбаясь, по-дружески объявил Протопопов и тут же дал телеграмму об освобождении указанных Керенским лиц. Александра Федоровича озадачило то, что Протопопов встретил его в жандармском мундире, который надевал редко, а в дальнейшей беседе говорил странные вещи и моментами походил на сумасшедшего, хотя до этого был нормальным, интеллигентным, хорошо воспитанным человеком. Перемена в нем объяснялась тем, что он страдал неизлечимой венерической болезнью и, как выяснилось, даже лечился у доктора Бадмаева, где повстречался с Распутиным, которому, по всей видимости, не стоило труда подчинить себе человека с разрушенной психикой. И еще тогда подумал Александр Федорович, что землячество – большая объединяющая сила. Ведь Протопопов освободил людей, близких своему политическому противнику. Незадолго до своей смерти Протопопов писал: «Начало выкристаллизовываться рабочее движение. То тут, то там вспыхивают стачки. Мы были вынуждены разработать план для подавления рабочего движения, если оно будет носить насильственный характер». Мы – это он и Николай. Согласно намеченному ими плану был разогнан центр патриотического движения оборонцев среди рабочих, а в том же месяце, 26 января 1917 года, были арестованы все члены «рабочей группы», за исключением полицейского агента Абросимова. Император сообщил Протопопову, что немедленно отправляется в Ставку,

чтобы перебросить в столицу необходимые армейские подразделения. Перед отъездом из Петрограда царь подписал указы Сенату как об отсрочке, так и о роспуске Думы, не проставив на документах дату, и вручил их князю Голицыну. Александру Федоровичу показалось, что царь сделал это не столь страстно, как прежде, он был равнодушен к своей судьбе. Смирился с нею, когда не было иного выхода.

Революционное напряжение в стране нарастало. На заседании Московского комитета кадетской партии 23 сентября ее видный член Кишкин доказывал, что страна доведена бездарным правительством до революции. Директор Департамента полиции докладывал министру внутренних дел о разгроме большевистской партии в то время, когда у того на руках были сводки о новых стачках и демонстрациях, неслыханных с 1914 года. К удовольствию Керенского, Милюков предостерегал против поощрения бунтовских «революционных инстинктов»: «Нашей задачей будет не добивать правительство, что значило бы поддерживать анархию, а влить в него совершенно новое содержание, то есть прочно обосновать правовой конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством, несмотря на все, необходимо чувство меры». Керенский подумал: «Опять возникло понятие об абстрактном чувстве меры. В этом вопросе нужна конкретность». Александр Федорович видел, что царизм уже не способен вести победоносную войну, разложение в армии и, как следствие, поражение на фронте свидетельствовали об этом. Непрерывно растущая разруха говорила о его бессилии вывести страну из тупика. Даже правый депутат Думы Шульгин выступил, как никогда прежде, осуждающе: «Мы терпели, так сказать, до последнего предела. И если мы сейчас выступаем совершенно прямо и открыто с резким осуждением власти, если мы поднимаем против нее знамя борьбы, то это только потому, что мы действительно дошли до предела, потому что произошли такие вещи, которые дальше переносить невозможно».

Несколько раньше, 1 ноября, в первый день пятой и последней сессии Думы, Милюков, сообщая о ряде конкретных фактов из неумелой, продажной практики правительства, каждый раз спрашивал: «Что это – глупость или измена?» Он резко критиковал председателя Совета министров Штюрмера, обвиняя его в предательстве интересов России. Милюков говорил о «темных силах», окружавших трон, в очень осторожной форме – о предательстве на самом верху, намекая на императрицу, которую молва обвиняла в сочувствии немцам, о невозможности правительства вести войну до победного конца. «Что это –

глупость, измена?» Ответ армии и народа был один: «Измена». Выступая от имени всего «Прогрессивного блока», С. Щидловский потребовал создания уже не «министерства доверия», а министерства, целиком отвечающего за свои действия перед Думой. Лидер крайне правых В. М. Пуришкевич, обрисовав махинации распутинской клики, отделил от них царя и, призвав всех членов Думы сохранить верность России и монархии, отправился в Царское Село «коленопреклоненно» молить царя спасти Россию от произвола «темных сил». Речь его не получила ожидаемого им отклика.

Большинству думцев осточертело коленопреклонение перед царем, унизительное и безрезультатное. Их внимание привлекла обструкция Керенского действий нового премьер-министра А. Ф. Трепова, сохранившего Министерство внутренних дел во главе с Протопоповым, по приказу которого 8 и 9 декабря 1916 года полиция разогнала съезд Союза городов и Союза земств. Александр Федорович произнес речь, основанную на резолюции этого съезда, принятой накануне разгона: «В России всем сословиям, всем классам, всякому единению честных людей вполне ясно, что безответственные преступники, гонимые суеверным страхом, изуверы, кощунственно произносящие слова любви к России, готовят ей поражение, позор и рабство! Дума должна с неослабевающей энергией довести до конца свою борьбу с постыдным режимом». Керенскому и трудовикам, а также социал-демократам за его речь, а точнее, за обструкцию Трепова было вынесено порицание и запрещено присутствие на пятнадцати следующих заседаниях Думы. Но это наказание выглядело формальным и необязательным к исполнению, поскольку в тот же день еще резче выступил князь Г. Е. Львов, представлявший возглавляемый им Союз земств: «Историческая власть страны стоит у бездны. Разруха растет с каждым днем, и с каждым днем все труднее подвести страну к уровню великих требований, которые к ней предъявляются. Наше спасение в патриотизме, в нашем единении и ответственности перед Родиной. Когда власть ставит преграды на пути к спасению, ответственность за судьбу Родины должна принять вся страна. Должно быть создано правительство, достойное великого народа, именно сейчас, в один из величайших моментов нашей истории. Время не терпит, истекли все сроки для отсрочек, данные нам историей». Оба документа зачитывались на закрытом заседании Думы. Предложение Керенского обсудить их на открытом заседании было отвергнуто Родзянко. Но Александр Федорович не испытывал угрызений совести или разочарования, наоборот, чувствовал себя преотлично, выступил не хуже, чем на самых

громких исторических процессах. И тогда и сейчас он, по существу, защищал не только обвиняемых, но и страну, защищал ее от угнетения и рабства, мешающих ей обрести свободу, и, на его взгляд, сделал это удачно.

Домой вернулся воодушевленным, в хорошем расположении духа, что случалось с ним редко, обнял Ольгу, поцеловал детей, сердечно поздоровался с братом жены и, неожиданно для себя, в стиле разгулявшегося купчика, скомандовал: «Ольга! Накрывай на стол! Гулять будем!»

Душа требовала разрядки. Слишком много энергии отнимали баталии в Думе. Она была единственной независимой организацией, которую не рискнул закрыть Протопопов. В те черные месяцы развала страны этот орган народного представительства, конечно далекий от совершенства, был единственной надеждой России на поворот к новой, доселе незнакомой ей цивилизованной жизни. Ему верила армия на фронте, рабочие в столице. По городу поползли слухи, будто Царское Село решило расправиться с Думой. Когда в конце концов 14 февраля был назначен день возобновления работы Думы, к Керенскому и Чхеидзе – одному из лидеров меньшевиков – пришла делегация рабочих Путиловского завода и предложила провести массовую демонстрацию в поддержку Думы. Она была отменена по тактическим соображениям. Сложность и опасность ситуации понимали в самых высших кругах общества. Французский посол Палеолог записал в дневнике следующий разговор с великой княгиней Марией Павловной: «Что делать?.. Вот уже пятнадцать дней мы все силы тратим на то, чтобы попытаться доказать ему, Николаю, что он губит династию, губит Россию, что его царствование скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия… – Мы молча смотрим друг на друга. Она догадывается, что я имею в виду драму Павла I, потому что она отвечает жестом ужаса: – Боже мой! Что будет?!» Английский посол Бьюкенен телеграфирует в Лондон: «Если император будет слушаться своих нынешних реакционных советников, то революция, боюсь, является неизбежной». Но Николай был не столь неосторожен и безучастен к происходящему, как казалось многим со стороны. Он принимает контрмеры, увольняет Штюрмера, обвиняемого в измене, и назначает председателем Совета министров А. Ф. Трепова, брата того самого петербургского генерала-губернатора, который в революцию 1905 года издал знаменитый указ: «Патронов не жалеть».

Трепов был сыном петербургского градоначальника, в которого стреляла Вера Засулич. Он был связан с некоторыми

депутатами в Думе по своей прежней работе в правительстве. 19 ноября 1916 года новый председатель представился Думе и сразу объявил, что союзники отдадут России Константинополь. «Русский народ должен знать, за что он льет свою кровь».

Предполагалось, что эти уступки успокоят взволнованных депутатов, а потом можно будет взять другой курс. Николай II, назначая Трепова, с недоверием принятого при дворе, успокаивал царицу: «Противно иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь. Но раньше всего надо найти ему преемника, а потом вытолкать его после того, как он сделает грязную работу, – я подразумеваю – дать ему отставку, когда он закроет Думу». Царское окружение намеревалось, кроме разгона Думы, запретить «союзы», выбрать новую, более «ручную Думу», сосредоточить в руках одного «полномочного лица» всю полноту власти и выступить против революции. Но план сорвался в первый же день открытия V Думы, когда Керенский устроил обструкцию Трепову, сильно подорвав его авторитет.

В канун открытия Думы Родзянко отправился к царю с всеподданнейшим докладом: «Правительство все ширит пропасть между собой и народным правительством… С прежней силой возобновились аресты, высылки, притеснения печати…»

Царь был сильно раздражен этим посланием и предупредил Родзянко, что Думе будет позволено продолжать заседания, «если она не допустит новых непозволительных выпадов в адрес правительства», и отклонил его просьбу об удалении из правительства наиболее непопулярных министров. На это Родзянко высказал мнение о том, что это его последний доклад: «Ваше величество, вы выражаете несогласие со мною, и все останется, как было… Я вас предупреждаю, что не пройдет и трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы не будете царствовать».

Царь вздрогнул и побледнел. Никто еще не говорил ему это так резко и угрожающе, глядя прямо в глаза. Даже близкие лишь намекали о том, что нельзя допустить, чтобы род Романовых потерял корону. И он не собирался лишаться ее. Он и не мог себе представить, что его народ, падающий ниц перед своим государем, молящий Бога о его спасении, может пойти против помазанника Божьего. Отдельные гнусные выскочки могут, но народ… Николай не считал Родзянко своим врагом… Может, он искренне предупреждает его? Или продался думским либералам, которых давно надо было бы перевешать, как советовала царица. Высказался дерзко, недостойно, и сам не в себе – кончики пальцев дрожат. Ждет чего-то. Не уходит. Пусть стоит, наглец. Царь окинул его презрительным взглядом и, не попрощавшись с ним,

вышел из кабинета.

Вскоре пророчество Родзянко сбылось. Царь вспомнил о нем в первый же день работы Думы. Открывая заседание, Милюков заявил, что, по его мнению, страна далеко опередила правительство… И не только «мертвая бюрократическая машина принесла народу страдание, она не так уже и мертва, ибо у нее на службе было немало разумных и преданных делу людей. Однако их полностью лишили возможности действовать, они лишь выполняли приказы министров. Кто смещал честных министров и назначал на их места прихлебателей Распутина?».

Царь, читая выступления думцев, дойдя до этой фразы, снова побледнел. Но уже следующий думец заставил царя побагроветь от возмущения. Он слышал его фамилию, звучащую на самых неприятных для его величества политических процессах. Специально приглядывался к нему, запомнил его, с виду невзрачного, прическа бобриком, но всегда с горящими глазами, и представил себе, как он орал с думской трибуны: «Корень зла не в бюрократии и даже не в „темных силах“, а просто в тех, кто сейчас сидит на троне… И если вспомнить историю власти за последние три года, то разговоры о „темных силах“ создали союз наивных мечтателей с политическими авантюрами…» Тут царь отложил газету: «Кого этот мерзавец имеет в виду? Кто эти авантюристы? Убийцы Распутина, что ли?» Рука царя невольно потянулась за газетой, и он продолжил чтение: «И вот исчезли „темные силы“… Исчез Распутин… Изменилась ли система? Историческая задача русского народа в настоящее время состоит в уничтожении средневекового режима! Немедленно! Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам превратил закон в орудие издевательства над народом! С нарушителями закона есть только один путь – физическое уничтожение!» Царь с негодованием отбросил газету: «Повесить мерзавца. Немедленно!» А в Думе после этих слов Родзянко спросил у Керенского: «Что вы имеете в виду?» Керенский ответил без колебаний: «Я имею в виду то, что совершил Брут во времена Рима!» Потом пожалел, что, по сути, призвал к беззаконию, опустился до уровня и методов преступников. «Непозволительно для адвоката, тем более члена Думы. И скидка на состояние эйфории, в которой он находился, не оправдывает его. А царица, узнав о словах Керенского, вторила мужу: „Повесить надо Керенского! Повесить!“

Через день председатель Думы получил от министра юстиции официальное заявление с требованием лишить Керенского парламентской неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности. «Совершение тяжкого преступления

против государства». Получив эту ноту, Родзянко тотчас пригласил его в свой кабинет и, зачитав ее, сказал: «Не волнуйтесь, Александр Федорович, Дума вас никогда не выдаст!» – «Спасибо», – протянул ему руку Керенский, и они скрепили это решение крепким рукопожатием.

Николай немедля вызвал в Царское Село министра внутренних дел. Тот приготовился к обширному докладу, достал папки с документами, донесениями из Департамента полиции, но царь остановил его:

– Керенский… Что вы скажете о нем?

Министр покраснел, поскольку к ответу на этот вопрос был не готов.

– Досье в полиции есть, – натужно вымолвил он, – слежка ведется давно. Но…

– Что – но? – нетерпеливо произнес царь.

– Ваше величество, Александр Федорович замечен в связях с рабочими. Недавно путиловцы к нему приходили. Кстати, удивительное дело. Большевики проникают на завод, чтобы вести там агитацию, а рабочие больше доверяют Керенскому. Но, как вы знаете, Родзянко не снял с него неприкосновенность…

– Этот жалкий толстяк! Опять несет всякий вздор! – поморщился Николай. – А что Керенский? Неужели к нему нельзя найти подход?

– Извините, ваше величество, вопрос сложный, – изобразил задумчивость министр, – как вы знаете, Керенский вел только политические процессы, по которым не платят гонорар. А мог бы разбогатеть, как Плевако. Насколько нам известно, от приглашений на ведение уголовных дел отказывался. Стремился к другому. Говорит, к свободе народа.

– Значит, неподкупен?

– Очевидно, ваше величество. И еще… В демонстрациях лично не участвует. А то давно сидел бы в Трубецком бастионе. Замечено, что в речах не всегда контролирует себя. Даже на заседаниях в Думе. Чересчур горяч, ваше величество.

– Жаждет монаршей крови? – встрепенулся Николай.

– Не думаю, – замялся министр, – он вообще-то против кровопролития. В последней речи явно зарвался. Обстановка сложная. Разрешите доложить, ваше величество?

Николай помрачнел:

– Подождите. Мой флигель-адъютант утверждает, что Керенский еврейского происхождения. Так ли это?

– О боже! Неужели проморгали! – испугался министр. – Есть документы? Что говорят об этом в «Союзе русского народа»? Почему молчит Пуришкевич? Пусть Воейков официально

обратится в Департамент полиции. Хотя… У Керенского университетское образование. Неприкосновенность. Увы, за черту оседлости его не переправишь. И вообще, сейчас…

– Понимаю, – вздохнул Николай, – еврей он или не еврей, но, судя по вашему отношению к нему, он дерзкий, но не озверевший человек?

– С какой стороны подходить, – уклончиво ответил министр.

Он спешил в Петербург. Обстановка в городе накалялась не по дням, а по часам. Суровая зима принесла новые лишения. Подвоз хлеба в Петроград и Москву почти прекратился. Цены на товары широкого потребления прыгнули вверх. Уже не раз громили булочные. Охранка отмечала в своих донесениях министру: «Матери семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок, исстрадавшиеся при виде своих полуголодных и больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем господа Милюковы, Родичевы и К°, и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой тот склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар».

Уже после возвращения от царя министр затребовал полный текст речи Керенского на открытии Думы. В ней были и такие слова: «Если вы со страной, если вы понимаете, что старая власть и ее слуги не могут вывести Россию из кризиса, то вы должны определенно заявить себя не только на словах, но и на деле сторонниками немедленного освобождения государства и немедленно перейти от слов к делу». Министр не ожидал такой революционной прыти от членов Думы. Многие находились в ссылке, на каторге, главные из них – в эмиграции. Самым опасным из думцев был, без сомнения, Керенский. В отличие от не менее авторитетного в Думе Милюкова он пользовался доверием рабочих.

Говоря о противостоянии царя и Керенского, у нас есть возможность сравнить образы, характеры того и другого, и сделать это на основе уникального по содержанию дневника Зинаиды Николаевны Гиппиус – поэтессы, прозаика и критика. Можно спорить о ее поэтическом творчестве, о роли в русской литературе, она принадлежала к течению символистов, в ее стихах звучали мотивы чувственной любви и религиозного смирения, но бесспорно она была своеобразной поэтессой:

Здесь все – только опалово,
только аметистово,
да полоска заката алого,
да жемчужина неба чистого…

А где-то на поле – цветы небывалые,
и называется поле – нетово…
Что мне зеленое, белое, алое?
Я хочу, чтоб было ультрафиолетово…

Петербургские «дневники» Гиппиус, написанные в тревожные годы до и после Февральской революции, сотворенные рукой человека проницательного, откровенного, неравнодушного к судьбе родины, на мой взгляд, представляют несомненную историческую ценность: «Керенского мы знали давно. (Мы – Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, супружеская чета, муж – известный прозаик, кандидат на Нобелевскую премию по литературе, при избрании уступивший И. А. Бернину два голоса. – *В.С.*) Керенский бывал у нас и до войны. Во время войны, мы, встречались с ним в бесчисленных левых кружках интеллигенции. Мы любили Керенского. В нем было что-то живое, напористое и детское. Несмотря на свою истерическую нервность, он тогда казался нам дальновиднее и трезвее многих… Я помню, как однажды Керенский, говоря со мной по телефону после какой-то очень грубой ошибки думских лидеров, на мой горестный вопрос: «Что же теперь будет?» – ответил: «Будет то, что начинается с а…», т. е. анархия; то есть крах. «Оно». Гиппиус и Керенский встречаются на заседании Религиозно-философского общества в первую «военную» зиму. «Говорил тогда и Керенский… Я не слышала ни одного слова из его речи. И вот почему. Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой, на стене, висел громадный, во все лицо портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и совсем рядом, – лицо Николая II. Портрет очень недурной, видно похожий на оригинал (не серовский ли?) Эти два лица рядом, казавшиеся даже на одной плоскости, т. к. я смотрела в один глаз, до такой степени заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным, „аккордом“, что я уже и не слышала речи Керенского. В самом деле смотреть на эти два лица рядом – очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли – именно благодаря „аккорду“, в котором, однако, все – вопящий диссонанс… Лицо Керенского – узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все живое чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая – спокойное, незначительно-приятное. Добрые… или нет, какие-то „молчащие“ глаза. Этот офицер – точно

отсутствовал. Страшно был и все таки страшно не был. Непередаваемое впечатление от сближенности обоих лиц. Торчащие к верху, короткие, волосы Пьеро-Керенского и реденькие, гладенько причесанные волосенки приятного офицера. Крамольник и царь. Социал-революционер под наблюдением охранки и его величество император божьей милостью. Я читала самые волшебные страницы интересной книги – Истории; и для меня, современницы, эти страницы были иллюстрированы».

Мы еще не раз заглянем, углубимся, в дневники Гиппиус, а пока вернемся к хронологии событий.

18 февраля забастовала одна из мастерских Путиловского завода. Во всех цехах состоялись митинги. Рабочие избрали делегацию для предъявления требований к дирекции. Директор пригрозил расчетом. 22 февраля завод был закрыт, в результате чего на улицу выбросили тридцать шесть тысяч человек. 23 февраля критическое положение с продовольствием обсуждалось в Думе. Керенский, чье выступление ожидали, считая, что он держит руку на пульсе времени, сказал: «Путиловцы просили меня передать вам, что они сделали все, чтобы закрытие завода не состоялось… и даже согласились вернуться на работу на старых условиях, но увидели объявление о закрытии завода. Таким образом, остались без работы десятки тысяч петербургского населения, самого голодающего и обездоленного». Дума ответила недовольным шумом. Депутаты расселись по фракциям, спорили, бурно обсуждая услышанное.

В конце заседания Думы Милюков внял требованиям рабочих об улучшении продовольственного снабжения в городе. Наметил меры для этого. От имени группы трудовиков Керенский внес предложение о восстановлении на работе всех уволенных путиловцев, о возобновлении работы завода. Дума приняла его предложение, но, к сожалению, попытка Думы положить конец провокационным действиям администрации завода и правительства запоздала. В тот же день началась всеобщая стачка, о которой еще в январе полиция доносила правительству: «Идея всеобщей стачки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной…»

Невский проспект и прилегающие к нему улицы были запружены толпами людей. Вечером командующий войсками Петроградского военного округа генерал Кабалов получил распоряжение из Ставки: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. *Николай II».*

Приказ царя взволновал Кабалова. На допросе в следственной комиссии после Февральской революции он признался: «Эта

телеграмма… как вам сказать? – чтобы быть откровенным и правдивым… она меня хватила обухом… Как прекратить завтра же? Сказано: „Завтра же…“ Когда говорили: „Хлеба дать“, – дали хлеба, и кончено. Но когда на флагах надпись: „Долой самодержавие“, какой же тут хлеб успокоит. Но что же делать? Царь велел. Стрелять надо».

25 февраля против народа были брошены казачьи отряды. В тот же день Дума собралась на свое последнее и самое короткое заседание. Для думцев было очевидно, что спасти себя они могут, только продолжая заседания. И как они и ожидали, в ночь на 27-е заседание Думы было прервано царским указом, на котором князь Голицын поставил дату – 25 февраля. На следующий день направлявшихся к Невскому демонстрантов встретил беспощадный огонь. Стрельба шла весь день. По справке охранного отделения, только на одной Знаменской площади полицией было подобрано сорок убитых и столько же раненых, не считая тех, что демонстранты унесли с собой. Но уже утром 27 февраля войска стали переходить на сторону восставшего народа. Начался мятеж в резервных батальонах гвардейских частей. Кавалерийские части, вызванные с фронта, не прибыли в столицу. В то же утро правительство Голицына перестало существовать. «Смерть так смерть, – говорили солдаты, – но в своих стрелять не будем». Жандармов и упорствующих офицеров вылавливали, обезоруживали и в пылу борьбы истребляли. Горели полицейские участки. Несмолкаемое «ура» перекатывалось из района в район.

Глава восьмая
Революция? Да!

Накренился державный трон, словно кто-то залихватским ударом кованого сапога надломил одну из его ножек и принялся за остальные.

Узнав о неповиновении солдат Волынского полка, отказавшихся стрелять по восставшим, Керенский поспешил в Думу, считая необходимым найти контакт думцев с военными. Родзянко еще пытался утихомирить народ, цепляясь за старую власть, разослав телеграммы царю и командующим фронтов: «Положение серьезное. В столице – анархия. На улице идет беспорядочная стрельба. Нужно немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство…» Ответа не последовало. Полки солдат, без офицеров, покидали казармы и заполняли улицы. Представители левой оппозиции – Некрасов, Ефремов, Чхеидзе и Керенский – решили провести очередную сессию Думы, не считаясь с царским декретом об ее устранении. Некоторые думцы, включая Родзянко и Милюкова, медлили, ожидая дальнейшего развития событий. Дума все-таки собралась, но не как обычно в Белом зале, а в полукруглом, показывая этим новый характер своей работы. Для «водворения» порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами» Советом старейшин был избран Временный комитет, куда вошли М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, С. И. Щидловский, И. И. Дмитрюков, А. И. Коновалов, В. А. Ржевский, В. Н. Львов, А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе. Крайне правые депутаты с политической арены исчезли. После часа дня у здания Думы появились солдаты Преображенского полка. Окруженные горожанами, они выстроились вдоль противоположной стороны улицы. Лишившись командиров, они были возбуждены и несколько растерянны. Не теряя ни минуты, даже не накинув пальто, к ним через центральный вход ринулся Керенский. Лицо его сияло. Он так долго ждал этого момента. От имени Думы он приветствовал восставших. Солдаты окружили его. Керенский попросил их следовать за ним, чтобы разоружить охрану, но она уже разбежалась. Солдаты и горожане заполнили Екатерининский зал. Керенский произнес перед ними речь, прерываемую радостными криками слушателей. У них не было сомнения, что революция свершилась. Люди хотели знать, как Временный комитет поступит со сторонниками царского режима. Керенский

сказал, что наиболее опасных из них арестуют. Однако люди с улиц не должны брать в свои руки осуществление закона. Потребовал, и в строгой форме, не допускать кровопролития. На вопрос, кто будет арестован первым, ответил, что им должен стать бывший министр юстиции, председатель Государственного совета Щегловитов. Он был арестован в тот же день в четвертом часу и доставлен в Думу. Родзянко, друживший с ним, пригласил его в свой кабинет. Между ними стал Керенский и сказал Родзянко:

– Нет, Щегловитов не гость, и я не допущу его освобождения.

Затем обратился к арестованному:

– Вы Иван Григорьевич Щегловитов?

– Да.

– Прошу вас следовать за мной. Вы арестованы. Ваша безопасность гарантируется, – четко, по-деловому произнес Александр Федорович, без намека на театральность, без позы и актерства, приписываемых ему политиком, носившим кепку и держащим руки в карманах брюк, что никогда не считалось признаком культуры.

Он сощурил глазки, когда, «томясь в Швейцарии», узнал о революции на родине. Он быстро нашел объяснение случившемуся, которое устраивало его: «Если революция победила так скоро и так по внешности „радикально“, то лишь потому, что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе… заговор англо-французских империалистов, толкавший Милюкова, Гучкова и К° к захвату власти в интересах продолжения империалистической войны… и массово-народное (беднейшее население городов и деревень) движение революционного характера за хлеб, за мир, за настоящую свободу». О Керенском ни слова. Его не отнесешь ни к капиталистам, ни к бедноте. Ленин давно присматривался к этому смелому адвокату, который не на словах, а практически боролся за права народа. Особенно раздразнило Ленина участие Керенского в защите большевистской «пятерки», лишенной думской неприкосновенности. Он, по существу, подорвал возможность вести вокруг них агитационную кампанию против буржуазии. Ленин ревновал его к сближению с рабочими, к популярности среди них, ревновал жестоко, затаив ненависть, ожидая удобного момента, чтобы вылить на него поток грязи. Он набил руку на «обличении» политических оппонентов и конкурентов. Ждал, когда подойдет очередь Керенского. Предвидел, что революция может возвысить этого целеустремленного человека и весьма убедительного оратора. Даже забыл, что придется воевать с земляком, что вообще-то

среди интеллигентных людей делать не положено. С земляком нужно искать общий язык, в крайнем случае заключить худой мир, но не воевать.

Керенский не считал Ленина врагом, относил к крайне левым социал-демократам, с которыми трудно, но необходимо объединиться. Подтверждением возможного союза с ними стал их манифест, обращенный ко всем гражданам России: «Граждане! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа… Революционный пролетариат и революционная армия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство. Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое рабство. Задача рабочего класса и революционной армии создать Временное революционное правительство, которое должно стать во главе нового, нарождающегося республиканского строя. Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетных и удельных земель и передать их народу, введение 8-часового дня и созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов… Гидра реакции еще может поднять голову. Задача народа и его революционного правительства подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы».

Далее шли чисто большевистские лозунги типа «стать под красное знамя революции», но они не смутили Керенского, как и юридически неграмотный призыв к конфискации помещичьих земель, которые на 60 процентов были заложены и перезаложены и их передача крестьянам начисто разрушила бы банковскую систему страны. К тому же большевики, вероятно, забыли, что частная собственность – основа любого цивилизованного государства. А какого цвета будет знамя революции – пока не столь важно. Можно обойтись и без знамени. Тем более красного цвета – цвета крови. Манифест ЦК РСДРП (большевиков) был издан 26 февраля и уверил Керенского в главном – большевики приняли и поддержали революцию, а то, что о ней сказал Ленин в Швейцарии, в России было неизвестно. На ознакомление с отзывами на революцию находящихся в далекой эмиграции социал-демократов просто не хватало ни времени, ни сил. Насущные задачи и вопросы полностью захватили Александра Федоровича. К трем часам дня 28 февраля помещение Думы было набито гражданскими лицами и солдатами. К только что

созданному Временному комитету со всех сторон обращались с вопросами и советами. Вокруг царило возбуждение, которое, если не унять, могло перейти в неразбериху и истеричность. Тысячи людей требовали внимания, вплоть до того, кому что разрешить или отказать, как накормить этих людей. Одновременно думали о том, как оформить новое правительство, как составить его программу. Необходимо было быть в курсе того, что происходит вне Петрограда, особенно в Ставке и царском поезде.

Стало известно, что царь и Ставка двинули на Петроград войска с фронта, возглавляемые генералом Ивановым, наделенным диктаторскими полномочиями. Он был героем первой галицийской кампании 1914 года, отличился жестоким подавлением Кронштадтского мятежа 1905 года. На этот раз он еле добрался со своим эшелоном до Царского Села. Здесь его войска немедленно побратались с революционными солдатами, а сам он едва успел избежать ареста.

На обратной дороге его поезд был загнан в тупик. Царь по дороге из Ставки добрался только до станции Дно. Встречные поезда были забиты солдатами, разносившими весть о восстании в столице и настроенными к царю не так безропотно и коленопреклоненно, как прежде. Ехать дальше было бесцельно. Николай II повернул в Псков, чтобы там поднять армию против Петрограда. Во Пскове ему сообщили о победе революции, а все командующие фронтами в телеграммах рекомендовали уступить. Только тогда царь пожалел, что не прислушался к советам и мольбам Родзянко. И царица предупреждала его из Петрограда, сначала довольно беспечно: «Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, – просто для того, чтобы создать возбуждение, – и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели дома». А потом тревожно: «Революция приняла ужасающие размеры. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Уступки необходимы». Теперь всякие действия и сопротивление были излишними.

Временный комитет взял на себя функции исполнительной власти. «По просьбе рабочих, – записал Керенский, – была выделена комната для только что созданного Совета рабочих депутатов. В него попали случайные люди, которые пробовали навязать революции теорию социализма. Я выявил к этой идее полное неприятие. Позднее его цели и состав изменились к лучшему». Керенский предложил представителя Совета ввести во Временный комитет, но его члены выступили против, особенно Шульгин, представлявший в комитете националистов. События тех дней он отразил в своих воспоминаниях весьма своеобразно,

по сути дела изменив принципам, позволившим ему стать членом Временного комитета: «Пулеметов – вот чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы – этот зверь был… его величество народ. То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась». Кого подразумевает Шульгин под словом «мы»? Кого угодно, но только не Керенского. Его вообще многие соратники Шульгина считали мало значащей фигурой. Недооценивали его популярность в народе, как и не знали сам народ, далеко не однообразный по уровню мышления и гражданскому сознанию. Видели в нем только дикую толпу. Сейчас кажется спорным решение Керенского «выделить комнату» для Совета рабочих депутатов. Наверное, правильнее было бы вместо его организации ввести депутатов от рабочих во Временный комитет, что слишком робко попытался сделать Керенский. Он, с мнением которого считались рабочие, приходившие к нему за консультациями, советами, тогда даже не подумал, что они смогут создать параллельную власть. Хорошо подумать об этом просто не было времени.

К исходу 27 февраля весь Петроград перешел в руки восставших войск. И временами стихия толпы, не народа, а толпы, готова была разнести все на своем пути. Силами революции были заняты здания министерств, штаб-квартира охранки, полицейские участки и суды горели. Чтобы обуздать хаос, Временный комитет образовал Военную комиссию для организации руководства Петроградским гарнизоном.

В это время к зданию Думы подошел 1-й резервный пехотный полк во главе со своими командирами. Он был первым военным соединением, в полном составе перешедшим на сторону революции. Временный комитет, по сути дела, стал «первым зародышем нового общенационального правительства», как определил Керенский. Утром 28 февраля о своей солидарности с Думой, читай – с Комитетом, объявили военные академии и большинство гвардейских полков. Население и солдаты ближайших городов присоединились к ним. Выражение поддержки революции носило столь восторженный характер, что у нее сам собой выработался определенный ритуал. К примеру, Семеновский гвардейский полк, прибыв в Думу, заполнял Екатерининский зал и выстраивался в центре его. К солдатам и офицерам выходил Родзянко и обращался с речью, призывая оказать доверие новой власти, соблюдать дисциплину… От избытка чувств полное тело его трепетало, когда он поздравлял

военных с победой революции. Речь его тонула в аплодисментах. Затем с ответным словом выступал командир части, заверял Комитет в верности революции, что вызывало еще большее ликование.

Александр Федорович не замечал ни времени, ни того, что не ел уже трое суток. Он бесконечно отвечал на вопросы солдат и рабочих, говорил уверенно и обоснованно. Душа его находилась в чудесном полете, которому, казалось, не будет конца. И когда он, наконец, решил на пару часов забежать домой и вышел из здания Думы, люди на улице узнавали его, громко и сердечно приветствовали, тянули к нему руки. Кто-то обнимал, кто-то просто хотел коснуться его, вокруг закружился людской водоворот. Благо до дома было пять минут ходьбы. Иначе не вырваться бы ему из людских объятий. Ольга, заметив его в окно, с трудом вырывавшегося из шумной толпы, открыла дверь. Она никогда не видела его таким радостным, с пылающим от счастья лицом. Даже когда рождались сыновья, он улыбался, шутил, радовался, но не с такой силой, как сейчас.

– Свершилась революция? – спросила она.

«Да!!!» – ответил его полный азарта и счастья взгляд.

Может ли человек быть бесконечно счастливым, жить на высочайшем подъеме чувств? Несомненно. Но может ли он при этом, с парящей над бытием душой, точно и разумно воспринимать все происходящее, вплоть до событий, случаев и моментов, на первый взгляд кажущихся мелкими и незначительными, – наверное, может, но не столь трезво и глубоко, как в обычной, нормальной жизни.

Александр Федорович не очень внимательно отнесся к беспокойству солдат о том, что якобы офицеры замышляют контрреволюционный переворот. Председатель военной комиссии полковник Энгельгардт опроверг эти слухи. Тогда делегаты только что созданной военной секции Совета, ставшего Объединенным советом рабочих и солдатских депутатов, попросили Энгельгардта издать приказ, обращенный к тысячам солдат, которые, оставшись без офицеров, не знали, что делать. Энгельгардт отказался, считая, что приказ должен издать Гучков, приступивший к руководству войсками через неделю. Оттяжка сильно расстроила солдатских депутатов, и они подготовили свой знаменитый приказ № 1 (1 марта 1917 года). Свидетели утверждают, что его едва ли не под диктовку солдат писал член Исполнительного комитета меньшевик Н. Д. Соколов.

Соколов по профессии был адвокатом. Поэтому ему и поручили записать этот документ. Но он совершенно не разбирался в военных вопросах. К тому же его «подсказчики» из

членов Исполнительного комитета Совета были в основном меньшевиками и эсерами, программы которых не сильно отличались от большевистских тезисов. В результате в приказе значимость офицеров в революционной армии сводилась почти что к нулю, им даже запрещалось иметь оружие (!), а шестым пунктом, размытым и неясным, они, по сути, лишались власти (!).

При печатании приказа Соколов успел снять пункт выборности командиров, что в общем-то не лишило приказа в ряде основных пунктов элементарной логики. Абсурдность приказа не вызывала сомнений и поставила русское офицерство, готовое поддержать революцию, в унизительное положение. Приказ завизировал Керенский, будучи так же, как и меньшевики Н. Д. Соколов, Н. Н. Суханов, «полуленинцем», каким он числил себя, пописывая статейки против войны, членом Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, как Ю. М. Стеклов и эсер В. Н. Филипповский. Какую роль он считал для себя главной – участие в Совете или во Временном комитете? По всей видимости, его прельщали оба этих органа, где он мог принести пользу революции. Позже он говорил, что «отдал бы десять лет жизни, чтобы приказ вовсе не был подписан». Но в напечатанном приказе было невозможно что-либо изменить, хотя бы ввести пункт о выборности офицеров в солдатские комитеты, о соблюдении строжайшей воинской дисциплины, то есть о беспрекословном подчинении низших чинов офицерам.

Вот как описывает происходившее Зинаида Николаевна Гиппиус: «Сколько месяцев прошло? Итак, сегодня все тот же Керенский. Тот же… в чем-то неуловимо уже другой. Он в черной тужурке, как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был „элегантен“, без всякого внешнего демократизма. Он спешит, как всегда, сердится, как всегда…Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и, однако, она уже есть. Она чувствуется… Бранил Соколова. Дима (муж Зинаиды Николаевны) спросил: „А вы знаете, что Приказ № 1 даже его рукой и написан?“ Керенский закипел: „Это уже не большевизм, а глупизм! Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится“. Бегал по комнате. Вдруг заторопился: „Ну, мне пора… Ведь я у вас инкогнито“. Непоседливый, как и без „инкогнито“, – исчез. Да, прежний Керенский и – на какую-то минутку – не прежний, быть может, более уверен в себе и во всем происходящем – неужели нужно? Не знаю. Определить не могу».

Субординация власти – элементарное условие дееспособности армии в любой стране. Как мог Керенский этого не учесть? Объяснение простое – чрезмерное напряжение и упоение победой. «Кто-то один или какая-то группа,

принадлежность которой осталась загадкой, разослала этот приказ, предназначенный только для Петроградского гарнизона, по всем фронтам», – писал в своих мемуарах Керенский, и, хотя эта акция наделала немало бед, отнюдь не она, вопреки утверждениям многочисленных русских и иностранных военных кругов, явилась причиной «развала русской армии». Несправедливо и их заявление о том, что приказ был разработан и опубликован если не самим Временным правительством, то с его молчаливого согласия. Суть даже в том, что приказ был обнародован за два дня до создания Временного правительства. Более того, первым шагом этого правительства было разъяснение солдатам на фронте о том, что приказ относится не к ним, а к Петроградскому гарнизону. Керенский и потом сделал многое для нивелирования этого приказа, но он в сознании русской интеллигенции, особенно эмиграционной, навсегда остался укором ему, и немым, и порой гласным.

Использовав этот приказ, «германские агенты всячески пытались возбудить беспорядки среди матросов и солдат, натравливали их на офицеров, на расправу с ними, – признавался Керенский. – Германскими агентами были большевики, те „случайные люди“, которые проникли в состав первого Совета рабочих депутатов». Александр Федорович не называл их партийную принадлежность, надеясь на будущее и возможное сближение с ними. Он и Чхеидзе в обращении к Петроградскому гарнизону подчеркивали, что враждебные делу революции листовки, выпущенные от имени комитетов социал-демократов и социал-революционеров, есть не что иное, как злонамеренные фальшивки. Вскоре после этого офицеры Петроградского гарнизона торжественно поклялись в своей поддержке революции, и напряженность в войсках, вызванная приказом № 1, значительно спала. И первая речь, которую Керенский произнес в качестве министра юстиции Временного правительства, заканчивалась призывом к соблюдению подчинения офицерам, строжайшей воинской дисциплины. «С самого начала революции, – говорил он, – массы полицейских шпиков, германских агентов и крайне левых стремились вызвать против нас ненависть. В распоряжении тайной полиции – охранки – во всех слоях населения находились несколько тысяч агентов, шпиков, осведомителей и агитаторов, чье воздействие на легковерных людей оказывало впечатление». Слова Керенского о том, что теперь народ может вздохнуть свободно, полной грудью, что со страхом быть арестованным по доносу шпиков и других агентов полиции покончено навсегда, что полиция заменена народной милицией, были встречены бурей аплодисментов.

Авторитет Керенского продолжал расти с небывалой быстротой, и, как стало известно позднее, многие из тех, кому предложили войти в новое правительство, ставили условием вхождения пребывание в нем Александра Федоровича как своего рода козырной карты – представителя от народа.

А сам он находился в состоянии нервного срыва. Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов запретил своим членам участие в правительстве. Чхеидзе уже отказался от вхождения в него и оставил Керенского в тревожной изоляции. «Было странно идти по улицам без привычного сопровождения агентов, мимо горящего здания жандармерии, – вспоминал он, – на мое решение войти в правительство оказали влияние и мысли об арестованных, томившихся в Правительственном павильоне (Щегловитов и др.). И если кому-то из царских министров удалось спастись от ярости толпы и революции, избавиться от очередного кровопролития, то этим спасителем был я». И вдруг необъяснимая сила, как когда-то в университетские годы, овладела им. Он пришел на заседание Совета и заявил, что без его личного участия новое революционное правительство не получит широкой поддержки народа, что он больше не может ждать от Совета одобрения намеченного им шага, что своим участием в работе правительства он повысит престиж Совета, попросил у него вотума доверия, говорил искренне и яростно, зажег его членов своей темпераментной и аргументированной речью. Конец речи вызвал шквал аплодисментов, члены Совета в едином порыве подняли его на плечи и пронесли через всю Думу до дверей комнаты, где Временный комитет определял состав правительства. Керенский восторженно принял это решение Совета, впоследствии прощая ему некоторые нелояльные по отношению к нему действия.

Между Исполнительным комитетом Совета и Временным комитетом наметились точки соприкосновения. Последнему было разрешено на его усмотрение составить правительство и получить власть на следующих условиях:

1) объявление полной амнистии по всем политическим и религиозным делам,

2) свобода слова, союзов, собраний и стачек,

3) отмена всех сословных, национальных и религиозных ограничений,

4) замена полиции милицией,

5) демократические выборы в органы местного управления,

6) отказ правительства от всяких шагов, предрешающих форму правления, до созыва Учредительного собрания,

7) невывод и неразоружение революционных полков,

8) установление гражданских прав для солдат.

Эти условия устроили рассматривавшего их Милюкова, кроме пункта, предрешающего форму правления. После споров была принята компромиссная формулировка: «Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. Милюков внес поправку в пункт о правах солдат, вспоминая конфуз с приказом № 1. Права солдат определялись „в пределах, допускаемых военно-техническими условиями“.

На рассвете 2 марта был объявлен состав правительства. В него вошли: председатель и министр внутренних дел – князь Г. Е. Львов, министр иностранных дел – П. Н. Милюков (кадет), военный и морской – А. И. Гучков (октябрист), путей сообщения – Н. В. Некрасов (кадет), торговли и промышленности А. И. Коновалов (прогрессист), финансов – М. И. Терещенко, просвещения – А. А. Мануйлов (кадет), юстиции – А. Ф. Керенский (трудовик), государственный контролер – И. В. Годнев. Ленин объяснял это так: «Власть досталась в руки капиталистов потому, что этот класс имел в руках силу богатства, организации и знания». Насчет знания, культуры и навыков руководства министров он был прав. Забыл лишь упомянуть, что этих «капиталистов» (Керенский – адвокат, Шингарев – земский врач и т. д.) хорошо знал народ. Шестеро из них входили в список «министерства доверия», которое намечалось еще осенью 1915 года.

А вот мнение рассудительного очевидца Зинаиды Николаевны Гиппиус, знакомой с Керенским и другими политиками. Читаем ее Дневник: «Революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но все же факт: все остальные или октябристы, или кадеты, притом правые. Как личности – все честные люди, но не крупные, решительно.

Милюков умный, но я не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной почве. Да он и не виноват будет, если споткнется. Тут нужен громадный такт; откуда, если он в несвойственной ему среде будет вертеться?

Вот Керенский другое дело. Но он один.

Смутные слухи о трениях в Совете насчет времени Учр. С. Немедля или после войны. Доверие Керенскому, вошедшему в кабинет, положительно спасает дело. Даже Д. В. (Мережковский – *В. С.*), вечный противник Керенского, сегодня признал: «А. Ф. оказался живым воплощением революционного и

государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальна. Напротив, у Милюкова нет интуиции. Его речь – бестактна в той обстановке, в которой он говорил».

Это подлинные слова Д.В.: «это только то сознание, к которому должны, обязаны, хоть теперь, прийти все кадеты и кадетствующие. Я их ненавижу от страха (за Россию) совершенно так же, как их действенных антиподов – крайних левых. В Керенском – потенция моста, соединение тех и других во что-то единое третье, революционно-творческое, единственно нужное сейчас».

Мнение народа, во всем его разнообразии, уловить сложно и вопрос – существует ли такое общенародное суждение о происходящем.

Один человек из народа, мыслящий, рассуждает так: «Дом Романовых достаточно показал себя. Не мужественно Николай себя вел. Ну, мы терпели, как крепостные. Довольно. А только Родзянке народ не доверился. Вот Керенский и Чхеидзе – этим народ поверил, как они ни в чем плохом не замечены. А войну сразу прекратить немыслимо. Вильгельм брат двоюродный, если он власть возьмет – он там опять Романовых посадит, очень просто. И опять на триста лет».

Наблюдения Зинаиды Николаевны весьма интересны и отражают суть событий: «Все похожи в стиле „ангелы поют на небесах и штандарт Временного правительства скачет“. Однако трения не ликвидированы. Меньшинство Совета рабочих депутатов, но самое энергичное, не позволяет рабочим печатать некоторые газеты, и, главное, становиться на работы. А пока заводы не работают, положение не может быть твердым. У просто „улицы“, переходящей в „демократию“, общее настроение: против Романовых».

Безусловно, в этом немалая заслуга Александра Федоровича Керенского, разбудившего самосознание народа своими речами и статьями, своими выступлениями на политических процессах. Но, как справедливо заметила Гиппиус, он «один» истинный революционер. «Был Н. Д. Соколов, этот вечно здоровый, никаких звезд не хватающий твердокаменный попович, присяжный поверенный – председательствующий в Совете рабочих депутатов… Н. Д. Соколов рассказывал мне подробно полусмущаясь, полуизвиняясь, что именно в напряженной атмосфере митинга написал приказ № 1. Приказ будто был необходим, так как из-за интриг Гучкова армия в период междуцарствия могла присягнуть Михаилу…» «Но вы понимаете в такой бурлящей атмосфере, я больше думал о солдатах, а не об

офицерах…». Сей «митинг», сам себя избравший парламент, иногда соглашается с правительством, иногда нет. Со своей точки зрения он прав. Какие же это «революционные» министры, Гучков и Милюков? Но вообще-то тут коренная нелепость, чреватая всякого рода последствиями…Революционность митинга-совета не оформила какую-нибудь твердую, но одну линию; и себя не ограничила… Я не говорю о Соколове, но другие, знают ли они чего хотят и чего не хотят?.. Беда в том, что ничего этого пока не намечается…

Рядом еще чепуха какая-то с Горьким. Окруженный заевшими его большевиками Гиммерами и Тихоновыми, он принялся почему-то за «эстетство», выбрали они «комитет эстетов», для укрощения революции, заседают… Они страстно ждут Ленина: «Вот дотянуть бы до его приезда, а тогда мы свергнем нынешнее правительство…» Исключительная зима. Ни одной оттепели… В Кронштадте и Гельсингфорсе убиты до 200 офицеров. Гучков прямо предписывает это Приказу № 1… Адмирал Непенин телеграфировал: «балтийский флот как боевая единица не существует. Пришлите комиссаров». Приехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел им на встречу – ему всадили в спину нож…

Между «двумя берегами, правительственным и советским», нет координации действий и почти нет контакта… На днях Керенский ездил в Зимний дворец. Взошел на ступени трона (только на ступени!) и объявил всей челяди, что «Дворец отныне национальная собственность», поблагодарил за сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз, но, услыхав, милостивую благодарность – толпой бросились провожать Керенского, преданно кланяясь. Когда он ехал из Дворца в открытом автомобиле, ему кланялись и прохожие… Керенский сейчас единственный ни на одном из «двух берегов», а там, где быть надлежит с русской революцией. Единственный. Один. Он гениальный интуит, однако не «всеобнимающая» личность: одному же вообще сейчас никому быть нельзя. А что на верной точке зрения только один – прямо страшно».

Жаль, что Зинаида Николаевна Гиппиус, дружившая с Керенским, не поделилась с ним своими опасениями. Возможно, для этого не было возможности, из-за чрезмерной занятости министра юстиции.

В первой своей телеграмме министр юстиции Керенский предписывал прокурорам страны освободить всех политических заключенных и передать им поздравление от имени нового правительства. Вторая телеграмма, посланная в Сибирь,

приказывала немедленно освободить из ссылки «бабушку русской революции» Екатерину Брешко-Брешковскую и со всеми почестями отправить ее в Петроград. В аналогичной телеграмме Керенский приказал освободить «пятерку» социал-демократов, членов Думы, которые в 1915 году были приговорены к ссылке.

3 марта было опубликовано первое заявление Временного правительства: «Граждане! Временный комитет членов Государственной Думы, при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время таких успехов над темными силами старого режима, которые позволили ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти. Для этой цели Временный комитет Государственной Думы назначил министрами первого общенационального правительства лиц, которым было обеспечено доверие за их прошлую общественную и политическую деятельность… В своей работе кабинет будет руководствоваться следующими положениями…» В основу их легли условия Совета рабочих и солдатских депутатов для передачи власти правительству, подредактированные Милюковым и министром юстиции.

После их перечисления говорилось, что «Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий». В заявлении правительства отсутствуют громкие, демагогические фразы и обещания. По-деловому, серьезно настроены и министры нового правительства, запечатленные на памятной для них и народа исторической фотографии. Девять из них сидят в первом ряду, а во втором вторым справа стоит скромный человек, лицо его спокойно, как у человека, без суеты и актерства исполняющего свой гражданский долг. Это Александр Федорович Керенский.

Глава девятая
Падение короны… А дальше…

Еще четыре года назад Россия торжественно отмечала 300-летие дома Романовых: колокольный звон, парады, пышные богослужения во славу царя, юбилейные собрания, балы, гулянья, фейерверки, конфетти…

Люди раскупали сувениры, выпущенные к славной дате, в том числе дорогие – фарфоровые и хрустальные вазы с символами царской власти, с изображением императора, с золотой гравировкой: «К 300-летию Дома Романовых»… Люди не жалели денег – не скоро еще состоится подобное торжество. Через четыре года выяснилось, что не состоится никогда. Это понял даже сам царь. Взвесив все шансы, оставшиеся на сохранение короны, он подписал отречение от престола и за себя, и за сына своего в пользу брата Михаила, при этом сославшись на отцовские чувства: «Расстаться с моим сыном я не способен». Цесаревич Алексей был удивительным мальчиком – добрым, вежливым, без тени заносчивости. Страдания от тяжелой болезни наложили отпечаток на его лицо, грустное и задумчивое. Александр Федорович, впервые увидев цесаревича Алексея, поразился его взрослости и серьезности, которые вкупе с нежными чертами лица создавали незабываемый образ. Он на несколько минут задержал на мальчике взгляд, подумав, что будет жаль, если он пойдет по стопам отца, из него мог бы вырасти своеобразный человек, сопереживающий людским бедам.

В Александровском дворце раз в неделю устраивались кинематографические сеансы, о которых цесаревич оповещал императора, великих княжон… Дворцовый флигель-адъютант генерал В. Н. Воейков в своей мемуарной книге «С царем и без царя» записал: «Никогда не забуду последнего сеанса в начале февраля. Это был фильм „Мадам Дюберри“ – со всеми ужасами Французской революции, гильотиной, народным судом, казнями… После этого фильма я почувствовал невероятную тяжесть на душе, а теперь даже не могу вспоминать про него». Генерал Воейков обожествлял царя, все поступки, слова, действия, шаги, вздохи, беспрекословно и мгновенно исполнял его поручения и считал, что этим приносит неоценимую пользу отечеству, хотя скорее он должен войти в историю России в первую очередь как организатор спортивного олимпийского движения. Он сделал многое для развития в воинских частях гимнастики, стрелкового спорта, выездки лошадей… Он готовил

русских спортсменов ко Всемирной Олимпиаде 1912 года в Стокгольме. Вместе с ними выезжал туда. Воейков был свидетелем падения короны, конечно, тенденциозным, но по описанию фактов – точным. 8 марта, перед отъездом из Ставки, Николай II обратился к своим войскам с прощальным словом: «После отречения Моего за Себя и за сына Моего от Престола Российского власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и Вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага… Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник отечества, его предатель. Исполняйте же Ваш долг, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что ослабление порядка службы только на руку врагу. Да благословит Вас Господь Бог и да ведет Вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий».

Получив это послание, генерал-адъютант Алексеев вместо опубликования его в тот же день объявил Николаю II, что он должен считать себя арестованным. «Государь сел в Императорский поезд, – записал Воейков, – к концу которого был прицеплен вагон с четырьмя делегатами Государственной Думы, обязанными доставить Императора в Царское Село…» Воейков негодовал, что при отходе поезда Алексеев отдал царю честь, а делегатам Думы поклонился в пояс, а позже с издевкой отметил, что «появилось новое светило и достигло покоев Императора, где в царской опочивальне А. Ф. Керенский находил отдохновение от своих трудных обязанностей главы вооруженных сил России, усложненных уговариванием на ратные подвиги „товарищей“.

Царь отрекся от престола 2 марта в три часа дня в пользу августейшего брата Михаила и, когда прощался с войсками, уже знал об отказе брата от короны, очень огорчившего его этим. При обсуждении вопроса о передаче власти Михаилу Александровичу в Думе возникли разногласия. Милюков сказал, что царь на Руси необходим и «в тесном сотрудничестве с ним следует утихомирить начавшуюся бурю». Наступила тишина. Родзянко заявил, что вступление на престол великого князя невозможно, – никто из членов Временного комитета ему не возразил. Было отмечено, что Михаил Александрович никогда не проявлял интереса к государственным делам, состоит в морганатическом браке с женщиной, известной своими политическими интригами, что в критический момент истории проявил полное отсутствие воли и самостоятельности, а именно – 27 февраля не решился выполнить просьбу Родзянко, Некрасова и Голицына о том, чтобы возглавить части Петроградского гарнизона и навести порядок. К

тому же стало известно, что Гучков по возвращении из Пскова, где он вместе с Шульгиным принимал отречение царя, выступил с речью на Варшавском вокзале перед тысячью железнодорожников, встретивших его и Шульгина очень приветственно, но, когда речь зашла о передаче власти Михаилу, толпа пришла в дикую ярость, раздались крики: «Долой царя!» – и, чтобы избежать неприятных последствий, обоих делегатов вывели через боковую дверь.

Дума решила связаться с великим князем, который, приехав из Гатчины, остановился у княгини Путятиной в доме № 12 по Миллионной улице. «Было шесть утра, – вспоминал Керенский, – но, учитывая ответственность момента, я позвонил по телефону в дом княгини. Трубку тут же поднял личный друг и секретарь Великого Князя англичанин Джонсон. Я объяснил положение и спросил, не согласится ли Великий Князь принять делегацию Думы сегодня утром, между 11 и 12 часами. Утвердительный ответ последовал через несколько минут… 4 марта в 11 часов утра началась встреча с Михаилом Александровичем. Он сказал, что хотел бы побеседовать с двумя из присутствовавших. Взгляды всех обратились на меня. Я не мог отказать князю в просьбе. Он удалился с Родзянко и князем Львовым в отдельную комнату. Возвратившись, Михаил спокойно подписал акт об отречении и вручил его Родзянко». Затем логично заметил: «Если будет Учредительное собрание, то оно решит форму правления.

Далее обратимся, к мемуарам Воейкова, описывающего продолжение этой церемонии так: «Решение Михаила было встречено молча. Лишь Керенский заявил: „Ваше высочество, ваш поступок оценит история, ибо он дышит благородством. Он высоко патриотичен и обнаруживает великую любовь к родине“.

Александр Федорович говорил искренне. Прими Великий Князь иное решение, могла бы сильно обостриться ситуация. О младшем брате царя в настоящее время вспоминают редко и мимолетно. В отличие от Николая II. На это, безусловно, повлияла горькая судьба царя и его семьи. Они канонизированы православной церковью и в октябре 2008 года реабилитированы Президиумом Верховного суда Росси и как невинно пострадавшие от политической репрессии. А во время отречения царя от власти отношение к нему в антимонархических кругах и большинстве народа было однозначно негативным. Вскоре после ареста царя на театральной сцене Москвы, в Камерном театре, была поставлена и шла с большим успехом пьеса Дон-Аминадо (Аминада Петровича Шполянского) «Весна семнадцатого года». Блестящего сатирического поэта, фельетониста и драматурга. По мнению И. А. Бунина, он был «одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное

наслаждение». В пьесе много иронии, сарказма, но олицетворение прекрасного «гения весны, вечного возрождения» – молодая сильная и стройная девушка, по ремарке автора «врывается на сцену, в ее позе – сознание своей красоты, прав на признание и удивление», отнюдь не сатирический, а позитивный образ.

Я та Весна и та Свобода,
Которой радуется Бог…
Весна семнадцатого года
И весен будущих залог!

Свет красного рефлектора, идущего от камина, вспыхивает с новой силой и от него жмурятся находящиеся на сцене низложенные монархи – Людовик XVI (придерживает голову), султан Абдул-Хамид (комическая фигура восточного деспота), Мануэль (экс-король португальский, светский хлыщ, воплощение пустоты и ничтожества), Магомед-Али (бывший шах персидский). Их первое появление на сцене сопровождалось музыкой со словами «Куда, куда вы удалились» (из оперы «Евгений Онегин»). До прихода прекрасной девушки они, с лицами безнадежной скуки и безделья, играют в преферанс.

Шах. Опять вы, ваше величество, передернули…

Султан. Я? Да что вы! Зачем бы я стал передергивать, когда все пики у меня?

Мануэль. Но… Вы, по обыкновению, слишком надеетесь на свои пики. Был, говорят, случай, когда они вам крепко изменили и повернулись против вас. (*Обращаясь к шаху*.) Точно так же и против вас, ваше величество.

Шах. И совершенно так же, как и против вас…

Султан (*вяло*). Вам сдавать.

Шах. Снимите карту.

Девушка (*продолжает свой монолог*):

И вот сейчас, когда от скуки
Сидите вы за камельком,
Сложивши царственные руки,
Болтая праздным языком,
Сейчас воскреснула природа —
И вслед за ней лечу и я,
Весна семнадцатого года,
Весна и радость бытия!..
(*Решительно, но мягко.*)
Монархи!.. Встать!.. За мною следом!..

По ремарке автора «решительно, но мягко», в то время легко угадывалось поведение и характер Керенского. Ближе к концу пьесы в пансионе низложенных монархов появляется Николай II – в английском в изумрудную клетку пиджачном костюме и в котелке. (Английская одежда царя – намек на намерение Керенского переправить Николая II и его семью в Англию.)

Мануэль. Распаковывайтесь, ваше величество, и будьте как дома. Что это у вас… цветы, ваше величество?

Николай (*смущенно, озираясь*). Да… я так люблю… цветы!

Мануэль. Прекрасно. Изумительный аромат!.. Ваше величество, вероятно, большой эстет?

Николай. Да. Большой.

(«Большим Николаем» называли Великого Князя Николая Николаевича. – *В.С.*)

Мануэль (*развязывая саквояж, вынимая из него пышную горностаевую мантию с горностаевым воротником и шлейфом*). Шикарная вещь!.. И как великолепно сохранилась.

Николай. Да… Двадцать три года…

Мануэль (*тоном непритворного, но отдающего иронией сочувствия*). Какая жалость!.. Каких-нибудь два года до юбилея!..

Николай (*растерянно*). Да…

Мануэль (*вынимает из саквояжа корону*). Шапка Мономаха?

Николай. Да…

Мануэль (*кладет корону на полку рядом с коронами других низложенных монархов*). Ну, не унывайте, ваше величество! Обживетесь, привыкнете… и еще будете благодарить судьбу… (*Указывая в сторону Людовика и делает выразительный жест вокруг собственной шеи.*) Вы сами видите… Бывают случаи…

(Автор пьесы не мог предугадать кончину Николая от рук большевиков. – *В.С.*)

Людовик (*глядя в окно, за которым виден штык часового, глухим и зловещим голосом*). Весна…

Мануэль (*подхватывает*). «Выставляется первая рама!» Кстати, как подробно произносится ваш титул? Что-то очень длинное…

Николай (*глядя в карты для преферанса, с трудом вспоминает*). Божьей милостью мы… Николай второй… император всероссийский… царь польский… великий князь финляндский… и прочая… и прочая… и прочая…

Мануэль (*картавя на французский манер*). C'est epatant!.. и прочая! И прочая! И прочая!

Долг истории, увы, пока еще не полностью очищенной от извращений и инсинуаций большевиков, в том числе современных, заключается в правдивом изложении событий,

связанных с падением самодержавия в России, роли в этом отдельных личностей и, конечно, Великого Князя Михаила. Керенский был уверен, что его «поступок оценит история, ибо он дышит благородством… Обнаруживает великую любовь к родине». Именно поэтому, учитывая важность для России отречения от власти Михаила, сатирик Дон Аминадо описывает его без тени иронии: «Былина, сказ, предание, трехсотлетие Дома Романовых, все кончается, умирает и гаснет, как гаснут огни рампы императорского балета.

В ночь с 3 на 4 марта в квартире князя Путятина на Миллионной улице, все еще не отказываясь от упрямой веры в конституционную, английскую (!) монархию… с несвойственной ему страстностью, почти умоляя, обращался к великому князю Михаилу Александровичу, взволнованный, измученный бессонницей Милюков:

– Если вы откажетесь, ваше высочество, страна погибнет, Россия потеряет свою ось!

Решение великого князя бесповоротно. Руки беспомощно сжаты, ни кровинки в лице, виноватая, печальная, насильственная улыбка.

В гостиную входит высокая, красивая молодая женщина, которой гадалки гадали, да не судила судьба. Дочь присяжного поверенного Шереметьевская, разведенная офицерская жена, а ныне графиня Брасова, морганатическая супруга Михаила Александровича. Что происходит в душе этой женщины? С какими честолюбивыми желаниями и мечтами борются чувства любви и страха за сына Александра Третьего? Жизнь ее была похожа на роман. Безумно влюбленный в нее, припавший к ее мраморным коленям великий Князь. Короткое счастье, озаренное страшным заревом войны. Отречение мужа, после отречения царя. Вдовство и материнство в длительном, многолетнем изгнании, в отраженном блеске, в тускнеющем ореоле. Гибель единственного сына, разбившегося в автомобильной катастрофе. Одиночество, нищета и освободительница-смерть на койке парижского госпиталя».

Ради этой женщины, не принадлежащей к монаршим кругам и по своему статусу не имевшей права стать царицей, Михаил Александрович лишился всех претензий на престол еще задолго до своего официального отречения. Заядлые монархисты не могли простить ему, с их точки зрения, «мягкотелость». Один из них восклицал: «Великий князь теперь гатчинский узник. Эта сволочь из Совета рабочих депутатов контролирует каждый его шаг. А нам, нам он нужен был бы, как знамя. Его можно освободить, похитить, наконец, вместе с ним войти в Петербург и

провозгласить императором! Как он смеет питать отвращение к власти, когда Россия гибнет?! Силой бы заставили идти вместе с нами. Потребовали бы усмирения Петербурга. И усмирили бы железом и кровью!»

Александр Федорович Керенский, стремившийся к бескровному переходу страны от самодержавия к демократии, наверное, как никто другой, оценил отречение от власти великого князя.

«В этот момент монархия и династия стали атрибутом прошлого, – подумал Керенский. – Россия, по сути, стала республикой… Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой истории, так как он получает возможность заглянуть в глубь истории человечества, стать свидетелем и участником того, как разрушается мир старый и возникает мир новый…» Необычное светлое состояние своего величия и ответственности перед будущим почувствовал Александр Федорович, в памяти возникли стихи, знакомые ему прежде, но сейчас обретшие для него новый, более глубокий смысл: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали всеблагие как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был – и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертье пил!»

Падение короны будоражило многие умы. В те дни вот что писал известный русский философ князь Е. Н. Трубецкой: «Февральская революция стала уникальным явлением в истории, поскольку в ней приняли участие все слои общества», а по свидетельству Керенского, «была порождена идеальная Россия, которая заняла место России, оскверненной и загаженной Распутиным и ненавистной народу монархией». Непопулярные чиновничьи лица были буквально сметены со своих постов… Рабочие на заводах, прекратившие работу, принялись устранять неугодных им управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В некоторых районах крестьяне, памятуя 1905–1906 годы, стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя помещиков и захватывая их земли. После трех лет войны уставшие до предела на фронте солдаты «отказывались подчиняться офицерам продолжать войну». Трезво оценивая создавшееся в стране положение, Керенский, конечно, видел лишь предпосылки для создания идеальной России. Он считал, что перед Временным правительством стоят четыре важнейшие задачи:

1) продолжить защиту страны,

2) создать по всей стране действенный административный аппарат,

3) провести необходимые коренные социальные реформы,

4) подготовить путь для преобразования России из крайне централизованного государства в федеральное.

Все это помогло бы ослабить кризис внутреннего и внешнего положения страны.

Арестованный генерал Воейков ехал в одном поезде с министром юстиции Керенским. Генералу было предоставлено отдельное купе, рядом с ним в другом купе находился следивший за ним часовой. Поезд уже около часа ждал отправления, как вдруг на платформе послышался шум приближающейся толпы и в вагон вбежал молодой прапорщик с большим букетом красных тюльпанов, перевязанным муаровой лентой, за ним – бритый штатский… Толпа на платформе не унималась, и прапорщик все убеждал штатского: «Александр Федорович, наденьте пальто, выйдите к людям сказать несколько слов – они хотят проститься с вами, увидеть вас на прощание». Пальто Александр Федорович не надел, а к людям вышел и стал выкрикивать фразы, из которых до Воейкова долетало одно часто повторяющееся слово – «бескровная», говорил до свистка паровоза, прекратившего трогательные овации, устроенные ему Москвой.

Воейков не грешит против правды. Вот какой осталась в памяти ученика Евгения Багратионовича Вахтангова молодого Юрия Завадского свершившаяся революция. Февраль запечатлелся в его памяти опьяняюще радостным, праздничным, окрыляющим. От дома на Спиридоновке, куда переселилась его семья, он ходил в студию сквозь ликующие толпы людей. Над головой ослепительно сияло весеннее солнце. Красные банты в петлицах прохожих. На площадях бесконечные митинги. По булыжным мостовым мчатся грузовики с солдатами. На штыках развеваются синие шинели городовых и околоточных, которых ведут в арестантскую часть. На перекрестках – подпоясанные ремнями, с винтовками в руках, с нарукавными повязками с буквами «ГМ» (городская милиция) студенты, молодые рабочие. У людей появилась уверенность, что наступила новая свободная жизнь. И одного из создателей этого праздника, широко известного в стране защитника угнетенных Александра Федоровича Керенского, Москва встретила нескончаемой овацией, которая началась с первого его шага по земле второй столицы и продолжалась до момента его отъезда.

– …Ваша фамилия? – услышал Воейков обращенный к нему вопрос бритого штатского в дверях его купе.

– Я Воейков. А вы кто такой?

– Я Керенский.

– А, Александр Федорович! Очень рад познакомиться!

– Я хотел побеседовать с вами, – сказал Керенский, – и поэтому попросил вас ехать в одном со мною поезде.

– Не просили, а, вероятно, хотели, – заметил Воейков.

– Будем считать, что так, – не смутившись и не обидевшись, ответил Керенский.

Немного спустя он вернулся в купе к Воейкову, где провел с ним несколько часов в беседе о царской семье и о войне.

С точки зрения генерала, Керенский производил впечатление человека нервно переутомленного, которому вот-вот сделается дурно, человека, не спавшего и проведшего на ногах не одни сутки и при этом много говорившего и делавшего, испытавшего немалые нагрузки. Воейков предложил ему имевшийся у него препарат брома, но Керенский без доктора не стал его принимать. Воейков обратил внимание на штатский костюм Керенского, а тот улыбнулся: «Я приказал Сенату собраться на совещание. Сенаторы, конечно, надели мундиры и ордена, а я приехал вот… как есть, вынул из бокового кармана подписанную Государем бумажку об отречении от престола, попросил ее заслушать, поклонился и уехал… Видимо, сенаторы были поражены этим приемом, а я дал им понять, что время формы миновало и что теперь нужно обращать внимание только на суть дела». Воейков не признается в своей книге, какое впечатление произвел на него рассказ Керенского, который затем говорил, а по мнению генерала, «хвастал своими успехами в течение последних дней на заседании рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, а сегодня – в Москве, и выразил уверенность, что новая Россия под их руководством покажет всему миру чудеса. Говорил, что убежденность в этом дает ему сдержанность, проявляемая Советами, держащими всю власть в своих руках». Сомнительно выглядит последняя фраза Керенского в изложении бывшего дворцового флигель-адъютанта, поскольку Советы передали власть Временному правительству.

В течение пути Александр Федорович посылал к генералу своих прапорщиков, предлагая вплоть до выхода из вагона в Петрограде чаю, закусок и прочего. Внешне (а может, искренне?) держал себя любезно; по его воспоминаниям, он принял решение арестовать Воейкова, чтобы оградить его от народного гнева, его арест – вопрос очень непродолжительного времени, просил относиться к нему с полным доверием, добавив, что он, как министр юстиции, сделает все, чтобы ему помочь.

На Николаевском вокзале Петрограда в ожидании приезда Керенского собралась огромная толпа, заполнившая платформы. Он воспользовался случаем и произнес речь, вернее – не мог не выступить перед людьми, ловившими каждую фразу, вылетавшую

из его уст. Они специально пришли на вокзал, чтобы услышать своего кумира. Воейков запомнил несколько фраз из его речи, касавшихся самого генерала: «Я ездил в Москву, где лично задержал бежавшего от Государя Его Дворцового Коменданта генерала Воейкова, совершившего перед народом столько преступлений, он не избегнет суда… Товарищи, в моем распоряжении находятся бывший председатель Совета министров и министры старого режима… Они ответят, согласно закону, за преступления перед народом… Свободная Россия не будет прибегать к тем позорным средствам борьбы, которыми пользовалась царская власть!.. Без суда никто наказанию подвергнут не будет. Всех будет судить главный народный суд!»

Воейков признаётся, что слова Керенского настолько подействовали на аудиторию, что, когда его выводили из вагона, настроение публики было весьма напряженное. Впрочем, суд над генералом вершился мягкий, временами казалось, даже формальный, и ему в конце концов удалось бежать. Он не мог простить Керенскому строгие тюремные порядки, скудную еду и другие жесткие условия содержания, равные для него и всех других заключенных. Обвиняет его в вывозе из Сибирской ссылки каторжан во главе с цареубийцами Желябовым и Екатериной Брешко-Брешковской. Воейков замечает, что офицеры разделились на две категории: оставшиеся верными присяге и подвергнутые гневу народному – и поддержавшие революцию, являвшиеся с красными бантами и встречаемые овациями народа.

Бывшему царедворцу не нравится приказ Керенского, объявленный населению, частям войск и народной милиции, по которому «немедленному аресту подлежат:

1) пьяные,

2) грабители,

3) оказывающие сопротивление,

4) все чины наружной и тайной полиции и корпуса жандармов,

5) все лица, производящие обыск без права на то».

Заядлый монархист и антисемит, Воейков негодует, что «интеллигенция, одураченная еврейской прессой, проявила невероятную радость по поводу своего освобождения, так что люди при встрече говорили друг другу: „Христос воскресе… Наконец-то мы свободны!“

В судьбе каждого человека есть взлеты и… не обязательно падения, есть просто обыденная жизнь с надеждой на возвращение чудесного чувства взлета – полета души. В жизни Керенского не было падений, что может показаться странным людям, знающим его биографию, тем более по советским

источникам. Он ошибался, в конце жизни признавал: «Мы были наивны», его предавали, обманывали, но он упрямо шел к своей цели и добился ее, пусть ненадолго, и потом, как увидим, остался верен своим идеалам. Падения в полном смысле этого слова, когда он стал безучастным к жизни, – такого с ним не было. До последних дней. Человек может быть немыслимо счастлив даже день, два, неделю, месяц, год… Александр Федорович познал истинное счастье. Он писал: «Воспоминания о первых неделях существования Временного правительства связаны с самым счастливым временем моей карьеры». Возможно, он укорачивает этот период. А победы в труднейших политических процессах? А работа в Совете рабочих и солдатских депутатов? Ведь это он писал первое свое воззвание: «Вчера, 27 февраля, в столице образовался Совет рабочих и солдатских депутатов из выборных представителей заводов и фабрик, восставших воинских частей, а также демократических представительств и групп. Совет, заседающий в Государственной Думе, ставит своей задачей организацию народных сил и борьбы за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России» (приводится в сокращении).

Молодой политик смутился, но в душе был безумно рад, что делегаты просили именно его составить это воззвание: «Александр Федорович, просим! Кто же еще, как не вы!», «Сам Бог велел! Не откажите! Мы вам верим!», «Будьте добры!»

Через несколько дней он вошел в первый состав Временного правительства, сделал шаг вперед, как казалось ему и всем. Он не мог заглянуть в слишком далекое и обманное будущее. Но если бы остался в Совете, как Чхеидзе, то, как человек принципиальный и культурный, по всей вероятности, возглавил бы этот орган, и Ленину потом трудно было бы обвинить его в каких-либо грехах: он отнюдь не меньшевик, человек из народа, любившего его, верившего ему, демократ до мозга костей. Но он вошел в правительство, которое Ленин называл чисто капиталистическим. Возможно, Советы пошли бы за Керенским, а не за Лениным. Но это предположение из области «если бы». Из одиннадцати членов правительства десять принадлежали к либеральным и умеренно консервативным партиям. «Я был единственным социалистом, и вскоре газеты стали практически называть меня „заложником революции“. Это определение нисколько не смущало Александра Федоровича. Большевистская печать считает введение его в правительство уступкой буржуазии народным массам и приводит в качестве подтверждения этого факта фрагмент из воспоминаний В. В. Шульгина о разговоре министра земледелия кадета Шингарева с товарищами по партии,

состоявшемся накануне революции:

«– Если на нас свалится власть, придется искать поддержки, расширяя прогрессивный блок налево…

– Как вы себе это представляете?

– Я позвал бы Керенского.

– Керенского? В качестве кого?

– В качестве министра юстиции, допустим… Надо вырвать у революции ее главарей… Из них Керенский – все же единственный… Гораздо выгоднее его иметь с собой, чем против себя».

Александр Федорович не чувствовал к себе какого-то предвзятого или снисходительного отношения со стороны других министров. Испытывал истинное уважение к председателю правительства князю Львову, ведущему свое происхождение от древнего рода Рюриковичей, семьсот лет правивших Россией. Несмотря на это, он всю жизнь пытался улучшить участь крестьян, боролся за их право участвовать в политической жизни страны, выступал против разлагающейся монархии. Этим он вызвал закономерное озлобление со стороны генерала Воейкова, отражающее отношение к новому режиму. Генерала раздражало то, что радовало Львова: «Мы можем считать себя счастливейшими людьми…», «Поколение наше попало в наисчастливейший период русской истории…» Князь был истинным гражданином своей страны, обладал выдающимся организаторским талантом и пользовался огромным моральным авторитетом. В этом глубоко религиозном человеке было что-то славянофильское и толстовское, замечал Александр Федорович, приказам он предпочитал убеждение и на заседаниях кабинета всегда побуждал всех к согласию. Его часто обвиняли в слабоволии, что было абсолютно безосновательным. Он слепо верил в неизбежность триумфа демократии (впрочем, как и Керенский), в способность русского народа играть созидательную роль в делах государства. И не уставал на людях и в частных разговорах повторять слова: «Не терять присутствие духа, сохраняйте веру в свободу России».

Князь Львов был уникальным человеком из редкой даже тогда породы умнейших и благороднейших людей и не случайно вызывал уважение и даже преклонение Керенского. Именно благодаря Львову с самого первого заседания Временного правительства министры в своих дискуссиях достигали быстрого и полного согласия. «Всех нас объединяло чувство долга, которое мы ставили выше принадлежности к разным партиям. К сожалению, это чувство оказалось недолговечным, и в дальнейшем Временное правительство не отличалось более

единой убежденностью и взаимным доверием. Но тем не менее оно в поразительно короткий срок смогло заложить основы демократического управления, которое гарантировало ведущую роль в делах нации трудящимся массам и впервые ликвидировало все политические, социальные и этнические ограничения», – вспоминал Керенский.

…Спустя много лет в Америке он, уже поседевший, поднимется на шестой этаж Гуверовской башни, где помещался и находится до сих пор русский архив библиотеки Института войны, революции и мира, и в течение двух минут получит несколько ящиков с аккуратно разложенными стенограммами заседаний Временного правительства. Не спеша, но внимательно, с интересом он просмотрит их и подивится огромному объему законодательных актов, принятых им и коллегами по Временному правительству за первые два месяца Февральской революции. Вспомнит те незабываемые дни, горячее время нескончаемых дневных и ночных заседаний кабинета, всевозможных конференций и выступлений на митингах. Во время одной из своих долгих речей на митинге на морозном воздухе он сорвет голос, получит на всю жизнь расстройство связок и станет говорить хрипло и громко; окружающим будет казаться, что он кричит, что и было на самом деле. Бог с ней, с этой напастью, он тогда был молод, безудержно счастлив, что особенно ощущается, как ни странно, в преклонном возрасте. На время, часа на два, он забудет о старческих недомоганиях. Подумает, что совершил карьеру, похожую на восхождение к званию верховного судьи Америки знаменитого Уоррена. Будучи судьей в заштатном американском городке, молодой Уоррен оказался в щекотливом положении. В городе был убит чтимый людьми священник, и правящая партия перед предстоящими выборами требовала от судьи немедленно найти убийцу. Пятерых предполагаемых преступников представила она Уоррену, но он, несмотря на давление и угрозы с ее стороны, оправдал всю группу, не найдя в их действиях никакого отношения к убийству священника.

Оказавшись честным и смелым судьей, он быстро достиг признания. И в жизни молодого адвоката Керенского было немало процессов, во время которых власти и реакционная пресса не ожидали от него столь ярко выраженной гражданской позиции по важным политическим вопросам, травили его и даже приговаривали к тюремному заключению. Вот он и прослыл в народе защитником его интересов. Наверное, не случайно. И в работе Временного правительства он был неудержим в доказательстве своей правоты, ни на йоту не отступая от буквы и сущности закона. Как адвокат и член Думы, он объездил почти

всю страну, вникая в жизнь народа, его беднейших слоев, и понял, что сопереживание их бедам – это одно, а следование букве закона часто бывает совершенно другое, поэтому нельзя идти на поводу у толпы по любому случаю. Здесь его опередит Ленин, обещая людям золотые горы и начисто забывая о том, что, обещая, надо отдавать, а не забирать.

Пусть молодость была в чем-то наивна, но все равно прекрасна. И рядом были неординарные, замечательные люди. Князь Львов глубоко понимал проблемы местного самоуправления, долгие годы находясь на службе в земстве, возглавляя Союз земств. Бывший ректор Московского университета, член редколлегии ведущей либеральной газеты «Русские ведомости» А. А. Мануйлов, привлекательный, солидный мужчина с черной отметиной в седых волосах, с усами и профессорской бородкой, был отличным экспертом в области просвещения. Самый молодой член правительства, М. И. Терещенко, человек с проницательными глазами, высоким лбом и крепким характером, являлся ведущей фигурой в промышленном мире юга России, а во время войны, сотрудничая с будущим министром торговли и промышленности А. И. Коноваловым, тоже бывшим в расцвете сил, набирался опыта, будучи заместителем А. И. Гучкова, возглавлявшего Военно-промышленный комитет. Надо было обладать определенной смелостью, чтобы принимать решения революционного характера, прямо противоположные существующим испокон веков.

Керенский вспомнил, как впервые переборол в себе страх перед посещением великого князя Михаила. Накануне он попросил Керенского предоставить ему поезд для поездки из Гатчины в Петроград, на что Александр Федорович без колебания ответил: «Гражданин Романов может пойти на вокзал, взять билет и ехать в общем поезде». Сказал и вздрогнул от неожиданной для себя смелости, но, поразмыслив, решил, что поступил логично, и постепенно успокоился. Потом где-то прочитал, что смелость – сестра таланта, истинная смелость, часто подменяемая наглостью и нахальством, с которыми ему, увы, пришлось позднее не раз встречаться и перед которыми он часто пасовал, не ожидая их и, если честно признаться, не будучи готовым к подобным пассажам противника. Вспомнил мать, тихую, но мудрую женщину. Отец упорно наставлял его, а мать спокойно советовала: «Сынок, если ты не знаешь, что говорить, то говори правду. Если не знаешь, как действовать, то поступай, как подсказывает сердце». И он следовал ее советам. Кольнуло сердце. Раз, другой. До сильной боли. Он тогда, увлеченный революцией, по горло занятый принятием законов, продолжением войны и бесконечным

улаживанием административных дел, не сумел вырваться к родителям в Ташкент и с горечью вспоминал, что не собирался этого делать. Слишком много было забот и слишком далека была дорога до родных, судьба которых после прихода к власти большевиков сложилась трагически.

Александр Федорович тяжело вздохнул. Он многое бы отдал за то, чтобы вернуть молодые годы и искупить непростительное отношение к семье. Работа, а вернее, его одержимость революцией отняла у него и жену и детей. Даже на нормальную семейную жизнь не хватало времени, сил, и громадная ответственность за судьбу страны, которой он посвятил все свои помыслы, полностью захватила его. Он потерял семью, но жертва его не была напрасной. Несмотря на все трудности, порожденные войной и развалом старой администрации, Временное правительство с одобрения народа провело широкую законодательную программу, заложив прочные основы для преобразования России в развитое государство. 22 (9) марта Временное правительство было признано Северо-Американскими Соединенными Штатами, а 24 (11) марта Францией, Англией и Италией – наиболее цивилизованными и демократическими странами мира. Даже Ленин, готовясь в октябре к захвату власти, не мог не признать проделанную Временным правительством созидательную работу, написав: «Революция (Февральская) сделала то, что в несколько лет Россия по своему политическому строю догнала передовые страны».

По видимости это было своеобразной уловкой. Вроде бы признание некоторой заслуги правительства. Однако какие страны Россия догнала? Капиталистические. Буржуазные. Будучи буржуазной сама. А потом Ленин приписал Временному правительству тысячи смертных грехов. В той же самой статье. Не заметив главного – за короткий промежуток времени после Февральской революции люди получили не только политическую свободу, но и социальную систему, гарантирующую им человеческое достоинство и материальное благосостояние. Была установлена независимость судей и судов (чего не удалось добиться до сих пор). Были ликвидированы «специальные» суды, а все «политические» дела или дела, связанные с государственной безопасностью, отныне стали, как и уголовные, рассматриваться в суде присяжных. Были отменены все религиозные, этнические и сословные ограничения. Восстановлена независимость православной церкви. Всем другим церквам, сектам и религиям была предоставлена полная возможность обращать приверженцев в свою веру. Наконец, женщины были уравнены в политических правах с мужчинами.

Керенский отложил в сторону ворох стенограмм Временного правительства. Прошли десятки лет, но новые поколения России не знают ничего о том, как он и другие министры прокладывали путь к свободе в монархической стране, где еще жили крепостники и крепостные, где дух рабства насаждался веками. Закону о выборах в Учредительное собрание не могли препятствовать даже большевики, включив его в свою программу. А вот опыт составления законов о местных органах самоуправления и профсоюзах им не пригодился, потому что Временное правительство не насаждало его сверху, а привлекло к его созданию широкие массы людей, вызывая у них чувство ответственности за свою страну.

Когда Керенского за самовольное и по тем временам дерзкое выступление в университете отправили в «домашнюю» ссылку в Ташкент, дома его встретили не слишком ласково, особенно отец. Мать молчаливо обняла сына и, оставшись с ним наедине, сказала: «Не печалься, Сашенька, в жизни ничто не бывает вечно: ни хорошее, ни плохое». Сидя в читальном зале, возле документов своей молодости, бурной и удачной, трудной и грустной, он вспомнил эти слова и мысленно обратился к маме: «Ты меня не узнала бы, мама, а если бы узнала, то огорчилась – я седой, лицо мое испещрили морщины, я немного сгорбился, но не опустился и в душе надеюсь, что на родине начнется новая жизнь, уйдет в прошлое тоталитарный режим кремлевских владык, конечно, не сразу – самодержавное сознание осталось в умах некоторых людей и после февраля, но мне все-таки удалось увидеть и вкусить сладкие плоды демократии, выращенные деятельными людьми и твоим сыном тоже. Увы, хорошее длилось недолго. Плохое затянулось на моей родине. Я чувствую, что при жизни не узнаю о хорошем, но надеюсь, что оно когда-нибудь вернется в Россию. Ведь ничто в жизни не вечно. Разве я не прав, мама?»

Глава десятая
Земельные и другие страсти по России

Не слишком много места на планете занимает суша, еще меньше – земля, способная плодоносить, земля-кормилица. И не случайно вокруг нее во многих странах мира велись и продолжают вестись споры между крестьянами и властью. Однако если в большинстве государств отношения землевладельцев и правительств отрегулированы с помощью законов, стимулирующих фермерское землепользование, то в России и в наше время этот вопрос еще далек до окончательного решения.

Временное правительство постановило, что земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает. Для этого через три недели после падения монархии был создан Главный земельный комитет с отделениями по всей стране. 20 мая он опубликовал директиву об основных принципах, которые определяли будущую реформу, «в соответствии с новыми потребностями экономики, с пожеланиями большинства крестьян и программами всех демократических партий». Это вызвало ярость крупных помещиков, стремившихся сорвать реформу, что выразилось в их попытке свергнуть Временное правительство в августе 1917-го. «Большевики, со своей стороны, – писал в мемуарах Керенский, – всеми силами старались помешать мирному ходу реформы… вызвать анархию и замешательство. Действуя по инструкциям Ленина, им удалось летом и осенью 1917 года побудить наиболее отсталые и невежественные элементы в деревне, взять осуществление закона в свои руки, что вылилось в разграбление помещичьих усадеб и разворовывание зерна. Временное правительство старалось положить конец злонамеренному подрыву величайшей в истории Европы земельной реформы, в редких случаях прибегая к применению силы».

А. И. Шингарев, в прошлом земский врач, знакомый с жизнью крестьян, выступавший в Думе по продовольственному вопросу, был назначен министром земледелия. 12 марта по его инициативе, поддержанной Львовым, Милюковым и Керенским, правительство сообщило, что в казну отбираются земли Николая II – кабинетские земли, – а 16 марта это постановление было распространено и на земли всей фамилии Романовых, на так называемые земли удельного ведомства. В декларации, обращенной к крестьянам, говорилось, что «земельная реформа…

несомненно станет на очередь в Учредительном собрании… Насилие и грабежи – самое дурное и опасное средство в области экономических отношений». Аграрную политику Временного правительства безоговорочно поддержали ведущие социал-демократы партии. Меньшевики приняли резолюцию: «Аграрные беспорядки могут быть полезны не крестьянству, а только контрреволюции». На Петроградской областной партии эсеров, к которой примкнул Керенской, утверждалось: «Всякие попытки к немедленному захвату частновладельческих земель могут гибельно отразиться на правильном течении сельскохозяйственной жизни…» Александр Федорович объяснял народу, что «в любом демократическом государстве частная собственность неприкосновенна». 11 апреля правительство приняло закон «Об охране посевов», гарантируя помещикам арендную плату при передаче земли крестьянам, а также компенсацию «произведенных ими – помещиками – затрат на посевы в случае „народных волнений“.

Председателем Главного земельного комитета был назначен профессор политической экономики А. С. Посников, прогрессист, управляющий крестьянскими и дворянскими банками, в которых, как уже отмечалось, помещичьи земли на 60 процентов были заложены и перезаложены, передача их крестьянам привела бы к бесповоротному крушению всей банковской системы страны. Уже на первом заседании Главного комитета он поддержал Керенского: «Необходимо рассеять одно очень распространенное в настоящее время заблуждение, будто бы при предстоящей земельной реформе вся земля будет отнята у землевладельцев безвозмездно. Комитет должен заявить, что этого не будет». Легче, конечно, было бы пойти на поводу у «невежественных» элементов в деревне, воспользоваться моментом для укрепления своего авторитета у толпы, но Временное правительство хоть и называлось «Временным», но думало о налаживании постоянной и стабильной жизни в стране. И пошло ради этого на непопулярный шаг, хотя хлебные очереди не уменьшились от передачи Министерства земледелия из рук царского сановника Риттиха в руки Шингарева.

25 марта Временное правительство было вынуждено утвердить закон о хлебной монополии, по которому излишки помещичьего хлеба переходили в распоряжение государства и распределялись между нуждающимися. Несколько ранее, 11 марта, петроградские фабриканты подписали соглашение с Петроградским Советом о введении восьмичасового рабочего дня. Россия не моментально, но нацелено пошла по пути демократических реформ. Кстати, введение хлебной монополии

вызвало резкий протест I съезда Всероссийского торгово-промышленного комитета. Родзянко в специальном письме доказывал Керенскому необходимость отмены такой «рискованной меры». Александр Федорович отвечал ему, что она вызвана войной и трудностями в заготовке хлеба. Шингарев говорил об этой мере как о «горькой необходимости». Волнения крестьян продолжались.

Для этого времени очень характерна судьба великого русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова.

Сезон 1916/17 года выдался у него напряженным – тридцать пять концертов в Москве и других русских городах. В конце декабря 1916 года ему пришлось прервать турне и на несколько дней уехать в свое имение в Ивановку, где по невыясненным причинам произошел пожар. Вернувшись к концертам, он часть сборов передал в кассу Русского музыкального фонда, созданного А. И. Зилоти для помощи нуждающимся музыкантам и их семьям. Февральскую революцию Сергей Рахманинов сперва встретил сочувственно, а потом и с превеликой радостью. Он полагал, что теперь изменится вся жизнь, увидев, что положено начало осуществлению свободы, справедливости и раскрепощения личности. Об этом свидетельствует его письмо, опубликованное в газете «Русские ведомости» в разделе «Московские вести»: «Свой гонорар от первого выступления в стране, отныне свободной, на нужды армии свободной при сем прилагает свободный художник С. Рахманинов».

25 марта состоялся его концерт в Большом театре. Весь сбор, за вычетом расходов, в сумме 5785 рублей 29 копеек передавался по просьбе Рахманинова Военному министерству на нужды армии. Он пытается поддержать Керенского и Временное правительство в войне с Германией, желая победы родине. В апреле Рахманинов уехал в Ивановку. В деревне было неспокойно. Композитор загрустил, почувствовав к себе враждебное отношение крестьян. У него была мысль отдать им имение и землю. Но от этого пришлось отказаться, так как его долговое обязательство банку не было погашено и ему, даже подарив Ивановку, все равно пришлось бы выплачивать долг, для чего нужно было много концертировать и писать музыку. Рассчитывать же на большой заработок в современных условиях было нереально. Наступление большевиков на свободы испугало его. Единственным выходом для себя он считал концертную поездку за границу, но со времени начала войны оттуда не поступило ни одного приглашения. Прожив в Ивановке три недели, Рахманинов уехал в Москву. Перед отъездом с печалью ходил по лесу, окрестным полям, предчувствуя окончательное

расставание с родным и дорогим сердцу местом. Весть об Октябрьском перевороте застала его во время переработки знаменитого Первого фортепианного концерта в Москве. В стране началась разруха. Была реквизирована его Ивановка, в которую он вкладывал почти все, что зарабатывал концертами. Он никогда никого не эксплуатировал. Действия большевиков были для него непонятными и кощунственными. Он предугадывал наступающую нищету, боялся за судьбу семьи, и более всего – детей. Творческая работа его была заторможена, артистическая деятельность прекратилась. Поэтому, получив приглашение из Швеции на десять концертов, Сергей Васильевич тут же принял его. Жизнь без искусства была для него бесцельной. Обстоятельства вынуждали спешить с отъездом. 23 декабря Рахманиновы выехали из Петрограда в Стокгольм. Никто не провожал их. Только Федор Иванович Шаляпин на прощание передал с посыльным трогательную записку и кое-что из продуктов на дорогу. Поколесив по Европе, 10 ноября 1918 года Сергей Рахманинов прибыл в Нью-Йорк, где через несколько лет встретил Шаляпина. Так становились эмигрантами великие сыны России.

Некоторые влиятельные деятели в России и вне ее обвиняли Александра Федоровича Керенского в медлительности проведения земельной реформы. Он принимал критику, но при этом говорил: «Как можно было провести ее быстрее на огромных просторах России, в разгар войны и в самую горячую пору уборки урожая, от которого зависело будущее продовольственное снабжение всей страны?» Объяснения не последовало.

Но были в России и здравомыслящие люди. Очень любопытен взгляд со стороны приверженца монархии полковника Доманевского. Еще в начале революции он написал в одной из газет: «Среди восставших определились два течения:

1) одни примкнули к думскому выборному Временному правительству, оставаясь верными монархическим принципам, желали лишь несколько реформ, стремились к скорейшей ликвидации беспорядков с тем, чтобы продолжить войну,

2) другие поддерживали Совет рабочих депутатов, искали крайних результатов и конца войны. Власть может перейти к левым крайним. Вооруженная борьба между этими течениями только осложнит, ухудшит положение. Поэтому навести порядок легче соглашением с Временным правительством».

Александр Федорович Керенский не входил ни в ту, ни в другую группировку. Его не устраивали «несколько реформ», «монархические принципы», стремление к окончанию войны. Он избрал свой путь, ведущий к новой, свободной России, к победе над врагом, но понимал, что лишь взаимодействие всех

патриотических сил может привести к установлению демократии в стране, успешному завершению войны, к миру без аннексий и контрибуций.

Александр Федорович ожидал, что к осени земельные комитеты завершат подготовительную работу и весной 1918 года правительство вынесет законопроект на происходящее утверждение Учредительного собрания. Министр юстиции, он добился создания арбитражных судов, а рабочие комитеты и профсоюзы получили полную автономию. Временное правительство покончило с угнетением нерусских национальностей, провозгласило независимость Польши, восстановило независимость Финляндии, а летом предоставило автономию Украине. Уже в марте к участию в работе администрации привлекались представители различных национальностей. Александр Федорович сделал все, чтобы в скором времени крестьяне получили землю законным путем и никогда больше не были бы рабами одного землевладельца – государства. По новому трудовому законодательству рабочие были наделены беспрецедентными доселе правами. Россия переходила от централизованного управления к федерализму. За всем этим стояла гигантская, напряженнейшая работа единомышленников из разных партий, приближая страну к созданию коалиционного правительства, о чем мечтал Александр Федорович, и ему казалось, что никто и никогда не помешает развитию страны – ни в политическом, ни в экономическом отношении.

Но вскоре его постигло разочарование. Временное правительство не смогло обеспечить в стране стабильность и продвижение реформ на местах. Князь Львов, взволнованный, с покрасневшими от бессонницы глазами, держа в руках стопку телеграмм, 4 марта докладывал правительству: «После первого известия о падении монархии местная власть, от полицейского до губернатора, разбежалась, а те чиновники, особенно в полиции, которые не успели убежать, арестованы самозваными революционными властями и общественными комитетами… Без управления Россия погибнет. Администрация ушла, а народ остался. Нам бессмысленно отдавать приказы, если на местах нет людей, способных их выполнять». Он растерянно оглядел присутствовавших и медленно сошел с трибуны. Его сменил Керенский. Он старался держаться уверенно, но голос его дрожал, когда он подтверждал сообщение Львова обескураживающим фактом: «В самые первые дни революции правительство послало меня на военно-морскую базу в Кронштадт. Там разъяренная толпа матросов буквально на клочки разорвала командующего

Кронштадтской крепостью адмирала Кирена, убила нескольких офицеров, а сотни бросила в тюрьму. На главной площади города один из вожаков толпы стал рассказывать о зверствах, которым подвергались матросы от офицеров. Тем не менее при определенной жесткости генерал Кирен никогда не позволял себе жертвовать жизнями матросов. Я сказал об этом собравшимся матросам, что произвело на них определенный эффект. Прибегнув только к силе слова, мне удалось внести успокоение в разъяренную толпу, после чего часть офицеров была отпущена в Петроград».

Князь Львов выбрал из стопки телеграмм о беспорядках самую тревожную и попросил Керенского отправиться в район беспорядков, «чтобы живым словом сбить волну анархических проявлений». Александр Федорович прямо с заседания, лишь забежав домой за необходимыми в дороге вещами, отправился на вокзал.

– Ты куда? Совсем не бываешь дома. Поел бы. На тебе лица нет. Осунулся. Саша, садись за стол, у меня готов обед, – пыталась остановить его Ольга, но тщетно.

– Приеду – поем, – на ходу бросил он ей.

– Когда вернешься? – крикнула она ему вдогонку, но в ответ услышала, как хлопнула входная дверь. Он как-то сказал жене, почему все меньше и меньше времени уделяет семье: «Понимаешь, Ольга, огромные пространства страны попали в руки совершенно неизвестных людей, а я министр юстиции. Кто, кроме меня, разберется с этим? Приходится метаться по стране. Еще слава богу, что большинство населения не подвергнуто влиянию смутьянов и демагогов». Александр Федорович прекрасно знал, кто стоит за ними – большевистские агитаторы, но не арестовывал их, еще надеясь выйти на контакт с большевиками, поскольку они тоже выступали за свержение самодержавия. Он чувствовал их незримое присутствие в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, который вмешивался в дела правительства и мешал его работе.

Большевистская пресса развернула злобную кампанию по дискредитации бывшего царя и его супруги, придумывая совершенно фантастическое и недостойное описание дворцовой жизни. На это первым отреагировал царь. 4 марта Николай II через генерала Алексеева отправил послание князю Львову с просьбой:

1) разрешить ему беспрепятственно проехать в Царское Село для воссоединения с заболевшими корью детьми,

2) гарантировать ему безопасность пребывания там до выздоровления детей,

3) гарантировать переезд в город Романов (Мурманск) для его семьи и свиты (с целью отплытия в Англию),

4) гарантировать возвращение после окончания войны для постоянного проживания в крымской Ливадии.

Последнюю просьбу князь Львов и другие члены правительства восприняли как наивную и невыполнимую. 7 марта на Керенского в Москве обрушился град вопросов от людей, не понимавших, почему царю разрешено свободно разъезжать по стране. Особенно возмущались этим члены Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Они хотели заточить царя в Петропавловскую крепость и затем публично казнить как тирана. Александра Федоровича удивила их нетерпимость. «Романовы – все-таки история России, – объяснил он им, – сейчас царь в моих руках, под надзором Генерального прокурора. И я скажу вам, товарищи, что до сих пор русская революция проводилась с нашей стороны бескровно, и я не хочу, не позволю омрачить ее. Мателем русской революции я никогда не буду. В скором времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и на пароходе отправится в Англию».

6 и 7 марта Милюков встречался по этому вопросу с английским послом Бьюкененом, который 10 марта получил положительный ответ на него, позднее отмененный королевским двором.

События развивались с фантастической быстротой. 9 марта бывший царь, сопровождаемый четырьмя делегатами Думы, прибыл в Царское Село. На перроне Николая II встречали коменданты дворца и города, перевезшие его в Александровский дворец, где находились заболевшие жена и дети. В тот же день вечером в Царское Село явился представитель Исполнительного комитета Совета в сопровождении воинских подразделений, на бронеавтомобилях. Им оказался эсер Масловский, впоследствии ставший советским писателем С. Д. Мстиславским. Авантюра закончилась полным провалом. Расположенные в Царском Селе воинские части во главе с офицерами отказались передать царя Масловскому, пока тот не предъявит ордер за подписью генерала Корнилова, отвечавшего за безопасность царя перед правительством. Пытаясь выкрутиться из неудачного положения, Масловский заявил, что приехал лишь для проверки надежности охраны, однако в отчете Исполнительному комитету Совета записал, что царя «ему не передали».

Открытая попытка Совета противопоставить себя правительству послужила поводом для возникновения легенды о «двоевластии», придуманной большевиками, будто правительство делило власть с Советом. Попытка потерпела фиаско, потому что

не была поддержана народом. Керенский оценил это событие так: «Мы почувствовали, что страна на нашей стороне и мы сможем преодолеть растущие тенденции к распаду дисциплины, к анархии».

До этого, 8 марта, Керенский встретился с одним из наиболее влиятельных членов Исполкома Советов Стекловым (Нахамкесом), ставшим главным редактором «Известий». Александр Федорович вспоминал: «Это был наглый, грубый человек. Он сказал, что Исполком в высшей степени недоволен моим заявлением в Москве о ближайшей отмене смертной казни. И это в то время, когда все образованные русские люди, включая эсеров и меньшевиков, всегда выступали против смертной казни». Керенский не стал вступать в полемику со Стекловым, пообещав доложить его мнение правительству. Декрет об отмене смертной казни был издан, а Совет решил в тот момент не протестовать против него. Наверное, наиболее демократичные члены Совета поддерживали декрет. К тому же они чувствовали безнадежность прямых посягательств на власть «буржуазного правительства». Руководство Совета предложило создать контактную комиссию с целью обмена информацией и установления связей между Советом и правительством. Керенский поддержал этот план, и по его предложению, зафиксированному в стенографическом отчете кабинета от 10 марта, в состав комиссии от правительства вошли: князь Львов, Терещенко (министр финансов) и Некрасов (министр путей сообщения). Совет представляли меньшевики: Чхеидзе, Скобелев, Стеклов и Суханов, эсер Филипповский. Позднее к ним присоединился один из лидеров социал-демократической партии во II Государственной думе, сосланный в 1907 году на каторгу и обретший ореол мученика, – Церетели, «человек одаренный, мужественный, вскоре ставший одним из лидеров „революционной демократии“ и признавший необходимость защищать войну», – характеристика Керенского.

Александр Федорович высоко ценил терпение и выдержку князя Львова на переговорах в контактной комиссии, что позволило избежать многих опасных конфликтов и заставило лидеров Совета лучше воспринимать политику правительства. Тем не менее в стране росла напряженность, которую можно было легко снять, проявив насилие, но правильнее и гуманнее было изменить состав правительства, чтобы он реально отражал расстановку сил в стране. Следовало включить в кабинет представителей социалистических партий, которые постепенно увеличивали свое влияние на массы. Лидеры Совета, всего пять дней назад писавшие приказ № 1, помогли Гучкову отменить его. Генерал Деникин со слов генерала Потапова записал: «Шестого

марта вечером на квартиру Гучкова пришла делегация совдепа в составе Сопелова, Стеклова, Филипповского (лейтенанта), Скобелева, Гвоздева, солдата Падерина и Кудрявцева (инженера). Заседание было очень бурным… и закончилось соглашением, подписанным от совдепа – Скобелевым, от правительства – Гучковым. Соглашение аннулировало приказы № 1 и № 2 (приказ № 2 разъяснял, что приказ № 1 не устанавливал выборность офицеров, лишь разрешал комитетам возражать против назначения начальников)…» Временное правительство удерживало власть в стране и обратилось к народу: «Объединяйтесь все около Временного правительства, веря, что оно положит все силы на вашу защиту. В столице отдельные группы продолжают сеять раздор, связывая решения Временного правительства и препятствуя их проведению в жизнь… Не слушайтесь сеющих рознь. Много немецких шпионов, скрываясь под серой солдатской шинелью, мутят и волнуют вашу среду». Это был осторожный, но достаточно ясный намек на деятельность Совета, который, восприняв «критику», ответил воззванием, в котором подчеркивалось: «Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от всяких реакционных посягательств как внутри, так и извне. Русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силе». Несколько ранее Совет утверждал, что российская демократия будет «противодействовать захватнической политике своих господствующих классов… и призывает народы Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира». Пусть это заявление было расплывчатым и о мире там говорилось в туманном виде, но оно не понравилось ни правительству, ни послам союзных держав – Палеологу и Бьюкенену.

16 марта Милюков, как министр иностранных дел, послал телеграмму русским представителям за границей, в которой указывал, что русская революция имеет своей целью довести войну до окончательной победы. Но вдруг 23 марта в беседе с представителями газет сказал: «Если мы, русские, претендуем на обладание Константинополем и проливами, то этим ничуть не посягаем на национальные права Турции, и никто нам не вправе бросить упрек в захватных тенденциях. Обладание Царьградом всегда считалось исконной национальной задачей России». Это пояснение Милюкова было расценено Советами как «империалистическое» и вызвало возбуждение масс. 24 марта на заседании контактной комиссии была составлена декларация о целях войны: «Предоставляя воле народа в тесном единении с нашими союзниками окончательно решить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием, Временное

правительство считает своим долгом заявить, что цель свободной России – не господство над другими народами, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ… не стремится к порабощению и угнетению кого-либо».

Керенский был расстроен позицией Милюкова, который продолжал нагнетать страсти вокруг целей войны. Взрыв негодования, вызванный его заявлением, подрывал доверие к правительству. Александр Федорович высоко ценил эрудицию и культуру Павла Николаевича, но ясно понимал, что его пребывание на посту министра иностранных дел создавало серьезную угрозу для единства нации. Его поведением тут же воспользовался недавно вернувшийся из Швейцарии Ленин, немедленно пославший своих агитаторов в армейские казармы. 4 апреля солдаты 4-го Финляндского гвардейского полка в полном вооружении направились к Мариинскому полку с красными знаменами и лозунгами, осуждающими, в частности, Милюкова и Гучкова. В те дни считалось, что демонстрация войск произошла спонтанно и если кто несет за все ответственность, то лишь некий фанатический пацифист лейтенант Линде, а Ленин и большевики к этому делу не имеют касательства. Через много лет, уже находясь в Америке, работая в Гуверовском институте с секретными германскими архивами, Керенский нашел документальные свидетельства о том, что демонстрация была спровоцирована Лениным. (Ф. Ф. Линде – ученый, математик, философ. Служил в Финляндском полку рядовым, был избран в Исполнительный комитет Петроградского Совета.)

В день демонстрации на улицы города вышли огромные толпы людей, выступившие в поддержку Временного правительства и заставившие «финляндцев» убраться в казармы. Вслед за этим Исполнительный комитет тут же отмежевался от «антиправительственной» демонстрации войск.

Керенский не сомневался, что народ не допустит насилия над правительством, но для полной стабилизации обстановки посоветовал ввести в него представителей социалистической партии, а Милюкову предложить пост министра просвещения. Милюков ушел в отставку. Неожиданно объявил о своей отставке Гучков, и после этого перестал существовать первый кабинет Временного правительства. Александр Федорович констатировал это с болью в сердце. Уходили люди, с которыми он провел лучшие дни своей жизни. Они впервые пошли по неизведанному, тернистому пути демократии в России – и сделали немало полезного для нее. И вот обстоятельства вынуждают их расстаться. Они еще соберутся вместе, перед роспуском

правительства, чтобы составить политическое завещание, которое окажется пророческим: «Стихийное стремление осуществлять желания и домогательства отдельных групп и слоев, по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения, грозит разрушить внутреннюю гражданскую спайку и дисциплину и создать благоприятную почву, с одной стороны, для насильственных актов, сеющих среди пострадавших озлобление и вражду к новому строю, а с другой стороны – для развития частных стремлений и интересов в ущерб общим и к уклонению от гражданского долга. Временное правительство считает необходимым прямо и открыто заявить, что такое положение вещей делает управление государством крайне затруднительным и в своем последнем развитии угрожает привести страну к внутреннему распаду и к поражению на фронте. Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, ведущий к гибели свободы. Губит и скорбный путь народов, хорошо известный исторический путь, ведущий от свободы через междоусобицы и анархию к анархии и возврату деспотизма. Этот путь не должен быть путем русского народ».

Александр Федорович интуитивно ощущал, что с уходом первопроходцев что-то очень важное опустошает его душу, ослабляет страну. Первые недели все работали на одном дыхании, были настроены на одну политическую и нравственную волну, всех заботило будущее родины. Затем кое в ком взыграла принадлежность к своей партии, возникли разногласия, сперва едва заметные, потом значительные, кое у кого, а может и у всех, не хватило воли и сил продержаться вместе до того времени, когда поворот страны к прошлому в виде монархии или деспотизма одного класса, одной партии станет невозможен. Александр Федорович потом не раз перечитывал политическое завещание первого состава правительства, с годами удивлялся точности его предсказаний и каждый раз грустил, и было о чем. Текст завещания был опубликован в газетах 26 апреля 1917 года и более никогда не печатался…Шли годы, уходили из жизни люди, составлявшие этот уникальный исторический документ. Александр Федорович сохранил его и вернулся к нему в то время, когда уже можно было как следует осознать и проанализировать это поразительное провидчество.

Тогда, в 1917-м, Александр Федорович поделился своими раздумьями с Василием Максаковым, адвокатом, защищавшим Бейлиса, своим другом, не бросившим его до конца жизни. Василий понимал его всегда. Умный, честнейший и проницательный человек. Ольга… Он жалел ее, еще молодую, молящую Бога о том, чтобы их союз вернулся к былому, полному

внимания друг к другу и любви. А он – ее супруг, занятый по горло проблемами революции, – удалялся от нее безвозвратно. Она считала, что его отнимает у семьи политика, в которую он ушел с головой и, как шутил Маклаков, «окунулся весь, от затылка до пяток». Пожалуй, Ольга была права… И Маклаков тоже… От него Александр Федорович узнал о приезде Ленина в Петроград.

– Мой земляк, – тяжело вздохнул он. Керенского уже давно мучило кризисное положение на фронте, в армии, разложение которой принимало все более опасный характер. Непререкаемый авторитет Думы стал уменьшаться вследствие ее отказа с первых дней революции от руководящей роли в этом общенациональном движении, и, как считал Керенский, большевики воспользовались ситуацией. Под личиной делегатов их агенты внедрялись в армию и флот. «Комиссарские мандаты» выдавались всем без исключения без какой-либо проверки. Немецкое правительство мечтало о разрыве стального кольца, которым Антанта окружила Германию. Расположение русских войск забрасывалось листовками с призывом к солдатам замириться с германскими братьями, с обещаниями прекратить боевые действия. В листовках сеялось недоверие к русским офицерам, а члены Временного правительства назывались не иначе как франко-английскими «наймитами», уставшие от войны солдаты, в основном из крестьянской молодежи, наспех обученные, политически незрелые, становились легкой добычей этой пропаганды. Немецкие солдаты стали выбираться из окопов, переползать к русским «товарищам» и брататься с ними. Позднее, в тридцатые годы, немецкий офицер Волленберг, бывший участником этих спектаклей, подробно рассказывал в Париже Керенскому о том, как воплощались в жизнь германские замыслы развала русского фронта. Именно в это время, 3 апреля, в Петроград прибыл Ленин, приезду которого Александр Федорович не придал особого значения, но вскоре понял, что цели его и германского руководства были едины – разрушение боевого духа России.

«Большевистская зараза быстро распространялась по фронту», – сокрушался Александр Федорович. Были роты, полки и целые дивизии, где в комитетах доминировали большевистские «пораженцы». Но полностью парализовать военные усилия России им не удалось. На I съезде солдат-фронтовиков, открывшемся 21 апреля, с аргументированными речами выступили обстоятельный Гучков и темпераментный, не менее точный в своих характеристиках происходящего Керенский. Практически никто из участников съезда не поддержал пораженческие взгляды

Ленина. Видимо, это успокоило Гучкова и его подчиненных, они не приняли решительных мер для укрепления дисциплины в армии, отделываясь увещеваниями. Комитеты начали вмешиваться в вопросы назначения и смещения офицерского состава, что противоречило требованиям Временного правительства. И тут Гучков подал в отставку, объяснив ее в письме князю Львову «невозможностью работать в тех условиях, в которые поставлена власть в стране, в частности его, как руководителя армии и флота».

Князь Львов немедленно созвал заседание правительства. Положение стало критическим. Генерал Алексеев, посоветовавшись с командующими всеми фронтами, предложил на место Гучкова две кандидатуры: Керенского и Пальчинского. После их обсуждения, довольно краткого и почти единодушного, князь Львов вызвал в свой кабинет Керенского.

«Дорогой Александр Федорович, – доверительно начал он и неожиданно перешел на официальный тон разговора, наверное исходя из серьезности вопроса. – С точки зрения всех командующих фронтами, только вы, Александр Федорович, являетесь подходящим кандидатом. Пальчинский, обладая прекрасными организаторскими способностями, недостаточно известен в общественных кругах и совсем неизвестен на фронте. Нам нужен человек с вашим положением, которому доверяет страна и армия. Ваш долг – согласиться занять этот пост, и вы не вправе отказаться».

Керенский вышел из кабинета Львова взволнованным и обескураженным этим предложением ему, человеку абсолютно штатскому. Он вспоминал: «Сама мысль возложить на свои плечи такую ответственность повергла меня в ужас. Я был просто не в состоянии дать немедленный ответ. Предавшись размышлениям, я учел, что политическая ситуация внутри правительственной коалиции была нестабильна и пустить дела на самотек нельзя. Я было потянулся к телефону, намереваясь сообщить о своем отказе, но эта мысль и другая, более тревожная, о том, что ждет мою работу, правительство, страну, если нам будет навязано перемирие, остановила меня. Через два-три месяца развалится русский фронт, завершится успехом план Гинденбурга – Людендорфа, а Россия окажется во власти германских претендентов на мировое господство. Этому надо противостоять любой ценой… Необходимо возобновить военные операции на русском фронте. После нескольких часов тяжелейших и сложных раздумий и внутренней борьбы я пришел к выводу, что у правительства, Верховного командования и у меня самого нет альтернативы. Я позвонил Львову и согласился принять

предложенный пост».

Коалиционное правительство создавалось медленно и с трудом. Милюков так оценивал коалицию: «Оно во всяком случае дает возможность надеяться на достижение двух главнейших целей, а именно: усиления власти и перелома настроения в армии». 6 мая был опубликован список коалиционного правительства: председатель и министр внутренних дел – князь Г. Е. Львов, военный и морской – А. Ф. Керенский (эсер), министр юстиции П. Н. Переверзев (близкий к эсерам), иностранных дел – М. И. Терещенко, путей сообщения – Н. В. Некрасов (кадет), торговли и промышленности – А. И. Коновалов (прогрессист), народного просвещения – А. А. Мануйлов (кадет), финансов – А. И. Шингарев (кадет), земледелия – В. Н. Чернов (эсер), почт и телеграфов – И. Г. Церетели (меньшевик), труда – М. И. Скобелев (меньшевик), продовольствия – А. В. Пошехонов (народный социалист), государственного призрения – князь В. Н. Шаховской (кадет), обер-прокурор – В. Н. Львов (центр), государственный контролер – И. В. Годнев (октябрист).

Накануне вечером, 5 мая, представитель 11-й армии на заседании совета подчеркнул крайнюю важность назначения Керенского: «К нему питают доверие не только солдаты, но и многие офицеры».

Новое правительство опубликовало декларацию: «Мы твердо верим, что революционная армия России не допустит, чтобы германские войска разгромили наших союзников на Западе и потом обрушились всей силой оружия на нас». По настоянию Керенского все ключевые должности в военном министерстве заняли молодые, энергичные люди, хорошо разбиравшиеся в порученных им делах. В день объявления состава коалиционного правительства Керенский издал свой первый приказ: «Взяв на себя военную власть государства, объявляю:

1) Отечество в опасности, и каждый должен отвратить ее по крайнему разумению и силе, невзирая на тяготы.

2) Никаких просьб об отставке лиц высшего командного состава, возбужденных из желания уклониться от ответственности в эту минуту, я не подпишу.

3) Самовольно покинувшие ряды армии и флотских команд (дезертиры) должны вернуться в свои части к указанному сроку (15 марта).

4) Нарушившие этот приказ будут подвергаться наказанию по всей строгости закона. Ни в коей мере не посягая на личные и политические права солдат, провозглашенные Временным правительством, мы восстанавливаем полномочия командного офицерского состава, без которых армия не может

функционировать… Следует прибегать к дисциплинарным мерам, включая применение силы, в случаях нарушения субординации во время боевых действий на фронте».

Приказ был своевременен и точен, так как пышным цветом расцвели пораженческие настроения в тех частях, солдаты которых попали под влияние офицеров-ленинцев, таких, как Крыленко, Семашко, Дзевалтовский и доктор Склянский. Средствами убеждения ничего добиться не удалось, и тогда эти части были расформированы. «Без кровопролития», – с удовольствием заметил про себя Керенский, как адвокат и гуманный человек, понимавший ценность каждой человеческой жизни. Приказ вызвал раздражение Ленина, обрушившегося на него с яростными нападками на страницах «Правды» в статье «Декларация и бесправие солдат». Александр Федорович прочитал ее и иронически улыбнулся: «Значит, попал в точку». Приказ действительно имел большую силу. В большинстве военных частей прекратились бесконечные политические митинги, братание с немцами. Солдаты вспомнили о воинских обязанностях. Князь Львов даже не предполагал, что штатский человек, министр юстиции, сможет столь вдумчиво и профессионально проявить себя на военном поприще с первых же своих шагов.

В настоящее время мировой прессой отмечается каждый случай, когда военным министром в какой-либо стране становится невоенный человек. В России на эту роль предполагалась Галина Старовойтова… Слишком умна и справедлива была она в своих высказываниях, слишком смела, чтобы устроить рутинных генералов. Пожалуй, назначение юриста и вообще штатского человека Александра Федоровича Керенского на высшую военную должность было первым в России, если не во всем мире, к тому же оправданным и удачным. Александр Федорович не вытребовал себе никакого чина, не думал он и ни об орденах и генеральских привилегиях. Он хотел помочь стране, спасти ее от поражения в самое трудное для нее время.

При инспекции одной из воинских частей, большевистски настроенный командир части не без издевки, вызывающе предложил ему:

– Пальните, Александр Федорович! Пальните из пушки!

– Зачем? – искренне удивился Керенский.

– Разве вам не интересно? Самому? Пальнуть! – продолжал игру командир!

– У вас есть лишние снаряды? – поинтересовался Керенский. – Где склад боеприпасов? Отведите меня туда!

– Зачем? – в свою очередь удивился командир. Они пошли на склад и Керенский обнаружил там всего лишь три снаряда, с укоризной посмотрел на командира, тот побледнел, стал неуклюже оправдываться:

– Я думал, что вы хотите, думал доставить вам удовольствие. Я бы на вашем месте…

– Пусть каждый будет на своем месте, – примирительно заметил Керенский, – позаботьтесь о пополнении боекомплекта. Договорились?

– Есть! Слушаюсь! – отдал Керенскому честь командир, обрадованный тем, что главнокомандующий не наказал его.

Александр Федорович, чувствовал в этом человеке лживость, пренебрежительное отношении его к нему, но снимать его с должности не решился, поскольку не было явных причин для этого. К тому же отвлекся бы от важных дел инспекции. С досадой подумал, что есть немало более враждебных к нему людей, считал, что необходимо находить с ними точки соприкосновения и проявлять терпение и терпимость. Он знал и других людей, внимавших каждому слову его речей, видел их лица, воодушевленные его призывами к свободе, он искал их, готовых строить новую демократическую страну, не жалея сил и даже жизней, и находил в залах, где выступал, но, к сожалению, они редко встречались среди его ближайшего окружения. Иногда ему казалось, что он один сражается со скопищем озверевших врагов. В такие минуты он читал письма лично ему неведомых соратников, умных и смелых, на помощь которых он рассчитывал в своей бурной и нелегкой деятельности. Любил читать письмо, написанное аккуратным женским почерком: «Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать – все равно: этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции, у нас уже никто не отнимет! Радость! Радость и надежду на свободную жизнь! Радость от того, что можно чувствовать себя со всеми! Радость огненную, красную, в веках незабвенную!»

Александр Федорович представлял себе эту женщину – с благородными чертами лица, с большими красивыми глазами, излучавшими добрый свет. Возможно, это была одна из тех, кто для защиты революции вступил в женский батальон смерти.

Другое письмо насторожило Александра Федоровича: «Россия освобождена, но не очищена. Она уже не в муках родов – но она еще очень, очень больна. Не будем обманываться – опасно больна. Но первый крик младенца всегда радость, хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать и дитя». По характеру, про слогу, по откровенности и истинной любви к родине Александр Федорович

угадывал в авторе письма своего друга – Зинаиду Николаеву Гиппиус, сожалел, что давно не виделся с нею, не смог выбрать время для встречи. Он знал, что поэтесса, как и он, стоит за непреклонное продолжение войны. «Война должна изменить свой лик, должна стать войной за свободу. Мы будем защищать нашу Россию от Вильгельма, пока он идет на нее, как бы защищали от Романова, если бы шел он». Все надежды в твердой линии на победу в войне она связывала с Керенским: «Долг Керенского – пытаться осуществить эту линию. Но он один. Какое несчастие!»

Он иногда ощущал свое одиночество, но не считал себя несчастным, верил в силу своего слова, в поддержку друзей, таких, как Екатерина Брешко-Брешковская, один из организаторов партии эсеров. Он встретил ее на вокзале, по его распоряжению освобожденную из ссылки, ее, «бабушку русской революции», названную им бабушкой, но выглядевшую еще достаточно крепко. Она говорила, что ссылка закалила ее. И действительно, ей нельзя было дать старческих лет, угловатое лицо не было дряхлым, а глаза сверкали по-юношески задорно. При встрече они радостно расцеловались. Несколько иначе увидел эту встречу писатель Дон Аминадо: «Когда старая, убеленная сединами, возвратившаяся из сибирской каторги Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская взяла за руку и возвела на трибуну, и материнski облобызала, и на подвиг благословила молодого и напружиненного Александра Федоровича Керенского, – умилению, восторгу и энтузиазму не было границ.

– При мне крови не будет! – нервно и страстно выкрикнул Александр Федорович».

Надо отдать ему должное. Он всячески старался не допустить кровопролития на родине. Вступал в споры солдатами, угрожающими жизни офицеров. Прямо глядя в глаза озверевшим людям и не надеясь, что в случае неразрешенного конфликта, кто-нибудь защитит его. У него не было охранников, профессиональных телохранителей, никаких. Его иногда сопровождали два ординарца, но в их функции не входила защита жизни военного министра. Он вел себя свободно, открыто и уверенно, как бы говоря людям: «Мы можем о чем-то спорить, отстаивать свою точку зрения, но не убивать друг друга. Не забывайте, что мы – люди!»

Глава одиннадцатая «Немецкий десант». Переход в наступление

Февральская революция застала Ленина в Швейцарии, где, как утверждают советские историки, он «томился», наверное, в ожидании свержения самодержавия. Его партия находилась в подполье, и только после амнистии всех без исключения политических заключенных, объявленной Временным правительством, большевики потянулись из ссылок и заграницы в наиболее жаркие точки революции – Петроград, Москву и другие крупные города. В самом начале революции манифест большевиков призвал к поддержке Временного правительства, хотя Ленин буквально через несколько дней после революции писал из Швейцарии своим соратникам: «Ни тени доверия и поддержки новому правительству (ни тени доверия Керенскому, Гвоздеву, Чхеидзе и К°) и вооруженное выжидание, вооруженная подготовка более широкой базы для более высокого этапа».

Вероятно, ситуация вынудила российских большевиков издать манифест, частично нарушавший ленинские указания, их проникновение в Советы шло со скрипом, там значительное большинство заполучили эсеры и меньшевики, поддерживаемые народом. Ленин решает, что необходимо его непосредственное участие в российских событиях. Большевики амнистированы. Даже явных «пораженцев» не арестовывают. Он ищет возможность вернуться на родину. Но сделать это не так просто. Англия и Франция, в руках которых находились все пути сообщения, не пропускали в Петроград большевиков. Обращение к Временному правительству с просьбой обменять его, Ленина, и ряд других эмигрантов на немецких военнопленных осталось без ответа. И вот тогда он и германские власти начинают разыгрывать небывалую по хитрости политическую авантюру, похожую на трагикомедию с далеко рассчитанным планом расшатывания России.

В самом начале этого спектакля более прозорливым, чем Керенский, оказался министр иностранных дел Милюков. Он разослал на имя всех русских посольств и миссий циркулярную телеграмму: «На случай возникновения каких-либо сомнений о личности политических эмигрантов, желающих возвратиться в Россию в силу акта амнистии, благоволите образовать при вверенном вам заграничном учреждении Министерства комитет

из представителей политических эмигрантов для разъяснения всех могущих возникнуть сомнений по этому поводу… При выдаче паспортов эмигрантам можете руководствоваться засвидетельствованием их военной благонадежности другими достойными эмигрантами или комитетами…»

Ленин засуетился, задумались его германские покровители, их не устраивало раскрытие истинной причины переезда Ленина по Швейцарии в Россию, они боялись его немедленного ареста там. А терять столь умелого и смекалистого агента им не хотелось. Н. К. Крупская так рассказывала о планах мужа: «Ильич метался. Он попросил Вронского разузнать, нельзя ли как-нибудь через контрабандиста пробраться через Германию в Россию. Скоро выяснилось, что контрабандист может довести только до Берлина. Кроме того, контрабандист был как-то связан с Парвусом, а с Парвусом, нажившимся на войне и превратившимся в социал-шовиниста, Владимир Ильич никакого дела иметь не хотел (легального дела, могущего раскрыть их близкие отношения и цели. – *В. С.*). Надо искать другого пути. Ильич не спал ночи напролет. Раз ночью говорит: «Знаешь, я могу поехать с паспортом немого шведа». Я посмеялась: «Не выйдет, можно во сне проговориться. Приснятся ночью кадеты, будешь сквозь сон говорить: сволочь, сволочь. Вот и узнают, что не швед». Довольно любопытная характеристика, данная Ленину супругой. С Парвусом засветиться не решается, а с контрабандистом – пожалуйста. Прикинуться кем угодно тоже можно. И поражает дикая злоба по отношению к кадетам, имеющим большинство во Временном правительстве, людям достойным, уважаемым в народе, сделавшим немало для свержения самодержавия. Сами большевики в то время на подобное были не способны из-за своей малочисленности и слабого влияния на народ.

Большевистские историки утверждают, что план проезда Ленина через Германию придумал известный меньшевик Мартов. Не исключено, что так и было. Ленин называл Мартова «умницей» и позднее своеобразно отблагодарил его, принеся ему домой два билета в Швейцарию, для него и жены, и от души посоветовав быстрее покинуть Россию. А тогда он воспользовался его планом, принятым на совещании эмигрантских представителей партий эсеров, бундовцев и меньшевиков. Тогда Ленин не чурался взаимодействия с ними. Он всегда объяснял свои действия условиями политического момента.

Интересно, что в 1924 году, узнав о его смерти, меньшевики, посаженные им в Бутырскую тюрьму, собрали деньги ему на венок с трогательной надписью на траурной ленте, искренне считая, что их арест дело временное и вскоре они выйдут на

свободу, поскольку нельзя не учесть их большую роль в революции. Предвидя опасность в России от оборонцев – сторонников войны до победного конца, патриотов родины, представлявших тогда большую силу, – Ленин всячески старался оправдать свой проезд через Германию. Он согласовал свой отъезд с рядом социалистов, вынесших следующее решение: «Нижеподписавшиеся осведомлены о затруднениях, чинимых представительствами Антанты к отъезду русских интернационалистов, и о тех условиях, какие приняты германским правительством для проезда их через Германию. Они отдают себе полный отчет о том, что германское правительство разрешает проезд русских интернационалистов только для того, чтобы тем самым усилить в России движение против войны (!)… Этим своим действием они помогут пролетариату всех стран… начать борьбу против своих правительств» (!).

Жаль, что на это решение не обратил внимания Александр Федорович, занятый восстановлением боевого духа русской армии, может, оно просто не попало в поле его зрения. В армии он боролся против пораженческого влияния большевиков, а их происки в тылу, вероятно, посчитал безуспешными, не предугадывая возможного их роста, благодатной почвы для веры в разного рода несусветные обещания измученного войной и разрухой народа, и в первую очередь «невежественных элементов». «Обещая, надо отдавать», – было формулой его мировоззрения, делом трудным и ответственным. Кредо Ленина было безответственным: «Обещая, обещать еще больше – землю, мир, что угодно, включая победу всемирной пролетарской революции и непременное светлое будущее».

По предложению Ленина секретарь швейцарской социалистической партии Фриц Платтен заключил с германскими представительствами соглашение, по которому:

1) пропуск давался всем эмигрантам независимо от их отношения к войне;

2) вагон эмигрантов не подвергался обыску, контролю или проверке;

3) эмигранты по прибытии в Россию обязаны потребовать обмена пропущенных эмигрантов (то есть самих себя) на австро-германских военнопленных.

Последнее условие было нелепейшим, наивным, и прибывшие в Россию эмигранты тут же о нем забыли. Был ли немецким агентом Фриц Платтен или не был – не играло особой роли. Он организовал проезд Ленина с явной целью развития в России антивоенных выступлений. 26 марта Ленин выехал из Швейцарии через Германию в Стокгольм, а оттуда через

Финляндию в Петроград. С ним отправились в путь 19 большевиков, 6 бундовцев и 7 членов разных партий и групп, в том числе кадетов, эсеров и меньшевиков. С точки зрения Ленина, это не противоречило «политике текущего момента». Ехали в особом вагоне, не в полном смысле слова «пломбированном». Сношения германских властей с проезжавшими разрешались только через их сопроводителя – Платтена, а оно было, и результаты его вскоре проявились в России.

3 апреля, когда Ленин прибыл в Петроград, английское посольство передало в Министерство иностранных дел записку с характеристикой Ленина: «Ленин – хороший организатор и крайне опасный человек, и, вероятно, он будет иметь многочисленных последователей в Петрограде». Товарищ министра иностранных дел (его заместитель) А. Нератов поставил на этом документе резолюцию: «Все сведения из третьих источников нужно поместить в газетах завтра же… и подчеркнуть благожелательность германского правительства к Ленину…»

Первой откликнулась кадетская газета «Речь» (5 апреля 1917 года): «Гражданин Ленин и товарищи, торопившиеся в Россию, должны были, раньше чем выбрать путь через Германию, спросить себя, почему германское правительство с такой готовностью спешит оказать им эту беспримерную услугу, почему оно сочло возможным провезти по своим территориям граждан вражеской страны, направляющихся в эту страну? Ответ, кажется, был ясен. Германское правительство верит… в германофильство вождя большевиков».

Кадетской печати вторили эсеровские и меньшевистская газеты. На встречу с Лениным на площади у Финляндского вокзала пришла колонна рабочих со знаменем «Привет Ленину», люди пришли с желанием посмотреть на новоявленного защитника их интересов, за которого он себя выдавал. Среди них были бывшие агенты царской охранки, хорошо знавшие суть этого большевика. Они злорадно посмеивались, понимая, чем грозит его приезд Временному правительству, разогнавшему и охранку и жандармерию. Пришли и меньшевики во главе с Чхеидзе, наивно надеявшиеся, что их минимальные расхождения с большевиками могут быть устранены их вождем, что для этого ему достаточно будет объяснить создавшуюся ситуацию. Меньшевик Суханов был свидетелем этой встречи: «Вслед за небольшой кучкой людей в „царскую“ комнату (была такая на крупных вокзалах и предназначалась для встречи царя. – *В. С.*) вошел или, пожалуй, вбежал Ленин, в круглой шляпе, с иззябшим лицом, с роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился

перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно невидимое препятствие. Чхеидзе обратился к нему: «Товарищ Ленин, от имени Петербургского Совета рабочих и крестьянских депутатов и всей революции мы приветствуем вас в России… Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели…»

Жаль, что на этой встрече не присутствовал Александр Федорович или даже не получил о ней исчерпывающую информацию. А то он увидел бы или узнал, что во время речи Чхеидзе «Ленин стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось, – осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок „царской“ комнаты… А потом, уже совершенно отвернувшись от делегации Исполнительного комитета, „ответил“ так: „Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию… передовой отряд всемирной пролетарской армии… Грабительская империалистическая война есть начало войны Гражданской по всей Европе… Да здравствует всемирная социалистическая революция!“

Выйдя из комнаты, Ленин появился на ступенях вокзала. Площадь ожила, зашумела. Ленину помогли взобраться на бронемашину. Устремленные на него, полные внимания и надежды взгляды людей на минуту смутили его, но затем он преодолел робость, сверкнул глазами и, выбросив руку, бросил в затихшую толпу свой клич о мировой революции. Утром 4 апреля он выступил на совещании работников большевистской партии, а вечером прочитал свои «апрельские тезисы» на собрании делегатов-большевиков и в основном меньшевиков, приехавших на Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. Первый же тезис был своего рода отработкой задач, поставленных перед ним военным руководством Германии: «В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом правительстве Львова и К° безусловно остается грабительской империалистической войной в силу капиталистического характера этого правительства, недопустимы ни малейшие уступки „революционному оборончеству“.

Неравнодушный свидетель той эпохи, уже упоминавшаяся Нина Берберова, дружившая с Александром Федоровичем, но довольно субъективная в отношении его деятельности («…все

было в ту весну и в то лето, кроме быстрых, верных и необходимых мер»), писала в книге «Курсив мой», что «когда пришел октябрь, то мы все (имеются в виду интеллигенты, здравомыслящие рабочие и крестьяне. – *В. С.*) оказались не с ним, Лениным (даже Горький в своих «Несвоевременных мыслях»), потому что мы не могли принять ни «немецких денег», ни постепенного уничтожения целых классов населения, ни грозящей гибели двух поколений интеллигенции, ни «все позволено» ленинской идеологии, ни снижения культуры, ни ставки на мировую революцию. Кстати о немецких деньгах. Теперь, когда факты о них раскрыты и берлинские архивы времен Кайзера стали известны, непонятно, почему эти факты вот уже скоро пятьдесят лет скрываются в Советском Союзе… И почему, воспользовавшись ими (деньгами), что было вполне логично, он (Ленин) потом отрицал это, как и его окружение? Керенский в 1959 году говорил мне, что он достоверно знал весной 1917 года об этом факте (получение сумм от Кюльманна – Людендорфа), но не мог раскрыть эту тайну, неопровержимо доказать этот факт, так как был связан клятвой. Какой? С кем связан? С Палеологом и Бьюкененом (послами Франции и Англии)? Или с Альбером Тома? (французский министр, в июле 1917 года приезжавший в Петербург и пытавшийся, выехав на фронт, поднять боевой дух русской армии. – *В. С.*). Но какая клятва была для Керенского дороже, чем та присяга, которую он принял как председатель Совета министров российского Временного правительства?»

Снова Берберова видит в действиях Керенского и его ближайших друзей – министров Некрасова, Терещенко и Переверзева – масонские корни. Наперекор элементарной логике. Зачем послам Франции и Англии, министру Франции Тома, масонам этих стран и России скрывать факты, обличающие их злейших и непримиримых врагов – Германию и вождя большевиков? Если и были связаны Керенский и его друзья какой-то «клятвой», то клятвой верности союзникам. Своей присяге Керенский никогда не изменял, до последних дней своей жизни. Он не принял иностранного подданства, постоянно размышлял о том, как избавить родину от тоталитарного режима. И документы о получении Лениным денег от германского военного ведомства, возможно привезенные в Россию А. Тома, Керенский получил из рук Переверзева (адвокат, эсер, министр юстиции Временного правительства, май – июль 1917 года). Мало того, Переверзев обнародовал эти неопровержимые документы 4 июля 1917 года, то есть нарушил «клятву», что признает Берберова. История должна быть ей благодарна за напоминание о «немецких деньгах», полученных Лениным от Германии.

Сей факт упорно скрывали советские политики. Впрочем, еще ранее бывший дворцовый комендант Николая II генерал Воейков в свой книге «С царем и без царя» писал, что «одновременно с посылкой денежных переводов Германский имперский банк в начале 1917 года открыл счет Ленину, Суменсону, Козловскому, Троцкому и другим деятелям Совета народных комиссаров (вероятно, подразумевается будущий Совет. – *В. С.*). В январе 1918 года Совету народных комиссаров (уже существующему. – *В. С.*) было переведено из Рейхсбанка 50 миллионов рублей на покрытие расходов по содержанию Красной гвардии и агитаторов, причем было указано, что нужно усилить пропаганду, так как антибольшевистские настроения на юге России и в Сибири беспокоят немецкое правительство». Этому утверждению генерала вполне можно верить, поскольку он располагал данными царской охранки, внедрившей и на высоком уровне своих агентов в ряды большевиков и вызнавшей их зарубежные связи. Разогнав охранку, Керенский лишился доступа к ее «банку сведений», переправленному одним из расторопных царских полковников в Америку, где они хранятся в русском архиве библиотеки Гувера при Институте войны, революции и мира Станфордского университета. Александр Федорович, переехав в Штаты, преподавал в этом институте и наверняка прочитал многие документы охранки, в том числе о людях, возглавивших большевистскую партию в России, криминальные досье на некоторых из них, которых он амнистировал. Увы, он уже ничего не мог исправить и, наверное, клял себя за нерешительность при издании приказа № 1 и самое главное – при получении материалов от Переверзева о денежной помощи Германии Ленину, пожалуй самом кульминационном моменте революции, русской истории, случившемся вскоре после наступления русских войск на позиции Германии.

Генерал Брусилов торопил Керенского начать наступление, назначенное на 10 июня. О нем уже проведал враг. Но в это время заседал съезд Советов, и Александр Федорович, следуя адвокатской привычке следовать закону, хотел заручиться согласием съезда на эту акцию. Получив резолюцию о согласии, он выехал на фронт. Удар по австро-немецким войскам был нанесен 18 июня; собрали 312 батальонов – около 300 тысяч солдат. Сюда же привезли 800 легких пушек и более 500 средних и тяжелых орудий. После двухдневного артиллерийского обстрела 7-я армия перешла в наступление и заняла окопы противника. Столь же успешно атаковала 11-я армия. 25 июня смелый маневр совершила 8-я армия. «И совсем не удивительно, что позднее, после нескольких месяцев тяжелых боев, люмпен-

пролетарии и дезертиры пошли в тылу за большевиками по пути убийств и насилия, купившись на обещание неограниченной свободы, – отмечал Керенский. – Удивительно то, что летом 1917 года русские войска продемонстрировали могучую силу патриотизма. Съезд военных в Каменец-Подольске закончился бурной овацией в адрес генерала Брусилова».

Александр Федорович скромен в оценке своих заслуг. Офицеры, враждебно настроенные к Февральской революции, иронически прозвали его «главноуговаривающим». Но он на это не обижался. Во время инспекционной поездки по фронту он множество часов провел в окопах, выступая перед солдатами, не щадя ни сил, ни связок. Однажды в холодную погоду он простудил горло, но говорил громко и темпераментно, на долгое время заработав крикливый, осипший голос (горло он вылечил только в Америке). Иногда темперамент захлестывал его, чувства превалировали над мыслями, и он, противник кровопролития, ненужных смертей, неуклонно призывал солдат «к смерти за родину». Вероятно, подобные выражения дали повод Ленину назвать его «героем фразы». Александр Федорович понимал, что перемены в настроении солдат после встреч с ним были недолговечны, но перед боями поднимали воинский дух, доверие к офицерам. Кстати, будущие советские военачальники, в том числе великий маршал Жуков, Тухачевский, Уборевич, прошли неплохую школу, служа в армии Временного правительства. За несколько месяцев Жуков от прапорщика царской армии дослужился до командира эскадрона, назначенный на эту должность солдатским комитетом.

Говорят, что во время войны Жуков не жалел солдат, пускал их на минные поля перед проходом танков, сохраняя таким образом военную технику и направляя солдат на смерть за родину. Александр Федорович лишь только призывал к этому, находясь в состоянии патриотической эйфории. Военный министр из штатских не отсиживался в тылу, знакомился с военным положением на месте событий, обсуждал их с командованием: «Возвращаясь в закрытой машине из поездки по Юго-Западному фронту, мы с Брусиловым попали в небывало сильную грозу. И именно в тот момент, когда в окна барабанил дождь, а над головой сверкали молнии, мы ощутили какую-то взаимную близость. Разговор принял неофициальный и непринужденный характер, как водится у старых друзей. По главным проблемам, стоящим перед Россией, наши взгляды в основном совпадали, и мы полностью отвергли бытующую в верхних эшелонах власти идею, что „русской армии больше не существует“. Мы успели обговорить множество вопросов, связанных с предстоящим

наступлением, и я тогда решил… всю полноту власти в армии передать от Алексеева Брусилову».

Продолжая инспекционную поездку, Александр Федорович был обязан вместе с адмиралом Колчаком и начальником его штаба капитаном Смирновым выехать в Севастополь, чтобы уладить острые разногласия адмирала с Центральным исполнительным комитетом Черноморского флота и армейским гарнизоном. Адмирал Колчак был одним из самых компетентных руководителей российского флота. Человек смелый и эрудированный, с легкоранимой душой, он пользовался глубоким уважением среди офицеров и матросов и стал легендарным уже при жизни. После падения монархии он наладил отличные отношения с экипажами кораблей и сыграл положительную роль в создании Центрального комитета флота. И неожиданно для адмирала у него возник конфликт с комитетом. С обидой в душе, со слезами на глазах Колчак объяснял Керенскому: «Для матросов Центральный комитет значит больше, чем я. Я более не люблю их!» Последние слова растрогали Александра Федоровича. Он увидел перед собой честного, благородного человека, во многом близкого ему по характеру. Адвокат не может не уважать своего подзащитного, иначе не сможет достойно защищать его. Колчак не мог командовать матросами, потеряв к ним уважение, своего рода отцовскую любовь. Александр Федорович тактично уладил конфликт, разъяснив членам комитета, с каким добрым и умным человеком свела их судьба. Но вскоре возник более острый конфликт, и Колчак, даже не сообщив о своем решении правительству, сел в прямой поезд на Петроград, насовсем распрощавшись с флотом.

Александр Васильевич Колчак, позднее поименованный Верховным правителем России, в 1920 году был расстрелян большевиками. В Советском Союзе он числился оголтелым наймитом Антанты, к его имени было прицеплено немногим меньше ругательных эпитетов, чем к Керенскому. В некрологе Колчаку, написанном Иваном Александровичем Буниным, нобелевским лауреатом по литературе, есть такие слова: «Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской земли».

Александру Федоровичу не хотелось расставаться с Колчаком, общение с которым было ему полезно и дорого, но готовящееся наступление на врага требовало его внимания и усилий. В Москве он принимает парад войск Московского гарнизона, вылившийся в демонстрацию их преданности Временному правительству. Громким «ура!» встретили солдаты своего военного министра. Народ желал его видеть и слышать.

Александр Федорович выступал на многочисленных митингах, его речи сопровождались несмолкаемыми аплодисментами. Но голова от них не закружилась. Чем больше энергии и души выплескивал он в своих речах, тем более сильный отклик находили они в сердцах слушателей. Он радовался, что они понимают его, верят ему, и это придавало силы. Вернувшись в Петроград, он выступает на съезде рабочих и солдатских депутатов. На фоне в общем-то праздничного и теплого приема его полномочными делегатами съезда Керенский не замечает, что против возобновления войны из 822 делегатов проголосовало лишь 200. «Из них только 105 большевиков. Вроде немного, но их усилиями по указке Ленина была проведена демонстрация с лозунгами: „Вся власть Советам!“, „Долгой десять министров-капиталистов!“ Нужную резолюцию Керенский получил, хотя меньшевики и эсеры не высказали ей своего полного одобрения. Следуя демократическим принципам, Керенский даже не подумал арестовать большевиков. Поскольку в стране есть большевистская партия, есть люди, отправившие на съезд делегатов-большевиков, они имеют полное право участвовать в общественной и политической жизни страны и войти в грядущее Учредительное собрание, которому они обещали доверить власть во всех своих резолюциях, решениях и даже лозунгах. Значит, по отношению к ним, к их безответственным словам надо проявлять терпимость.

Ум и сердце Керенского заполняли вопросы предстоящего наступления. Объезжая полки в районе фронта, Керенский на мгновение ощутил страх: вдруг солдаты не захотят пойти в бой? Вдруг его уговоры и призывы были для них недостаточно убедительными? Сомнения его рассеялись, когда после двух начальных дней наступления русские войска прорвали первую линию обороны противника. Позднее Нина Берберова, отнюдь не знаток военного дела и не политик, посчитала это наступление «искусственно подогреваемым». В какой-то мере она была права. После первых успехов, пленения нескольких тысяч немецких солдат, захвата десятка полевых орудий противника некоторые части решили, что задание ими выполнено и нет смысла продолжать наступление дальше, тем более что и они несли потери. Солдаты были измучены затянувшейся войной и не ожидали усиленного сопротивления врага. «Но главное было не в этом, – понимал Керенский, – если в период блистательного наступления Брусилова в 1916 году ему противостояли австрийские полки с военнослужащими из славян, мечтавших сдаться в плен русским, то в 1917-м перед русскими армиями стояли отборные германские части, поддерживаемые мощной артиллерией».

20 июля Керенский отправил секретную телеграмму министру иностранных дел Терещенко: «Союзники прислали тяжелую артиллерию на 35 процентов из брака, не выдержавшую двухдневную умеренную стрельбу».

Наступлением командовал один из самых способных генералов России – Антон Иванович Деникин. По признанию Керенского, отношения между ними были непростыми: с одной стороны, Деникин нуждался в нем как в посреднике между офицерами и солдатами, а с другой – испытывал неприязнь как к личности, ведущей слишком демократическую для него политику в правительстве. Деникин был из породы воинов-служак, с недоверием относившихся к штатским. С годами он стал мудрее и терпимее, более глубоко вникал в жизнь. Керенский не питал к нему враждебных чувств, но его грубый тон в обращении с солдатами не мог понравиться военному министру. В свою очередь, Деникина шокировали некоторые высказывания министра. Однако война с Германией, защита родины свела их, людей с разными характерами и уровнем культуры, объединила в достижении одной цели – победы над противником.

Их совместная деятельность на некоторое время была прервана неординарными событиями в тылу, где росло влияние большевиков. Писатель в эмиграции с 1921 года Николай Николаевич Брежко-Брежковский – автор романов о событиях революционных лет – «Белые и красные», «Царские бриллианты», «Дикая дивизия», утверждал, и не без оснований, что «Совет рабочих и крестьянских депутатов, державший в своих руках судьбу России и до поры до времени только терпевший Временное правительство, являл собою весьма пестрый зверинец. Главную роль в нем играла интеллигенция, замаскированная „под рабочих и под солдат“. Настоящие же рабочие и солдаты, допущенные из политических соображений, были на положении серой скотинки. Нужны были их голоса. Эти голоса серая скотинка слепо и покорно отдавала тем, кто ею руководил! Руководили сплошь германские и австрийские агенты. Было несколько офицеров Генерального штаба из Берлина и Вены. Надев солдатские шинели и забронировавшись псевдонимами, эти лейтенанты и майоры делали все зависящее от них и возможное, чтобы в самый кратчайших срок развалить еще кое-как державшиеся остатки и обломки русской армии и русского флота. Им помогали в этом большевики. Ленин и Троцкий». К сожалению, этот писатель не указывает, что на первых порах Советы действительно являли собой форму народной власти и «переродились» только на пятый месяц революции, когда туда пробрались большевики, руководимые немецкими агентами.

Писатель, сторонник «крепкой руки» во главе страны, ненавидел Керенского, обвинял его в том, что он дважды спас Троцкого: «Когда преображенцы хотели его расстрелять и когда предотвратил его арест. И сделал это не потому, что Троцкий был симпатичен ему или же политически приемлем, а потому якобы, что Троцкий в глазах его был крупным революционным волкодавом, а он, Керенский, рядом с этим волкодавом чувствовал себя маленькой, беззащитной дворняжкой…» Его оскорбляли, придумывали о нем небылицы, но он оказался выше наветов и строил демократию. Цель писателя – унизить руководителя революции, принизить его деятельность, по-своему истолковать непреклонное желание обойтись без жертв даже со стороны противников. Тем не менее писатель вынужден признать: «Керенский со свойственным ему истерическим пафосом, восклицал, что как до сих пор его рукой не подписано ни одного смертного приговора, так и впредь не будет подписано. Это говорилось для популярности, говорилось в толпу, на митингах, с театральных подмостков и с арены цирка… после доброй порции кокаина». Для того чтобы оболгать ненавистного ему приверженца демократии, писатель, автор правдивого романа «Дикая дивизия», опускается до явной лжи, пытается убрать из истории имя человека, сначала отменившего смертную казнь в стране, что приблизило Россию к самым цивилизованным странам мира, а потом, восстановив во фронтовых условиях, чтобы карать дезертирство и неповиновение требованиям командиров. Мало того, играя на самых низменных чувствах обывателя, писатель объясняет ему, что Керенский боится потерять власть, ибо «тогда прощай вина из царского погреба, прощай императорский поезд, беседы по прямому проводу, выступления на митингах с поклонницами-истеричками».

Проследив историю создания демократии не только в России, но и в других странах, легко убедиться, что жизнь ее проводников зачастую в целях их дискредитации обрастала самыми нелепыми случаями. Но жизнь между тем шла своим чередом, продолжалась и в сложный для России семнадцатый год прошлого века.

Еще 3 июня на совещании членов Государственной думы Милюков под аплодисменты говорил: «Русское общество должно сплотиться в борьбе с этой опасностью от большевизма… Если Временное правительство после долгой проволочки поймет, что в руках власти есть и другие средства, кроме убеждения, те самые средства, которые она уже начала применять, если оно станет на эту дорогу, тогда завоевания русской революции будут укреплены. Вот на этот путь нам следует призывать друг друга и Временное правительство». Милюков был услышан и понят и

князем Львовым, и Керенским, но его слова так и остались словами. Хотя медлить было нельзя и, по сути, безответственно, если не преступно. 13 июня уже девятнадцать заводов и три войсковых соединения были на стороне большевиков. 3 июля их настроение выплеснулось в грандиозную демонстрацию, более похожую на вооруженное восстание. Неожиданно на улицах Петрограда появились грузовики с вооруженными солдатами и матросами. На их флагах и плакатах выделялась фраза: «Первая пуля – Керенскому». 4 июля Временное правительство дало распоряжение командующему Петроградским военным округом генералу Половцеву «очистить Петроград от вооруженных людей», которое он оперативно выполнил. 6 июля Временное правительство издало указ об аресте Ленина и Зиновьева, но оба они успели скрыться, о чем подробно рассказывалось в начале нашей книги. На следующий день, 7 июля, вышло постановление о расформировании воинских частей, принимавших участие в восстании 3–5 июля. Но лидер большевиков, обвиненный в германском шпионаже, исчез бесследно. Генерал Половцев позднее писал в своих воспоминаниях «Дни затмения»: «Офицер, отправляющийся в Териоки с надеждой поймать Ленина, меня спрашивает, желаю ли я получить этого господина в цельном виде или в разобранном… Отвечаю с улыбкой, что арестованные очень часто делают попытки к побегу». Ленина действительно было найти нелегко – он имел документы на имя товарища Иванова и был загримирован под фотографию на этом документе.

Общественность требовала суда над ним. Даже такие влиятельные большевики, как Троцкий, Рыков, Ногин, Каменев, высказывались за явку Ленина на суд, где он мог бы снять с себя обвинение. А сам Ленин, выйдя из подполья и находясь в безопасности, написал: «Суд есть орган власти. Это забывают иногда либералы. А где власть? Правительства нет… Оно бездействует. Действует военная диктатура. О суде тут смешно говорить… Я не сделал ничего противозаконного… Суд будет гласный. Народ поймет. Я явлюсь. Это рассуждение – наивное до ребячества. Не суд, а травля интернационалистов – вот что нужно власти. Засадить их и держать – вот что надо господам Керенскому и К°…»

С большим опозданием, но Керенский все-таки начал действовать, реально осознав большевистскую угрозу. 8 июля он разослал радиотелеграмму «всем»: «С несомненностью выяснилось, что беспорядки в Петрограде были организованы при участии германских правительственных агентов… Руководители и лица, запятнавшие себя братской кровью, преступлением против родины и революции, арестуются». А за день до этого

Керенский предлагает объявить Россию республикой и излагает свою программу Временному правительству. Несмотря на тревожное положение в стране, войну с Германией, он остается верен демократическим принципам развития родины. Смирившийся с потерей короны, но думающий о судьбе России, бывший царь Николай II записал в своем дневнике: «Восьмое июля. Суббота. В составе правительства совершились перемены: князь Львов ушел, а председателем Совета министров будет Керенский, оставаясь вместе с тем военным и морским министром и взяв еще в управление Министерство торговли и промышленности. Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту: чем больше у него будет власти, тем будет лучше».

События развиваются с невиданной для старой России быстротой, и в центре их – Александр Федорович Керенский. 9 июля объединенное заседание Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов и Исполкома Совета крестьянских депутатов объявило Временное правительство «правительством спасения России», за ним признаются «неограниченные полномочия для восстановления… дисциплины в армии, решительной борьбы со всякими проявлениями контрреволюции и анархии».

Партии эсеров и меньшевиков полностью поддержали правительство: «То, к чему призывал нас товарищ Керенский, нами уже исполнено. Мы не только готовы поддержать Временное правительство, мы не только делегировали ему полноту власти, мы требуем, чтобы этой властью правительство воспользовалось».

Английский посол Бьюкенен в своих воспоминаниях так оценивает создавшуюся тогда ситуацию: «Однако как ни плохи были перспективы, тем не менее я был склонен смотреть на вещи более оптимистически. Правительство подавило большевистское восстание и, казалось, решило наконец действовать с твердостью…»

Павел Николаевич Милюков первым из кадетов предложил поручить составление нового правительства лично Керенскому, причем из тех лиц, которых он сочтет нужным пригласить, а потом и Центральный комитет партии, «принимая во внимание заявление министра-председателя о его намерении положить в основу создания сильной власти суровую необходимость вести войну, поддерживать боеспособность армии и восстановить хозяйственную мощь государства…» 8 июля было объявлено о создании нового правительства во главе с министром-председателем и военно-морским министром А. Ф. Керенским. В тот же день пришло сообщение о прорыве немцами фронта в

районе Калуша.

Вечером 8 июля Керенский вернулся на фронт, которым командовал Деникин. Продолжение наступления, а теперь и ликвидацию прорыва врага Керенский считал необходимым для поднятия духа всей страны. Вряд ли он стремился на удачной военной кампании повысить, как сейчас говорят, свой рейтинг в народе. Он вообще мало рассчитывал на фортуну, зная возможности немцев, но душа истинного россиянина звала его в бой в прямом смысле этого слова: «Ни разу за все время пребывания на фронте не было у меня столь сильного желания, как тогда, провести всю ночь с солдатами в окопах, а утром пойти с ними в атаку. И никогда прежде я не испытывал такого стыда, что не делал того, к чему призываю. Уверен, что всем людям, облеченным особой ответственностью, довелось пережить минуты горького презрения к самим себе, но у меня не было другого выхода: сражению предстояло начаться на следующий день, а мне ничего не оставалось, как возвращаться в Петроград, чтобы принять из рук Львова бремя власти, которое он после восстания 3 июля уже не был способен нести».

На следующий день войска Деникина пошли на штурм германских позиций. Вот что писал об этом наступлении немецкий генерал Людендорф: «Наиболее яростным атакам подверглись войска Восточного фронта. Здесь русские прорвали растянутую на большом протяжении линию обороны одной из пехотных дивизий, несмотря на проявленное ею мужество. Это уже были совсем не те русские солдаты, с которыми мы сражались прежде. Положение казалось крайне серьезным, пока его не восстановили введенные в бой резервы и артиллерия».

«Окопные» речи Керенского, где он без устали тиражировал свои призывы, размышления, чувства, не оставили равнодушными сердца русских солдат. По его мнению, «если бы Деникин не поддался пессимизму и не бросил Южный фронт, вернувшись в свой штаб, в Минск, может, русским солдатам удалось бы удержать завоеванные позиции и отбросить натиск германских дивизий, пустивших в ход отравляющее вещество».

Это был созданный немцами горчичный газ. От этого смертельного газа не защищали противогазы. Он проникал сквозь одежду и поражал человека. На такое коварство не решился даже Гитлер во Второй мировой войне, обладая громадными запасами иприта, газа еще более сильного, чем горчичный. Впрочем, у нас иприт изготовлялся тоже, и в неменьших объемах, о чем безусловно знал фюрер.

Неожиданное применение газа угнетающе подействовало на солдат. Началась паника. Генерал Деникин растерялся и, будучи

не в состоянии противодействовать мерзкому «оружию», поспешно отбыл с фронта, что, конечно же, не украшает биографию этого незаурядного человека, будущего автора известной книги «Русская смута».

18 июля Верховным командующим был назначен генерал Корнилов, а в начале августа на фронт прибыл генерал Деникин, вероятно оправившийся от грубого, нарушения немцами негласных, но общепринятых законов войны, запрещавших применение газов и ядов. Оба генерала резко изменили свое отношение к комиссарам и военным комитетам. Командиры, которые считали своей обязанностью сотрудничать с комиссарами и комитетами, замещались «твердолобыми сторонниками старого режима» (характеристика Керенского). Исполняющий обязанности военного министра Борис Васильевич Савинков, бывший во время войны социал-патриотом, заместителем военного министра и его другом, отличный писатель, в своем приказе № 177 от 10 августа отмечал: «В связи с последними событиями на фронте в ряде воинских соединений наблюдается определенное беспокойство в отношении дальнейшей судьбы армейских организаций, что объясняется лишь атмосферой взаимного недоверия, которая, к сожалению, возникла вследствие пропагандистской деятельности подозрительных лиц…»

В своих мемуарах Керенский объясняет, что этими «подозрительными лицами были не большевики, а совсем наоборот». Кто же? Корнилов, Деникин и симпатизирующие им высшие офицеры. «Был ли здравый смысл в их систематической клеветнической кампании против комиссаров и комитетов, которая велась на митингах, в прессе и в официальных сводках ставки?.. Через многие годы открылась чудовищная правда. Генерал Корнилов считал, что сдал Ригу, предпочитая потерю территории потере армии в целях немедленного восстановления дисциплины в армии. Но в какой? Без солдатских комитетов, созданных Временным правительством. Генерал Корнилов скрыл от прессы, что русские войска вели упорные бои под Ригой под градом тяжелой артиллерии и в облаках горчичного газа. Он пустил в ход лживые сводки, будто бы при первом ударе немцев русские трусливо бросились наутек, – с горечью в душе вспоминал Керенский. – Перед лицом всей России свидетельствую, что в этой неудаче нашей не было позора. Войска честно выполняли все приказы командного состава, переходя местами в штыковые атаки и идя навстречу верной смерти. Представители армейских комитетов находились вместе со мною в районе боев. Случаев бегства и предательства войсковых частей

не было».

Глава двенадцатая
Глазами народа, интеллигенции, толпы

В России назревала революция. Ей предшествовали крестьянские бунты типа пугачевских, военный путч декабристов, террористические акты народовольцев… Ее подготавливали революционеры духа – Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Толстой… Были у нее свои теоретики – Плеханов, Бакунин, Герцен, Каутский… И вот впервые появился человек, готовый осуществить революцию на практике, – умный, эрудированный, бескорыстный, решивший сделать свою самодержавную родину страной демократической и цивилизованной. Вряд ли, ступая на этот путь, он представлял себе все его сложности и трудности; как первопроходец, он не мог в чем-то не ошибаться, чего-то недоучитывать. Будучи человеком честолюбивым, он порой переоценивал возможности свои и искренне любимого им народа, недооценивал дикую мощь толпы, состоящей из люмпенов городов и деревень, не знал или забыл вещее высказывание философа Средневековья Эразма Роттердамского о том, что иногда побеждает не лучшая часть человечества, а большая, но тем не менее не пошел на поводу у толпы, которой овладевал призрак коммунизма, призрак утопического светлого будущего. Народ его поддержал, в первую очередь «крепкий мужик», трудолюбивый и мыслящий – что городской, что сельский, – воевавший с неприятелем не только по приказу, но и по зову души. Перелистаем кратко газеты того времени, письма, напечатанные в них, выражавшие истинный глас народа, данные без обширных комментариев.

Газета «Русское слово»: «Мне хотелось бы в настоящем письме выразить все чувства нашей солдатской благодарности тем, кто превращал солдата-раба в солдата-гражданина». Подпись: «Сашенька Попов, солдат 312 пехотного полка».

Отрывок из статьи в газете «Вперед» (18 апреля 1917 года): «Скажем большевику:…зачем преждевременно призывать к гражданской войне, где должна непременно пролиться пролетарская кровь. Спасибо, меньшевик! Ты ведешь нас по более правильной дороге, твои слова обдуманны и последовательны, а вам, товарищи Большевики, хотя и слушаем Вас, но мало верим, и идти по Вашей обледенелой дорожке не хотим, как бы в некоторых пунктах не оскользнуться». Подпись: «Группа

мастеровых и рабочих Курского вокзала».

24 апреля 1917 года, отрывок из письма в орган печати РСДРП газету «Социал-демократ»: «Преклоняюсь перед задачами, поставленными РСДРП, признавая заслуги Советов по свержению царизма и контролю за Временным правительством, которое при этом условии пользуется полным доверием всех сознательных и мыслящих обществ, не могу оправдать направления Вашей газеты. Прочитывая ее ежедневно, убеждаюсь, что название „Социал“ присвоено несправедливо, так как все воззвания газеты не социалистичны, а анархичны и провокационны. Всех же вождей, лишенных здравого смысла, как „Ленин“, поместили бы в хорошую психиатрическую лечебницу, а безнадежных – в отделение неизлечимо больных; в противном случае Вы не друзья народа, народа и рабочих, а их враги и еще более вредные, чем монархисты, которых ловят и сажают в тюрьмы, а почему-то Вас держат на свободе. Вращаясь по специальности в самых разнообразных слоях пролетариата и всего общества и зная деятельность многих слоев плутократии, взываю ко всем социалистическим партиям, что народным массам необходим порядок, возможный только при их исключительном объединении в основных положениях, а все, что играет на слабых струнах многострадального русского народа, должно быть немедленно устранено и обезоружено, а по окончании войны отправлено в любимую им Германию в таком поезде, в каком Вильгельм прислал нам „Ленина“. Подпись: „Дочь бывшего дворового человека“.

Прочитав это письмо, нельзя не удивиться политическому чутью, разумности и откровенности ее автора, вышедшего из народа и неравнодушного к его судьбе. Когда Ленин говорил, что у него «каждая кухарка должна уметь управлять государством», то он спекулятивно и умышленно заблуждался, не каждая, а наделенная умом, истинно патриотичная, как автор этого письма. Вкусив плод свободы, многие люди поняли, что ее надо защищать в полной мере, не жалея ни сил, ни себя, поняли женщины, уравненные в правах с мужчинами. Для защиты завоеваний Временного правительства образовался женский батальон смерти. Увы, кроме фотографии, документы о нем не сохранились. Известно, что в него входили и женщины дворянского происхождения, даже княжеского, и офицерского сословия, и фабричные работницы… Судьба его была трагична. Окруженный и застигнутый врасплох, женский батальон был захвачен в плен красногвардейцами, женщины были зверски изнасилованы и сразу после этого расстреляны. Очевидец рассказывал, что по двое-трое мужчин бросались на сопротивлявшуюся женщину,

срывали с нее военную форму, рвали нижнее белье и с дикими криками услаждали свою похоть. Александр Федорович был обескуражен случившимся, переживал гибель отважных русских женщин, присягу которых принимал и которыми гордился. Он собирался поставить им памятный знак, но события одно опаснее другого не позволили ему заняться этим. Противник любого междоусобного кровопролития, он считал убийство женщин особенно бесчеловечным. Его взгляды поддерживал народ, о чем ярко свидетельствует следующее письмо, где эта проблема высвечивается даже более глубоко, чем ее проводил в жизнь Керенский, вынужденный под давлением обстоятельств ввести смертную казнь на фронте.

> *«1 мая 1917 года. Действующая армия*
>
> Каждый православный солдат знает шестую Божью заповедь: «Не убий». А мы, православные воины, зная, что грех убивать, убиваем своего брата. Сами служители церкви Христовой нас поучают драться и говорят, что человек, который убивает на войне, против шестой заповеди не грешит, ибо он защищает свое отечество, свою родину, свою веру. У них выходит так же, как ящик с двумя днами у фокусника: если так не вышло, то перевернуть иначе – и выйдет. Опомнитесь, товарищи, ведь не будут за нас на Страшном Суде Божьем отвечать офицеры. Поэтому каждый православный воин не должен убивать, если он боится Бога. Мы, еще держась в окопах и не давая противнику вторгаться в наши пределы, не давая нарушать завоеванные нами свободы, должны требовать от Временного правительства скорейшего заключения мира. И поможет нам Господь всем воедино слиться!
>
> *5-й роты 10-го гренадерского полка младший унтер-офицер Василий Плинков».*

Возможно, это было простым совпадением мыслей, но свое последнее обращение к народу, полное боли и тревоги за судьбу отечества, Керенский назвал словом из вышеприведенного письма – «Опомнитесь!». И мысль о заключении сепаратного мира с Германией не давала ему покоя. Верный союзническому договору, он оттягивал решение этого важнейшего вопроса. Мир мог выбить главный аргумент из рук большевиков в борьбе с Временным правительством и сохранить его власть. Александр Федорович в конце концов «опомнился», начал вести переговоры о мире, они, по его словам, были «близки к успеху», но что-то помешало довести их до конца. Возможно, интриги англичан, чем он и

объяснял свою неудачу. В любом случае продолжение противостояния с Германией привело страну к потере свободы, к унизительному Брестскому миру. Александр Федорович, человек по натуре мягкий, наивно верящий в порядочность революционеров, даже большевиков, нацепивших на себя их личину, обещавших доверить решение важнейших проблем Учредительному собранию, наверное, был согласен с автором другого письма, по отношению к вождю большевиков, по крайней мере в судьбоносный для страны момент, о котором пойдет речь несколько позднее. Вот это письмо.

«12 мая 1917 года.

Господин редактор!

Я, солдат из действующей армии, несколько раз из газеты «Русское слово» читаю, что большинство солдат тыла, не сочувствуя мышлениям социалиста Ленина, советуют Временному правительству арестовать его. Большинство объясняют это тем, что проезд Ленина во время войны через Германию недопустим, а некоторые и тем, что видят в пропаганде Ленина вред Родине. Боритесь словом. Но зачем грубые выходки?

Солдат Никитин Алексей, 565 пехотного полка».

«18 мая 1917 года.

Прошу напечатать в вашей уважаемой газете «Социал-демократ» мое письмо.

Наша родина нуждается в деньгах, и нам приходится поэтому брать деньги у союзников, так как наш заем свободы проходит очень туго. В Кремле и дворцах находятся неисчислимые богатства Романовых, скопленные за 300 лет, и эти драгоценности можно продать теперь тем, кто нажился на войне. Мародерам некуда девать деньги, и они с удовольствием купят эти драгоценности. Потом, у Храма Христа Спасителя весь купол из чистого золота, это для чего? Для ворон и воробьев, но не для нас в трудное время, как теперь. Я думаю, что граждане будут вполне согласны со мною».

Подпись: *«И. О. В.»*

Керенский видел, что буксует объявленный Временным правительством заем свободы, ибо сама свобода для народа становилась призрачной, а толпе люмпенов изначально была не нужна. Александр Федорович, поборник неприкосновенности частной собственности – незыблемой основы любого цивилизованного общества, – не мог реквизировать и продать

кому-либо исторические ценности России, собственность церкви. Вполне согласны с автором письма оказались граждане большевики. Они вообще разрушили храм, а потом для получения валюты стали продавать за границу художественные ценности; первым постановлением ЦК РКП(б) разрешалось продать три картины Рембрандта, потом продажи осуществлялись без обнародования.

Судя по письмам, полярность мнений в 1917 году была достаточно велика, чему, как одному из важнейших признаков свободной жизни, не препятствовало Временное правительство.

«19 июля 1917 года.
Ставропольская губерния, село Медвежье

Товарищи большевики. До этого времени вы видели одно насилие и смерть за смелость человеческой жизни, за желание демократии получить свою долю счастья на земле.

Но, товарищи, прием ваш для достижения своих прекрасных целей чрезвычайно прост: «Вынь да положь!» Но многие ли капиталисты согласятся вам все вынуть и положить? У ваших ног? А раз не найдутся такие, значит, их взять за горло? «Давай, подлец!» Не встали ли вы на путь глубоких противоречий? Вы говорите: «Долой войну, немцы нам братья», – и в то же время не прочь начать гражданскую войну. По моему, по деревенскому разумению, уж лучше бить немцев, чем свою братию, хотя бы и не согласную с Вами. Я знаю, что среди вас есть люди ученые, я не думаю, чтобы они отрицали закон революции. По всей Европе гремят пушки, грудами валяется растерзанное человеческое мясо, целые миллионы людей хотят схватить другие миллионы за горло и отнять у них все: и землю, и деньги, и свободу… а вам, большевикам и анархистам, кажется, что человечество созрело, что еще одно небольшое ваше усилие – и на земле установится мир и благоволение.

Допустим на время, что вы еще при жизни достигнете своих целей, а что дальше? Плод еще не созрел и окажется весьма кислым… а народ? Опять начнет потасовку, пока не осточертеет все и не скажет он в изнеможении какому-нибудь подлецу: «Надевай корону, бери в руки дубинку и дуй нас в хвост и гриву, и правого и виноватого». Ведь так уже было во Франции. Так-то, друга мои! Не человек творит жизнь, а сама жизнь создала человека и совершенствует его. А жизнь

подчиняется мировым законам, и не нам с вами «идти против рожна».

Народный учитель П. Мащенко».

Для автора этого письма учителем является жизнь, мировая история. Современного человека, заторможенного почти что вековым единомыслием, не могут не поразить размышления свободных людей *«из* далекого семнадцатого года, далекого, но и близкого» по понятиям демократии, которые возвращаются в Россию.

«24 июня 1917 года. Действующая армия

Не откажите для солдата, уважаемый редактор «Русского слова», поместить мой стишок.

Из Сибири, из Урала,
С Волги матушки-реки,
Развернув свои знамена,
Немцев бить идут полки.
Застонали уж Тевтоны,
Даже дрогнула земля,
Что Российская свобода
Светлый путь себе нашла.
Страха в битве мы не знаем,
Не России ль мы сыны,
И с товарищем Керенским
Нам Вильгельмы не страшны!

Сочинил сибиряк
Петюшка Шалимов».

Это – выплеск души народной, тяга к самодеятельному творчеству. Федор Иванович Шаляпин вспоминал в мемуарах о благотворительных концертах для рабочих, сыгранных им в двухтысячеместном Киевском цирке, и не удивлялся, что зрители подпевали ему не только «Дубинушку», но и оперные арии. Керенский напевал арии из «Аиды», позднее – многие романсы Вертинского. Говорят, что Ленин любил слушать «Апассионату» Бетховена, это не миф ли, призванный обозначить культуру вождя большевиков, ходившего в кепке и державшего руки в карманах брюк. Точно известно, что любил он «творчество» пролетарского поэта Демьяна Бедного (Придворова), писавшего примитивные вирши, рассчитанные на самый низменный вкус. Даже выделил ему комнату в Кремле. Александр Федорович Керенский,

отлученный от политики, стал издавать сначала в Берлине, а потом в Париже литературную газету, где, кстати, напечатал первое произведение Берберовой. Прозой в газете заведовал Марк Алданов, стихами – Владимир Ходасевич.

Одними из самых любимых писателей первого русского премьера-демократа были Иван Алексеевич Бунин – до конца жизни и Максим Горький – в период его неприятия большевиков, довольно краткий и прерываемый их успехами. «Начало февраля 1917 г., – писал Бунин о Горьком, – оппозиция все смелеет, носятся слухи об уступках правительства кадетам – Горький затевает с кадетами газету (у меня сохранилось его предложение поддержать ее). Апрель того же года – Горький во главе „Новой жизни“, и даже большевики смеются, – помню фразу одного: „Какой с божьей помощью оборот!..“ Горький, видя, что делишки Ленина крепки, кричит в своей газете: „Не сметь трогать Ленина!“ – но тут же, рядом, печатает свои „несвоевременные мысли“, где поругивает Ленина (на всякий случай)… Конец 1917 г. – большевики одерживают полную победу (настолько неожиданно блестящую, что „болван“ Луначарский бегает с разинутым ртом, всюду изливает свое удивление), – и „Новая жизнь“ делается уже почти официальным органом большевиков (с оттенком „оппозиции Его Величеству“), Горький пишет в ней буквально так: „Пора добить эту все еще шипящую гадину – Милюковых и прочих врагов народа, кадетов и кадетствующих господ!“ – и результаты складываются через два-три дня: „народ“ зверски убивает двух своих заклятых „врагов“ – Кокошкина и Шингарева… Февраль 1918 г., большевики зарвались в своей наглости перед немцами – и немцы поднимают руку, чтобы взять за шиворот эту „сволочь“ как следует. Горький пугается и пишет о Ленине и его присных (7 февраля 1918 г.): „Перед нами компания авантюристов, проходимцев, предателей родины и революции, бесчинствующих на вакантном троне Романовых…“ Осенью 1918 года покушение на Ленина, зверские избиения в Москве кого попало – Горький закатывает Ленину по поводу „чудесного спасения“: ведь никто пикнуть не смел по поводу этих массовых убийств – значит, „Ильич“ крепок… Затем убийство Урицкого. „Красная газета“ пишет: „В прошлую ночь мы убили за Урицкого ровно тысячу душ!“ – и Горький выступает на торжественном заседании петербургского „Цика“ с „пламенной“ речью в честь „рабоче-крестьянской власти“, а большевики на две недели развешивают по Петербургу плакаты: „Горький наш!“ – и ассигнуют ему миллионы на издание „Пантеона всемирной литературы“… Сотни интеллигентов стоят в очереди, продаваясь на работу в этом „Пантеоне“… Авансы текут рекой… Некоторые

смущенно бормочут: „Только, знаете, как же я буду переводить Гёте – я немецкого языка не знаю…“ Никакого Пантеона и доселе нет… Есть только тот факт, что „интеллигенция работает с советской властью“, что „умственная жизнь в стране процветает“ и Горький на страже ее…»

В этом отрывке из «Записной книжки» Бунина наличествует масса слов, взятых в кавычки, то есть, по его мнению, не отвечающих реальности. В конце «Записной книжки» он приводит цитату из посмертного дневника Леонида Андреева, писателя истинного и принципиального, с которой я абсолютно согласен: «Вот еще Горький… Нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России… Но кто за это возьмется? Не знают, забывают, пропускают… Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, „уважаемым“? Если это случится (а возможно, что случится) и Горький сух вылезет из воды – можно будет плюнуть в харю жизни!»

Взялся за это Иван Алексеевич Бунин… Но известно, что он двадцать лет находился в дружеских отношениях с Горьким, роман которого «Жизнь Клима Самгина» обогатил русскую литературу. Понятен гнев Бунина по отношению к талантливому писателю, изменившему революции и поддержавшему Октябрьский переворот. Иван Алексеевич, порой весьма резкий в своих оценках, не милует и Александра Федоровича Керенского в «Дневнике 1917–1918 гг.»: «Зашел в контору… взял „Раннее утро“. Прочел первый день московского совещания. Царские почести Керенскому, его речь – сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое кресноречье, „я“, „я“ – и опять и направо и налево».

Это о попытках Керенского объединить все партии демократического толка. Со стороны они действительно кажутся странными, многим непонятными. Раздражает «хвастливое красноречье», постоянные «я», «я», а это не что иное, как желание утвердиться политиком, берущим лично на себя ответственность за предлагаемое и сделанное, за судьбу громадной страны. Чересчур явный до экстравагантности темперамент часто захлестывал Александра Федоровича и справедливо виделся мастеру слова излишним, впрочем, как и «царские почести» – результат исключительной популярности Керенского. В «Окаянных днях» Бунина, которые были напечатаны после 1917 года, есть своеобразная и точнейшая характеристика Ленина, который приехал в Петроград и поселился в доме еще недавно приближенной к царскому двору балерины Кшесинской, в доме, который ему «никогда не принадлежал», и мудрое

предостережение Керенскому колоритной сценкой из сельской жизни: «Лето 1917 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков… речь идет о „бабушке русской революции“. Хозяин избы размеренно рассказывает: „Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, – я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на цепи держали, а уморить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге и то ухитрилась миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти. Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить ее мне все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, годы вышли…“ Кто-то белеющий в сумраке рубашкой, „краса и гордость русской революции“, как оказывается потом, дерзко вмешивается: „У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!“ Мужик возражает спокойно и твердо: „А ты хоть и матрос, а дурак… Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь?..“ Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы ребята, ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить…

Думаю: «Нет, большевики-то поумнее господ Временного правительства! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику».

Пожалуй, популярность Керенского, вполне заслуженная, эйфория успеха затмевала для него «толпу ребят», за вдохновенными лицами своих единомышленников из народа не разглядел внимательно, не изучил серую, безликую толпу, жившую по своим законам стадности, в которой легко возбудить самые низменные инстинкты. Брось ей клич: «Грабь награбленное, оно будет твое», и толпа, опьяненная обещанием легкой наживы, сметет на своем пути все и всех.

Взор ее туп и страшен, как у хищного, дикого животного, она бессердечна и безумна, а если вооружена, то опаснее любого зверя, тем более когда ее дрессировщик хитер и коварен. Скажет: «Сковырнем Керенского!», «Первая пуля – Керенскому!» – сковырнут и пошлют пулю в лоб, как большевик Юровский царю.

Александр Федорович «обошел» толпу, не возглавил ее и не

растворился в ее массе. Он пытался достучаться до сердца народа, неравнодушного к судьбе отечества.

В его личном архиве, хранящемся в библиотеке Гуверовского института, лежит весьма критическое письмо – крик души русской писательницы Павлы Тетюковой. История его появления там весьма любопытна. Письмо отправлено Керенскому в июле 1917 года. Получил ли он его тогда – неизвестно. К письму приложена объяснительная записка, под которой стоят инициалы «М. Б.» Возможно, ее автор – старый друг Керенского, бывший русский адвокат Василий (Базиль) Маклаков, очутившийся после Февральской революции во Франции. Возможно, кто-то другой. В любом случае – без согласия Александра Федоровича письмо не могло оказаться в его архиве. Вот эта записка, предваряющая письмо: «Занявшись разборкой архива русской писательницы Павлы Тетюковой, среди множества заметок, записей, статей я натолкнулся на конверт, пожелтевший от времени, с какими-то бумагами. Осторожно вынув несколько исписанных листов, тоже пожелтевших, я поразился, прочтя обращение на первой странице: „Министру Социалисту г. Керенскому“. История письма такова. Павла Тетюкова находилась в Петербурге, когда началась революция. Навидавшись всяких ужасов, она с трудом вырвалась из города на Сибирском экспрессе. Поезд повез ее по Восточно-Китайской железной дороге. Испытав ряд приключений (о них тоже есть записи), она добралась к себе на цементный завод на станции Заиграево, что между Иркутском и Читой. События угрожающе нарастали, и тогда Павла Тетюкова решила написать письмо Керенскому. Письмо ее было написано карандашом, и поэтому она обратилась с просьбой переписать его к служащему конторы завода, сыну одного из бывших ссыльных, Гришеньке Краевскому, обладавшему каллиграфическим почерком. (Гришенька, Петюшка… ласковое, нежное выражение имен в те времена, когда еще человек человеку не был объявлен другом, товарищем и братом. – *В. С.*) Ознакомившись с содержанием письма, он пришел в ужас: «Как, самому господину Керенскому? Нет, не могу. Если даже выгоните со службы, даже тогда не перепишу!» Его не выгнали. В городе Иркутске жил нотариус Александр Иванович Туманов, который вел дела завода и часто там бывал. Но и он категорически отказался помочь Тетюковой. Тогда она, не видя никакой другой возможности, хотя ее почерк был не всегда разборчив, старательно переписала письмо, от слова к слову пальчиком водя, и послала г. Керенскому. Теперь, значит, 52 года тому назад (в 1969 году – *В. С.*), я нахожу, что это письмо следовало бы придать гласности уже хотя бы потому, что, как я убежден, это ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА,

решившая открыто и страстно стать в то смутное время на защиту своей родины. *М. Б.*».

«Министру Социалисту г. Керенскому.
Станция Заиграево, июль 1917 г.

Передо мною номер газеты, где черным по белому напечатано: «Министр Керенский обратился к Церетели с просьбой сохранить за собою один из портфелей».

Читаешь и недоумеваешь. В былые «скверные» времена до революции, читая о назначении лиц, ни по своему образованию, ни по наклонностям, ни по специальности не отвечающими данному назначению, разводили руками и думали: вот что значит своя рука – владыка. Приказ сверху – и неподготовленный человек садится на ответственный пост и губит дело. Ты должен молчать, а за протест тебя шпики потащат в тюрьму, даже не подслащенную, как ныне, геранями на окошечках, а министр останется на месте и будет чинить то же зло.

Наступила новая эра. Казалось, теперь все пойдет иначе. И первое министерство (правительство. – *В. С.*) давало на это надежды. Но как удар грома – приказ № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов. (Приказ вышел за два дня до образования правительства. Керенский, как министр юстиции, утвердил его. – *В. С.*)

Никогда не задававшаяся целью осчастливить Россию, если бы я подписалась под такими приказом, то немедленно приказала бы себе отрубить руку, обрекшую сотни тысяч жизней на гибель и преступления. Нельзя было не знать, что вызовет этот приказ в темной массе. Всякий размышляющий человек должен был понимать, к чему он приведет в офицерской среде. Результаты налицо. Буря аплодисментов издавшему, сочинившему и санкционировавшему миллиарды плевков, оскорблений ни в чем не повинным офицерам всех рангов, заслуженным, раненым, имевшим за храбрость золотое оружие.

Второй шедевр – амнистия преступного элемента, свободный проезд этого элемента во всех классах по всей России. Опять десятки тысяч поджогов, убийств, грабежей. Опять напрасно загубленные тысячи людей, борющихся с этим преступным элементом, но… аплодисменты, аплодисменты и аплодисменты каторжников, убийц и бродяг по адресу «освободителя»

(речь идет об амнистии всех политических заключенных, в том числе большевиков, среди которых действительно было немало убийц. К примеру, большевик Ермаков, расстрелявший царскую семью, был каторжником, сосланным в Сибирь за убийства и ограбления. – *В. С.*).

Великодушие по адресу Финляндии – и снова аплодисменты. Мир без аннексий и контрибуций – непротивление этому лозунгу. Уход Милюкова, Гучкова. Ваше великодушие – скатертью дорога, плакать или жалеть не будем. И затем рассовывание портфелей кому попало и как попало. Бегство армии. Ваше красноречие. Из трудности или каких-либо иных причин – дифирамбы по Вашему адресу с уверенностью, что Вы поднимете дух армии, двинете ее на врага своим красноречием. Вы двинули, но ту часть, которая гибла уже от приказа № 1, которые пошли бы и без Вашего красноречия. Я, женщина, видела в приказе № 1 только провокацию, могущую привести Россию к гибели. Как же просмотрели это Вы, люди, приготовившиеся к лепке новой России. Если я хочу вышивать какую-нибудь картину или лепить статую, то намечаю заранее тип, контуры, размеры. Иначе мои сотрудники: один вылепит торс Венеры, другой – ногу пигмея, третий – шлем римского гладиатора, четвертый даст в руки моей статуи букет хризантем, а пятый оденет в костюм от Пакена. К тому же я сама вылеплю ей голову Козимо Медичи. Это и будет та самая картина, план которой не был заранее намечен.

Ни один из вас не осмеливался перечить другому, какую бы несообразность ни проводил другой в жизнь. Вы боялись шатать друг друга, ибо вас уже шатал С. С. и Р. Д. Эта же боязнь заставила держать под спудом документы о Ленине, доставленные Переверзевым. Результаты налицо.

Разрушение железных дорог шло столь энергичным темпом, что мы теперь находимся если не на краю гибели, то уже в самой трясине. Нужна крепкая рука, которая могла бы заставить опомниться заблудшую овцу – мастерового, решившего, что весь мир для него.

Телеграммы срочные идут по 18 суток. Министерство почт и телеграфов, не имевшее до сих пор министра, никогда не приходило в такой упадок (министерства такого не было. Имеется в виду сфера почт и телеграфов. – *В. С.*). Церетели очень неглупый

человек, идеалист, безусловно честный человек, хотя бы потому, что имел мужество осознать свои ошибки, прекрасный, зажигающий оратор и никакой министр. Там нужна вдумчивая канцелярская работа, а не полет фантазии. Зачем заставлять человека, владеющего кистью художника, колоть дрова. Результаты и тут налицо.

Министр иностранных дел… Но ведь, право, недостаточно говорить «пардон» и «мерси», чтобы получить основание быть этим министром (говорится о М. И. Терещенко, обладавшем прекрасными светскими манерами. – *В. С.*). Правда, иностранные державы почти прекратили с нами всякие отношения, и потому этот пробел не так заметен.

Бог простит, вероятно, министра Чернова за все то зло, которое он и Шингарев причинили России своими мудрыми распоряжениями, а главное – непротивлением злу (В. М. Чернов – министр земледелия Временного правительства второго состава, прозванный «мужицким» за ставку на «крепкого» мужика. А. И. Шингарев – предыдущий министр земледелия. – *В. С.*).

Уже середина июля, а пробужденная большевиками деревня Нееловка, крепко вцепившись в глотку деревни Гореловки, шаром катаются по окрестным помещичьим землям, боясь хоть пядь уступить друг другу, мешая и помещику сеять, и самим работать на своей земле. Будем пухнуть с голода, что уже теперь практикуется во многих местах. Еще один результат.

Смертную казнь возобновили, но когда?.. Когда сотни тысяч лучших сынов России были загублены безответственными солдатами в Кронштадте, Гельсингфорсе, Або и проч. и на всех фронтах, солдатами, стрелявшими в своих офицерах за честный призыв на борьбу (приказ № 1, не ты ли виновник этого?).

Так протекали Ваши счастливые дни среди аплодисментов, пока в них не ворвались жутким диссонансом звуки пулеметов на улицах Петрограда. Это было ответом на благородное непротивление злу – Ленинской пропаганде, которую культивировали власть имущие, как некий махровый платок. Пожали и плоды своих рук, защищавших всей силой власти Ленина – как бы кто его не обидел, не выселил из дворца Кшесинской.

Вы сами чуть не были арестованы, Чернов избит, и

вдруг оказалось, что выгнанный за превышение власти ген. Корнилов (он осмелился вытребовать для охраны две роты без санкции С. С. и Р. Д.) был на сей раз слаб. Дело коснулось вас. Воспитанные по Вашей указке люди хотели арестовать Вас же. Вы бежали. Они вздули своего же собрата Чернова, буржуев-министров, увы, уже не существовало.

Еще фраза, характеризующая, как обстоит дело в армии. «Солдаты, расстреляв все патроны, отбивались штыками и камнями против пулеметов и пушек» – так гласит донесение в газете Изв. С. С. и Р. Д. А что думает военный министр?

Будьте милостивы к России, осознайте свою непригодность как министр и дайте ген. Корнилову возможность исправить испорченное четырьмя месяцами полной неразберихи. Отдайте Колчаку пост военного министра, ну, будьте милостивы к России, дайте ей возможность оправиться. Вы – человек даровитый, талантливый, Вы найдете, куда применить свое дарование, кроме военного и морского дела, вам незнакомого.

Ведь все здравомыслящие люди России с ужасом смотрят на дилетантов, играющих Россией, но боятся говорить, ибо за Вами власть, и, может быть, мне предстоит за это откровенное письмо любоваться геранями в облагороженной камере тюрьмы.

Но все равно, больше нет сил молчать. Чаша терпения переполнилась. Ведь наука ваша происходит на живом теле России и Ея населения. Закричат люди криком: дайте порядок, дайте возможность жить и дышать не только каторжникам и убийцам!.. Вам аплодировали, пока вы обещали и разрешали, но вот вы разрешили всё, больше ни давать, ни обещать нечего… и по Вашему адресу посыпались проклятия за обманутые мечты.

Павла Тетюкова».

Она была не единственной русской женщиной, столь беспощадно и «боевито» относящейся к Керенскому. Арестованный им, но избежавший суда бывший дворцовый комендант генерал Воейков с удовольствием замечает в мемуарах, что, когда Керенский делал доклад в Нью-Йорке, в театре «Сенчури», в присутствии 5000 человек, спустя тридцать лет после событий 1917 года, «к нему перед докладом

приблизилась дама с букетом цветов в руках и нанесла оскорбление действием». Это, однако, не помешало неустрашимому Керенскому начать доклад. Еще ранее, во Франции, на одном из его многочисленных докладов на тему «Канун февраля» он сказал, что «не февраль развалил армию, на что раздался женский голос: „А приказ № 1!“ Ответом был истерический возглас лектора: „Вы ошибаетесь, мадам!“

Ошибочность этого приказа Александр Федорович признал и уже через неделю после его выхода с помощью Гучкова изымал, где было возможно. Урон революции приказ нанес значительный, но, конечно, не он один был причиной ее провала. А причин было несколько. Они выявятся и станут со временем понятны Александру Федоровичу. Таких яростных максималистских критиков, как Павла Тетюкова, у Керенского было немного. Пять тысяч (!) эмигрантов пришли на встречу с ним в театр «Сенчури», приветливо встретили и тепло проводили. Не мог он объяснить каждому своему критику, что Деникин, Корнилов и другие генералы были непримиримо настроены против роли Советов в управлении армией или, как Колчак, не могли найти с ними общий язык. Модель управления страной с участием Советов, по сути его детище, являла собой реальное участие широких слоев населения в деятельности правительства, которому Советы отдали все полномочия. Они мыслились «совещательным органом и сделали много полезного», как признавал Керенский, в том числе и в войне с Германией. Он не мог предположить, что они быстро большевизируются. И Ленина он не защищал, но относился к его действиям беспечно. Выжидал, когда он образумится, верил ему, что большевики дождутся выборов в Учредительное собрание, где будут решаться все вопросы государственного устройства. Он мечтал о создании коалиционного правительства, в которое войдут все партии России, войдут большевики и подчинятся решению большинства.

Это было его роковой ошибкой, но он строил Россию по образу и подобию самых цивилизованных стран мира, и к октябрю 1917 года в ней царила невиданная в Европе политическая свобода. Александр Федорович делал уступки кадетам, когда они, по некоторым пунктам несогласные с ним, отказались от участия в правительстве. В знак протеста даже вышел в отставку, но правительство не приняло ее, а кадетская партия, пожалуй самая влиятельная в то время, была достойно представлена в составе кабинета министров. Он считал, что создание коалиции всех демократических партий на тот момент было важнее того, кто лично из их представителей станет членом правительства. Предложили меньшевики Церетели, умного

человека… Откажись он от его услуг – мог бы поссориться с меньшевиками, что было крайне нежелательно – меньшевики и эсеры составляли большинство в Советах. Эсеры по своим позициям были весьма близки к большевикам, и многие вскоре перешли на их сторону. Мог ли он предположить это? Вряд ли. Но по твердому убеждению оппонентов, должен был предвидеть все. Старался объять необъятное. Не получилось. И наступила разруха, голод, в стране, на руку большевикам, создавалась напряженная экономическая ситуация. Мог, ли он стать той сильной рукой, подавляющей завоевания демократии и устанавливающей порядок, близкий к монархическому? Наверное, нет. Ни по убеждению, ни по своему характеру. Он был за установление «госпорядка», но не при помощи диктатуры. Он рассчитывал на принятие народом своих принципов, и поначалу ему светила удача, когда правительство и народ были настроены на одну демократическую волну. Потом страну, как лодку, стали раскачивать внутренние разногласия в партиях, большевики с помощью немцев и вождь пролетариата Ленин, силу личности которого и коварство он недооценил…

Александр Федорович со временем поймет свои ошибки, и ему хватит мужества поместить в личный архив, пусть во многом путаное, хаотичное, обличающее его в том, что он совершил и чего не делал, письмо Павлы Тетюковой. Она, увы, как и многие соотечественники, была не готова к жизни в новой России. Слишком резок и быстр был скачок страны от многовековой монархии к незнакомой, по сути, демократии. Тем не менее Павла Тетюкова по своему разумению, но чистосердечно и страстно выступила в защиту родины. Судьба этой незаурядной писательницы неизвестна, но видится трагичной. По всей вероятности, Тетюкову смела толпа, как и многих других лучших представителей русской интеллигенции, как и властителя ее умов в феврале 1917-го – Александра Федоровича Керенского. Письмо Павлы Тетюковой стало документом истории России на июль того судьбоносного года…

Сохранилось немало документов, говорящих о поддержке Временного правительства миллионами россиян. Они остались верны ему. И солдаты и офицеры сражались за него, погибая в неравной борьбе. После Октябрьского переворота сотни тысяч человек покинули родину, не меньшее число влилось в ряды Добровольии. Генерал Деникин в своей политической программе в какой-то степени наследовал тенденции Временного правительства в отношении земельного вопроса, предложив крестьянам платить помещикам арендную плату за землю в размере одной пятой стоимости урожая. Оставшиеся на родине

кадеты, эсеры, меньшевики, даже входящие в Советы рабочих и солдатских, а позднее – и крестьянских депутатов, даже сочувствующие им, были переправлены большевиками в тюрьмы и лагеря.

Молодой начинающий писатель Михаил Булгаков в новелле «Город-сад» точно отмечает конец «беспечального времени», обозначая его 1917 годом. Находясь в городе Владикавказе и работая там в подотделе искусств, он пишет несколько пьес, в том числе пьесу «Братья Турбины», уничтоженную им самим как несовершенное произведение. В местной газете «Коммунист» за 1919 год появилась разгромная рецензия на эту пьесу, по которой можно судить о взгляде Булгакова на людскую толпу. Послушаем электорат большевиков: «Мимо такой поверхностной обрисовки бытовых эпизодов из революционной весны 1905 года, мимо такой шаблонной мишуры фраз и психологически тусклых, словно манекены, уродливых революционеров мы прошли бы молча. Слишком плоски эти потуги домашней драматургии. Автор устами резонера в первом акте, в сценах у Алексея Турбина с усмешкой говорит о „черни“, о „черномазых“, о том, что царит искусство для толпы „разъяренных Митек и Ванек“. Мы решительно и резко отвечаем, что таких фраз никогда и ни за какими хитрыми масками не должно быть. И мы заявляем больше, что, если встретим такую подлую усмешку к „чумазым“ и „черни“ в самых гениальных страницах мирового творчества, мы их с яростью вырвем и искромсаем на клочья…»

Великий поэт Осип Мандельштам посвятил Александру Федоровичу прекрасные стихи, полученные им уже в Америке. Жаль все-таки, что письмо Павлы Тетюковой не нашло адресата в 1917-м, возможно – по причине плохой работы Министерства почт и телеграфов, на что она указывала. В этом письме она предостерегала премьера-председателя о грозной опасности для революции со стороны Ленина, о непонятной ей мягкости по отношению к нему. Своевременное и полезнейшее предупреждение, честное и открытое. В этом вопросе Павла Тетюкова была совершенно права.

Нет ничего удивительного в том, что с Керенским спорили некоторые интеллигенты, а почему бы и нет – он не был прокурором в последней инстанции, мог ошибаться и ошибался, но не в вопросах правовых, юридических. Другой писатель русского зарубежья, Иван Федорович Наживин, автор известной повести «Распутин», человек безусловно талантливый в своей художественной, не документальной прозе, попытался выявить юридические промахи Керенского, нафантазировав некоторые сценки, якобы имевшие место в его жизни. Встреча с плененным

царем:

«Керенский. А вы знаете, полковник, мне удалось провести закон об отмене смертной казни, из-за которого мы столько воевали с вашим правительством. Это было очень нелегко, но это было нужно хотя бы из-за вас только…

Царь (*удивленно*). То есть как из-за меня?

Керенский (*несколько смутившись*). Ну… Вы же знаете, что не всегда революции заканчиваются для монархов благополучно.

Царь. Если вы это сделали только из-за меня, то это все же большая ошибка. Отмена смертной казни теперь окончательно уничтожит дисциплину в армии. Я скорее готов отдать свою жизнь в жертву, чем знать, что из-за меня будет нанесен непоправимый ущерб России».

Еще одна сценка. Встреча Керенского с одним из членов верховной следственной комиссии для расследования преступлений старого правительства, молодым реально мыслящим юристом:

«– Дела наши принимают довольно неожиданный поворот, Александр Федорович… – сказал тот, закуривая. – В главных чертах наша комиссия, можно сказать, свое дело закончила, но… – замялся он немного, – но результаты получились довольно неожиданные: никаких преступлений, о которых столько кричали в печати и Дума, не оказывается… Был, если хотите, недалекий и странный монарх, истеричная и чрезвычайно суеверная императрица, были глупость, невежество, легкомыслие их окружения – все, что вам угодно, но никакого германофильства, никакой измены, ни тайных радио – ничего не было. Мало того: не было никаких оргий, никакого разврата, о которых кричит улица и сейчас. Более всего обвиняли в этом Вырубову – вот, не угодно ли, медицинский акт, медицинский акт, подписанный целым рядом почтенных имен, из которого видно, что она – девственница…

– Но, позвольте… – поднял брови Александр Федорович. – Она же замужняя женщина…

– И тем не менее вот акт…

– И, кроме того, вы говорите о главных героях Думы. А окружение? – заметил Александр Федорович.

– То же самое: много глупости, много невежества, много нечистоплотности, карьеризма, но состава преступления нет. И даже в жизни самого Распутина против многого можно возразить с точки зрения этической, но с точки зрения криминальной он не уязвим… Таких широких, разгульных натур очень много… В конце концов мы мучали и мучаем совершенно невинных людей.

– Революция – не сладкий пирожок. Вы напрасно так

волнуетесь. Впрочем, положение наше, говоря деликатно, довольно дурацкое, – соглашается Керенский.

– И даже очень… Единственный выход, который остается правительству и верховной комиссии, это делать вид, что следствие продолжается, и – молчать… Вы скажете, а арестованные? Надо как-нибудь выкручиваться… Отпустим их на поруки, что ли, а когда все эти впечатления сгладятся, скажем правду…

– Революция – не сладкий пирожок, – повторил Керенский.

– Мы утешались этим положением слишком часто и вот плоды…

Керенский – он был очень вымотан – удержал зевок.

– Ну, завтра мы обсудим все это вместе…

Вошел в огромную спальню свою – это была спальня Александра III».

Иван Наживин не упускает случая уколоть Керенского по бытовой линии. Писатель вправе допустить художественный вымысел, но при этом не должен уходить от фактического характера и поступков героя. Было известно, что Керенский не имел никакого отношения к убийству Распутина, поспешил в Царское Село, чтобы спасти Вырубову от гнева народа, видевшего в ней царскую прислужницу. Пока находился у власти, спасал царя и его семью от расправы с ними. А, увидев разложение армии, вернул на фронте закон о смертной казни. Намного интереснее и точнее мысли писателя о Керенском, как о представителе русской интеллигенции: «Керенский удивительно сочетал в себе все достоинства и все недостатки русской интеллигенции. Основной чертой и его, и ее характера, самым крупным их плюсом было то, что ни он, ни она не могли жить спокойно, зная, что где-то рядом страдают живые люди, что кому-то плохо, что где-то нарушена справедливость. Это было надо во что бы то ни стало устранить, потому что, не устранив неправды, нельзя жить. И они боролись, кипели, рисковали головами, превращали всю свою жизнь в сплошное мучение и иначе не могли, полные до краев сознания, что человек только тогда человек, когда он человечен. Она (интеллигенция) знала все, что в наше время может знать образованный человек, не знала только одного – человека. И не только не знала, но и не желала знать, и, когда жизнь показывала ей вместо придуманного человека настоящего, она отворачивалась и говорила, что это все не то, что исключение, что это недоразумение, что „человек – это звучит гордо“. Вся интеллигенция».

Здесь легко возразить Наживину – не вся. Иван Алексеевич Бунин, часто живя в деревне, хорошо разглядел этого

примитивного человека и писал, что большевики лучше знают своего клиента, чем господа из Временного правительства. Может быть. Во всяком случае Керенский знал, много разъезжая по стране с адвокатской миссией, бывая в российской глубинке. Он надеялся достучаться, добраться до сердечных струн людей, разбудить в них самосознание. И тут прав Наживин: «Керенский непоколебимо верил в силу слова: стоит только сказать на митинге речь покрасноречивее и посердечнее, что стоит отпечатать несколько миллионов популярных брошюр, и дело будет в шляпе… Словом, еще несколько усилий, и серенький человек повседневности станет светлым и гордым гражданином вселенной». С этим выводом Наживина нельзя не согласиться, но не с утверждением, что «был Керенский, как и вся интеллигенция, бесхарактерен», он мог еще говорить о «крови и железе», но в жизни крови боялся, а с железом не знал, что делать». Не боялся он крови, а не хотел ее, не терпел насилия и отказывался применять его. Александр Федорович ужаснулся, когда в центре Москвы многотысячная толпа, будучи не в силах задержать его затканного красными розами автомобиля, восторженно шарахнулась перед ним на колени. «Рабы, несчастные рабы, как глубоко сидит в людях навязанное им в течение веков рабство», – побледнел Керенский. Писатель Наживин по поводу этого случая заметил: «Шарахнуться на колени гражданам свободнейшей в мире республики, видимо стоило недорого, ну а умирать за свободнейшую в мире республику, не успев даже насладиться ее благами, – дело совсем другое».

Это происходило на четвертый год бескомпромиссной жестокой войны. И Керенский призывал измученный войною народ к защите республики. Действовал не силой, не принуждением, а словом. Иначе не хотел и не мог.

Глава тринадцатая
Жаркое лето

Лето недолго длится в России, особенно в ее северной части, но в 1917 году в Петрограде оно было необычным. Недостающие градусы, казалось, добавляла накаленная обстановка. Большевики устроили июньскую демонстрацию, затем июльскую, закончившуюся их полным поражением. С 3 июля они предприняли первую попытку захватить власть, и на редкость неудачно. Резко упало членство в партии, ушедшей в подполье. В нескольких провинциях большевистские организации самораспустились и исчезли вовсе. До 6 августа их пропаганда прекратилась.

Казалось, что страна получила возможность оправиться от потрясений последних месяцев. Люди могут расслабиться и насладиться отдыхом на лоне природы, на берегах рек и озер, под пышными кронами деревьев, забыться в ожидании благостных перемен, которые сулила новая жизнь, новая власть. Александр Федорович с начала мая все реже и реже появлялся дома, и вскоре на дверях его квартиры можно было вывесить объявление: «Ушел в революцию». Так и было на самом деле.

Семья не притягивала его. Он интересовался – здоровы ли дети, не более. Знал, что Ольга обеспечена всем необходимым, и о благополучии семьи не беспокоился. Ольга поняла, что его не вернуть, и при редких встречах обменивалась с ним ничего не значащими фразами. Она еще любила его и однажды, глядя на его усталое лицо, тени под глазами, сочувственно произнесла:

– Устаешь, Саша. Я вижу. Может, тебе надо помочь?

– Нет! – нервно ответил он. – Я жив-здоров!

– Я слышала, слишком много выступаешь. Митинги затягиваются. Ты не жалеешь себя.

– Не спорю! – вдруг воскликнул Александр Федорович и оживился. – Это моя жизнь! Понимаешь? Моя жизнь!

– Понимаю, – грустно вымолвила Ольга, – а дети, они взрослеют… Ты с ними не общаешься…

– Да, – посмотрел в глаза жене Александр Федорович, – зато им никогда не будет стыдно за своего отца! Они будут гордиться им! Или я не прав?

– Прав, Саша. Мне завидуют соседи, незнакомые люди, когда узнают, что я твоя жена. Какие-то студенты принесли цветы. Наверное, для тебя. Приходили юнкера, спрашивали, не могут ли что-либо сделать для меня, даже сбегать за покупками.

– Вот видишь! – гневно сверкнул глазами Александр Федорович.

– Вижу, – снова грустно вымолвила Ольга, – но я и дети почти не видим тебя, детям требуется твое внимание, твоя ласка… Не сердись, пожалуйста!

– А я не сержусь! – вдруг с вызовом произнес Александр Федорович. – Я согласен с этим! Но ты же знаешь, что я требуюсь стране! Постоянно! Каждую минуту! Я и на фронте, и в Зимнем! И в Москве! И в Ставке – что перечислять, зря тратить время! Я ответственен перед народом! Что может быть важнее?!

Ольга промолчала и ушла в другую комнату, к уснувшим детям, хотя хотела ему сказать: «Красиво говоришь, Саша. Как на митинге. А я – твоя жена. Неужели для меня ты не можешь найти других слов, не столь официальных? Дети спрашивают, где папа. Я говорю – он на работе, очень занят. Делами правительства. Но когда-нибудь они поймут, что ты ушел от меня, от них. Я не смогу, уже не в силах обманывать их, себя. Почему ты не говоришь мне, что разлюбил? Боишься? Перед народом ты искренний, смелый. Наверное, хочешь в его глазах выглядеть идеальным человеком, творцом новой жизни и примерным семьянином? Разве я не права, Саша?»

Ольга прислушалась – муж в соседней комнате что-то искал в шкафу, где висела его одежда. Она думала, что он зайдет попрощаться с ней, но услышала лишь, как вслед за ним безразлично хлопнула входная дверь.

Ольга открыла окно в детской. Свежий ночной воздух принес облегчение. Она подумала, что, возможно, Саша не обманывает ее. Действительно, занят сверх меры. И тяжелый груз взвалил на свои плечи. Выдержит ли он его? На отнюдь не атлетических плечах? Удивительный человек. И славный в общем-то… Энергии в нем как в работающем моторе, но если мотор можно выключить, то остановить Сашу, когда он видит цель и стремится к ней, не в состоянии никакая сила. Большевиков с ружьями и то обуздал. Сашей можно гордиться. Приходится…

Александра Федоровича во дворе поджидали два прапорщика – его обычная охрана. Он хотел отказаться от их услуг, но Терещенко, Коновалов и другие министры заявили, что в случае его отказа даже от такой минимальной охраны они поставят вопрос о ней на заседании правительства. Пуришкевич, злорадствуя, заметил ему: «Разогнали охранку! Кто теперь доставит сведения о планах большевиков? Никто! Без охранки, без шпиков, которых вы ненавидели, вы даже не знаете, что будет завтра, что нового выкинут большевики!» – «А что вы предлагаете?» – поинтересовался Александр Федорович. «Создать

специальное фискальное ведомство!» – рявкнул Пуришкевич. – «Никогда!» – от негодования вспыхнул Керенский, услышав в ответ ехидный смешок собеседника, которого считал закоренелым реакционером, но с которым в какой-то мере считался, зная, что у него есть единомышленники и, согласно законам демократии, они могут быть представлены в Учредительном собрании, если их туда выберут.

У входа в Зимний Керенский отпустил прапорщиков домой, но они остались в вестибюле.

– Ко мне могут прийти… – замялся он.

– Не извольте беспокоиться! – заверили его прапорщики. Они знали, что он встречается с прелестной молодой женщиной. Но Александр Федорович недоумевал, откуда об этом известно поэту Александру Блоку. В одной небольшой компании он проговорился, что у Керенского роман с юной актрисой Тиме. Слава богу, слух не распространился. Пришлось позвонить Блоку. Поэт смутился, немедленно извинился. Александр Федорович не хотел травмировать жену и давать козыри врагам, которые тут же обвинили бы его в аморальности. И первым – Ленин. И вроде пока свои, правые эсеры, глядевшие в сторону большевиков, при необходимости не упустили бы случай дискредитировать лидера.

Тиме была очаровательна и умна. Ее притягательный взгляд, пылающее страстью тело уводило его от тревожных мыслей и бесконечных забот. Пусть на несколько часов, но это было время счастья. Они любили друг друга. Именно с ней Александр Федорович познал всю глубину этого прекрасного чувства. Оно возвращало ему силы, придавало смелость.

Генерал Воейков намекал в своих мемуарах на его роман с Тиме, говоря о том, что Керенский «добрался до „царской опочивальни“.

Даже его старый друг – поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус замечает: «Керенский точно лишился всякого понимания. Поддается всем чуть не по-женски. Развратился и бытовым образом. Завел (живет – в Зимнем дворце) „придворные“ порядки, что отзывается нещадным мещанством, parvenu». Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснодушия и наступили суровые будни. И опьянел он… не от власти, а от успеха в смысле шаляпинском… Он не видит людей… Он и Савинкова (назначил – помощником по военному ведомству) принял за верного, преданного ему и душой и телом слугу… И заволновался, забоялся, когда приметил, что Савинков не без остроты… Стал подозревать его… в чем?.. А тут еще миленькие «товарищи», эсеры. А Керенский их боится. Когда он составлял

последнее министерство, к нему пришла троица из руководства эсеровской партии с ультиматумом: или он сохраняет Чернова или партия эсеров не поддерживает правительство. И Керенский взял Чернова, все зная и ненавидя его. Да, ведь еще 14 марта, когда Керенский был у нас впервые министром юстиции тогда, в нем уже чувствовалась, абсолютно неуловимая, перемена. Что это было? Что-то… И это «что-то» разрослось…»

Сразу несколько обвинений. Действительно, Александр Федорович знал цену министру земледелия Чернову, открыто призывавшего крестьян: «Разоряйте помещичьи гнезда», потворствовавшего земельным беспорядкам, но отказать требованиям своей партии, лишиться ее поддержки считал невозможным. И перемена в его поведении, даже облике, «абсолютно неуловимая», постепенно происходила – не так легко шла революция, как он ожидал, его предавали люди, тот же Чернов, на солидарность которых с его политикой он рассчитывал, и поэтому стал более нервен, в его душе перемешались разочарование в людях и безудержная, как и прежде, вера в них, усилилось желание видеть их умными, добрыми и верными революционному долгу, единомышленниками, «поддавался всем чуть не по-женски», тому же Савинкову. Но гениальная интуиция и в этом случае не подвела Керенского, в девятнадцатом году Борис Викторович Савинков, он же писатель Ропшин (псевдоним придумала ему Гиппиус. – *В. С.*) был завербован большевиками, выдал им бывших однопартийцев-эсеров, оставшихся после Октября в России, и сам перебрался туда через окно в границе, устроенное ему советской разведкой. Судьба его оказалась трагичной и, как писали эмигрантские газеты, «Савинкова завербовали, а потом надули». Жизнь этого «бомбиста-аристократа» и своеобразного писателя интересна и поучительна, заслуживает подробного рассмотрения, но тем не менее нельзя не поражаться интуиции Керенского, узревшего в казалось бы яром и бескомпромиссном враге большевиков, а точнее в его характере – слабость, страх перед силой, уступив которой, может ей подчиниться, что с ним и случилось.

Зинаида Гиппиус соглашалась с Савинковым, когда он говорил, что для Керенского первое и самое важное – революция и лишь второе – Россия, а для Корнилова первое – Россия и второе – революция, и поэтому он, Савинков, хочет их соединить. Зинаида Николаевна, соглашаясь с ним, забыла, что Керенский мотался по стране, в ущерб своему отнюдь не крепкому здоровью, совершенно не заинтересованный материально, плыл на плотах-шитиках по суровой сибирской реке, чтобы добраться до Ленских

приисков и помочь униженным, бесправным и нищим рабочим. Для него люди были и остались Россией, ради их свободы и благоденствия ушел он в революцию. Поначалу громадный оглушительный успех сопутствовал его деятельности. Был ли он Шаляпинским, успехом актерским? В какой-то мере безусловно. Любой человек, выходящий на сцену и что-либо творящий на ней, независимо от своего желания приобретает качества актера, становится таковым в глазах зрителей. Но Керенский не обладал ни голосом великого певца, ни голосом и талантом драматических актеров. Его успех обуславливало то, что он говорил на сцене, и в меньшей степени – как говорил, а произносил он речи темпераментно, с большой экспрессией, с неудержимой уверенностью в мысли, которые излагал людям, и, как результат, – имел успех, равный шаляпинскому, но не актерский. Ленин издевательски обзывал Керенского «актеришкой» и по своему, по примитивно-большевистскому мышлению, был прав. Александр Федорович не был большим актером, но человеком светлого и доброго ума, зажигавшим сердца людей, мечтавших о свободной жизни. Он не «ослеп» в лучах славы, как думала Гиппиус, но не учел, что став известным человеком, приковал внимание обывателей, и они теперь следят за каждым его шагом, тем более после того, как он обосновался в царской спальне, где принимает юную и красивую актрису.

В конце пятидесятых Тиме приезжала в Москву с бригадой «Ленконцерта». Ей было уже под шестьдесят, она читала рассказ Бунина «Легкое дыхание». На сцене она преображалась, молодела, расходились морщинки на лбу, блестели глаза. Никому не приходило в голову, что она была любимой Керенского и любила его. Это спасло ее от самого худшего. А Керенский долго не мог забыть свою прелестницу. В Париже, в конце двадцатых, при встрече с князем Шаховским, бывшим министром Временного правительства последнего состава, они вспоминали Россию, своих любимых, оставшихся на родине, и переживали, что ничего не знают об их судьбе. Любимая князя Шаховского вышла замуж за молодого и талантливого артиста эстрады Петра Муравского, а Тиме, судя по тому, что ее фамилия не изменилась, осталась верна незабываемым счастливым дням, проведенным в любви с выдающимся человеком, которым для нее навсегда остался Александр Федорович. Князь Шаховской сказал ему, что подарил любимой бриллианты и если их у нее не реквизировали, то ей не грозит голод. Александр Федорович грустно опустил голову – он ничего не оставил любимой. Бриллиантов у него не было… И времени, возможности, чтобы позаботиться о ее будущем. Она выжила в Ленинградскую

блокаду, но он не знал об этом, не знал о ее чувствах к нему, поборовших голод и холод в осажденном городе.

Прапорщики почтительно встречали ее и отдавали ей честь. В своем кабинете ее ждал Александр, чувственный и благородный. «Тебя боготворит народ! Носит на руках!» – восторженно говорила она ему. «А я – тебя!» – поднимал он ее высоко-высоко. «Выше! – просила она. – Под самый потолок, где летают ангелы!» Александр становился на носки, до предела вытягивал руки, но чудесно расписанный потолок, казавшийся им небом, оставался недосягаем. «На небо мы всегда успеем! – говорила она ему. – Мне с тобою и на земле хорошо». Он, счастливый, пел ей арии из «Аиды». Иногда их голоса сливались в один. Их голоса, мысли, тела… Революция соединила их, и они, паря на крыльях любви, не ведали, что она и разлучит их навеки.

Он каждый раз тяжело расставался с любимой, не хотел, чтобы она уходила. Ночью ходить по улицам было небезопасно. Извозчики не работали. Ему казалось, что однажды она покинет его и не вернется. Или что-то случится с ним. Ведь на его жизнь уже покушались. И только случайно не учинили расправу. Он ехал на вокзал. Бандиты бросились за ним, но только увидели хвост уходящего поезда. Даже после этого он не увеличил охрану – в свободной стране люди не должны опасаться друг друга… Он редко называл любимую по имени. Она обижалась, пока не догадалась – почему.

– Меня зовут так же, как и твою жену! – улыбнувшись, заметила она. – Скромная женщина… Нигде не появляется.

– А ты?

– Я – всюду. Ну в театре, разумеется, едва ли не каждый вечер, я там служу. Была на выставке финских художников. На открытии. Пришел Милюков. Был в центре внимания.

– Павел Николаевич интересный человек.

– Но нашелся другой, который сорвал его выступление. Маяковский, ты не слышал, из поэтов-футуристов. Сначала он набросился на Бунина и громко спросил у него: «Вы меня очень ненавидите?» Бунин ответил: «Нет, слишком много чести для вас».

– Иван Алексеевич терпеть не может хамов, – заметил Керенский, – и меня не очень жалует. Считает, что я разбередил страну, нарушил налаженную жизнь. Какую жизнь? Которую он описывает в «Деревне»? Я ее перечитал дважды. Изумительное произведение. Он знает крестьян лучше, чем я. И, судя по его повести, не очень-то радостная у них жизнь… Кто-то должен ее выправить. В один-два дня, даже в год не получится. Вот соберем Учредительное собрание… Я за власть не держусь, честное слово.

Но должен довести страну до выборов… А там – как решит народ, так и будет. Кое-кто меня упрекает в том, что я расплодил Гоцев, Данов, Авксентьевых, Кишкиных… Кстати, неглупые люди. Их выдвинул народ, а не я назначил. Ивану Алексеевичу за письменным столом спокойнее рассуждать. Ну что ж, у него своя стезя, у меня – своя. Я был бы счастлив, если бы он помогал правительству, намекнул бы на это желание. Я поддержал бы его. Когда я был адвокатом, то считал, что защищаю Россию. Нет, только сейчас я прикоснулся к невиданной по трудности задаче. Иногда я задыхаюсь… От бессилия. Перехожу на крик. Вынужденно. Как ни странно, люди после этого меня внимательно слушают. Наверное, привыкли к окрикам городовых. Их они боялись. А меня… И превосходно! Нельзя жить в испуге. Пусть меня уважают. А главное, чтобы верили. И прочь, прочь сомнения в правильности пути! Бунин – живой классик, но он не верит в народ, в своих любимых крестьян, которые, по его словам, «всю жизнь видели только Осиновые Дворы… И не могут интересоваться другим и своим государством. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, – русской земли, а не только своей десятины». Я слышал, как Иван Алексеевич говорил это, записывал его наиболее удивительные для меня мысли о народе: «Младенцы, полуживотная тьма!.. Нет никого материальней нашего народа. Даже едя и пья, не преследуют вкуса – лишь бы нажраться… Попробуй-ка введи обязательное обучение! С револьвером у виска надо ими править». Это уже слишком! Как ты считаешь?

– Я как ты, – прижалась к нему любимая, – без кровопролития.

– Ты очарование, – обнял ее Александр Федорович. – У тебя завтра спектакль?

– Ага. Задержусь. Приду около одиннадцати. Сложный грим…

– Ты гримируешься? В твои-то годы?

– Роль требует. И еще. Твоя Брешко-Брешковская обратилась к молодежи: «Учите народ!» Ведь я еще молодежь. Но кто меня будет слушать? Голодный мужик в поддевке? Солдат в рваной шинели? Обросший щетиной?

– Спроси у Ивана Алексеевича, – серьезно сказал Керенский, – могу ответить тебе за него его же словами: «Злой народ. Участвовать в общественной жизни, в управлении государством не могут, не хотят за всю историю». А у меня они заседают в Советах, я веду с ними переговоры, с делегатами Совета крестьянских депутатов! Находим общий язык, видит Бог! Вот еще образумятся большевики… Я очень на это надеюсь. Общими усилиями можно повернуть Россию, только общими… Но извини,

милая, ты затронула мою самую больную тему. Мы так мало бываем вместе…

– Извини, дорогой, – говорит она и, обвивая его шею нежными руками, приближает к нему пылающие губы…

Это была одна из их частых встреч. После 6 августа они виделись реже. Александр Федорович почти не улыбался, его лицо стало нервным, говорил он задумчиво, иногда терял нить разговора. А еще 3 июля глаза его сияли. Он сказал, что восстание большевиков захлебнулось. Откупорил шампанское. Разлил по фужерам: «За победу!» – «За победу! – улыбнулась она и как бы между прочим поинтересовалась: – А что с Лениным?» – «Да ничего, – беспечно ответил Александр, – бежал куда-то».

Теперь известно, куда и как Ленин бежал. Но что было причиной его поспешного исчезновения? В своих мемуарах Керенский описывает предысторию побега, основываясь на документах Гуверовского института войны, революции и мира, полученных в Америке после 1940 года.

Еще в письме Горькому 25 января 1913 года Ленин писал: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой, но маловероятно, чтобы Франц-Иозеф и Николаша доставили нам такое удовольствие». Он полагал, что поражение России ускорит наступление мировой революции, а победить Россию может только Германия и поэтому долг каждого революционера помочь ей в этом деле. Керенский приводит стенограмму беседы Ленина со своим старым другом П. А. Соломоном, которая произвела на последнего «самое удручающее впечатление. Это был сплошной максималистский бред».

«– Скажите, мсье Владимир Ильич, как старому товарищу, – сказал я, – что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров „Утопия“, только в колоссальном размере? Я ничего не понимаю.

– Никакого острова «Утопия» здесь нет… Отныне Россия будет первым государством с осуществленным в ней социалистическим строем… А… Вы пожимаете плечами? Ну, так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать, – это только этап, через который мы проходим к мировой революции!»

Для любого здравомыслящего человека это заявление выглядело как чистейший «максималистский бред», но отнюдь не для толпы, которой разрешили «грабить награбленное» в своей стране и обещали устроить нечто похожее во всем мире.

Александр Федорович вспоминал, что Ленин задолго до смерти страдал прогрессирующим параличом, и думал, что, наверное, это заявление и подобные ему были спорадическими

проявлениями его болезни.

Среди архивов германского министерства иностранных дел Керенский нашел интереснейшие исторические документы. 15 августа 1917 года германский посол в Дании граф Брокфорд-Рантшау отправил в Берлин сенсационную депешу, в которой сообщал, что в сотрудничестве с доктором Гельфандом (Парвусом) «разработал замечательный план по организации в России революции», добавляя в конце депеши: «Победа и последующее мировое господство за нами, если вовремя удастся революционизировать Россию и тем самым развалить коалицию». План был одобрен в Берлине самим Вильгельмом. 3 декабря 1917 года министр иностранных дел Германии барон фон Кюльман обратился к кайзеру с таким посланием: «…необходимо всячески содействовать сепаратистским тенденциям и оказывать поддержку большевикам. Ведь пока они не стали получать от нас по разным каналам субсидии, то не имели возможности создать свой главный печатный орган „Правду“, чтобы вести действенную пропаганду и существенно расширить до того времени узкую базу своей партии».

Общая сумма денег, полученных большевиками от немцев до и после захвата ими власти, определена профессором Фрицем Фишером и составляет восемь миллионов марок золотом.

28 февраля Ленин узнал о начале революции в Петрограде. Не верил случившемуся. Был растерян. Поэтому не мог решить, как вести себя в новой ситуации, пока не определил главного своего врага и не развернул против него широкую пропаганду: Керенский – «самый опасный человек для революции», «малейшая доверчивость к Милюкову и Керенскому (пустому болтуну, агенту русской империалистической буржуазии) была бы прямо губительна для рабочего движения и нашей партии». Керенский подумал: «Если я пустой болтун, то что меня бояться? Видимо, сам Ленин пакостный болтунишка. Народ за ним не пойдет».

В середине апреля в Петроград прибыл французский министр военного снабжения Альбер Тома. Он передал князю Львову в высшей степени важную информацию о связях большевистской группы во главе с Лениным с многочисленными немецкими агентами. Князь Львов поручил расследовать это дело Некрасову, Терещенко и Керенскому.

Расследование близилось к успешному завершению, министру юстиции Павлу Николаевичу Переверзеву были выданы документы для проведения необходимых арестов. Давалось ли указание на арест Ленина? Нет. Это, возможно, был один из самых кульминационных моментов революции. Лишь немедленный арест Ленина мог помешать развитию

большевистской бури. Слишком силен был как организатор этот заправский демагог, и если говорить о роли личности в истории, то он был выдающимся параноидальным дьяволом, неменьшим, чем Гитлер, не говоря уже о своем верном ученике – Сталине. В политической сущности этих вождей прекрасно разобрался Александр Федорович Керенский, но уже спустя много лет, афористически объясняя цель мирового господства: «Людендорф мечтал о военной мировой гегемонии Германии над капиталистическими странами (эту попытку предпринял Гитлер. – *В. С.*), а Ленин – о политическом объединении всех стран как социалистической системы. В Германии решили создать тотальную диктатуру под эгидой расы, а в России – под эгидой класса. И та и другая диктатуры основывались на полном и фактическом отказе от прав человека, его духовной и созидательной свобод. Любая система, как бы она ни была совершенна и прогрессивна, социально-экономически разработана, без личной индивидуальной свободы, волеизъявления каждого человека, обязательно превращается в диктатуру». Александр Федорович предвидел Вторую мировую войну за раздел мира, военные и прочие диктатуры, возникновение тотальной системы в России… Об этом он писал… Увы, позднее 1917 года. (Это фрагмент из брошюры, написанной им и хранящейся в его личном архиве в библиотеке Гуверовского института. Архив содержится в легком деревянном ящике, состоит из этой брошюры, напечатанной на английском языке, и писем к Керенскому, в основном от его друзей из Франции.)

4 июля вооруженные толпы солдат и матросов окружили Таврический дворец. Восстание показалось Переверзеву и его помощнику столь угрожающим, что они опубликовали в печати заявление о связях организаторов демонстрации с немцами: «Согласно только что поступившим сведениям… военной цензурой обнаружен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного характера между германскими агентами и большевистскими лидерами Стокгольма и Петрограда: в Стокгольме – большевик Я. Фюртенберг (Ганецкий) и Парвус, в Петрограде – большевик, присяжный поверенный М. Ю. Козловский и родственница Ганецкого Суменсон. Козловский являлся получателем немецких денег, переводимых из Берлина в Стокгольм, откуда на Сибирский банк в Петроград, где в настоящее время на его счету находится выше 2 млн».

Переверзев до Февральской революции был адвокатом, затем входил в одну с Керенским партию эсеров, был его большим другом. Писательница Нина Берберова считает, что он «сыграл роковую роль в обнародовании материалов». Роковую для кого?

Судя по всему, для своего друга – Керенского. Он передал ему эти материалы, полученные от Альбера Тома. И разумеется, даже у сторонников Керенского возник вопрос: почему он не огласил их прежде, почему упустил Ленина?

Александр Федорович через многие годы объяснит свои ошибки: «мы были наивны», «не хватило твердости». А на вопрос поэта Андрея Вознесенского: «Как вы относитесь к Ленину?» – он ответит: «Как к гимназисту-однокашнику». Не скрывается ли за этим снисходительность к своему бывшему земляку? И без сомнения, в душе теплилась надежда на объединение всех демократических партий, желание сохранить право большевиков, поддерживающих создание Учредительного собрания, на вхождение в него. Александр Федорович насколько мог оттягивал арест лидера большевиков, будучи уверен, что, если понадобится, он сам явится в суд.

В тот же вечер, 4 июля, состоялся короткий телефонный разговор между главным прокурором апелляционного суда в Петрограде Н. С. Каринским и близким другом и соратником Ленина Бонч-Бруевичем, возможно не без согласия Керенского. (Каринский был назначен на пост прокурора Временным правительством и в симпатиях к большевикам, тем более к Ленину, не замечен.) Вот как описывает разговор Владимир Бонч-Бруевич в книге «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций» в 1931 году.

«Я звоню вам, – сказал он (Каринский. – *В. С.*) мне, – чтобы предупредить вас: против Ленина здесь собираются всякие документы и хотят его скомпрометировать политически. Я знаю, что вы с ним близки. Сделайте отсюда какие хотите выводы, но знайте, что это серьезно и от слов скоро перейдут к делу.

– В чем же дело? – спросил я его.

– Ленина обвиняют в шпионаже в пользу немцев.

– Но вы понимаете, что это самая гнусная из клевет? – ответил я ему.

– Как я понимаю, это в данном случае все равно. На основе этих документов будут преследовать всех его друзей. Преследование начнется немедленно. Я говорю это серьезно и прошу вас немедленно же принять серьезные меры, – сказал он как-то глухо, торопясь. – Все это я сообщаю вам в знак нашей старинной дружбы. Более я ничего не могу вам сказать! До свидания. Желаю вам всего наилучшего. Действуйте…»

Бонч-Бруевич тут же сказал об этом Ленину, и тем же вечером 4 июля тот вместе с Зиновьевым исчезли из Петрограда. 27 июля, после того как в газетах были полностью опубликованы все обвинения, Ленин в газете «Рабочий и солдат» со свойственной

ему изворотливостью писал, что обвинения в его адрес сфабрикованы в духе дела Бейлиса, «прокурор играет на том, что Парвус связан с Ганецким, а Ганецкий связан с Лениным! Но это прямо мошеннический прием, ибо все знают, что у Ганецкого были денежные дела с Парвусом, а у нас с Ганецким – никаких». Ленин преднамеренно не коснулся той части обвинения, где отмечалось, что во время обыска в особняке известной балерины Кшесинской, являвшемся штаб-квартирой большевиков, следователи обнаружили телеграммы Ганецкого к Ленину, связанные с финансовыми вопросами. Как говорил Ленин, «факты – упрямая вещь», и, понимая, что они не в его пользу, он покинул пределы страны и не явился на суд. Однако, как признал Керенский, он быстро «оправился от нанесенных ударов» и обратился к большевистской партии с новой директивой в статье «К лозунгам», где писал, что отныне пролетариат может взять власть только вооруженным путем, изображал Временное правительство как кучку махровых революционеров: «…надо говорить народу правду: вся власть в руках военной клики Кавеньяков (Керенского, неких генералов, офицеров и т. д.), коих поддерживает буржуазия как класс. Эту власть надо свергнуть. Без этого все фразы о борьбе с контрреволюцией пустые фразы». (Генерал Луи Кавеньяк жестоко подавил восстание рабочих в Париже.)

Провал попытки Ленина захватить власть 3 июля стал огромной неудачей для немцев. Отчаяние было настолько велико, что в германском Генеральном штабе выдвинули идею о заключении мира с Временным правительством. На Керенского вышел доктор Рунеберг, прибывший из Финляндии со специальным посланием от германского руководства. Сам факт обращения вызвал у Керенского возмущение. Он просил информировать переговорщика: тот «может, если пожелает, приехать и встретиться со мною, однако я тут же распоряжусь об его аресте».

Не было ли это новой ошибкой Керенского? С одной стороны, он выполнял союзнический долг, а с другой – оставлял страну в состоянии войны и ослабления, позволил Ленину и далее трубить о переходе империалистической войны в гражданскую. С высоты лет Александр Федорович скажет, что в случае заключения сепаратного договора с немцами большевики никогда не захватили бы власть, «в конце концов Ленину, конечно, удалось подписать сепаратный мир, но это произошло слишком поздно, чтобы дать немцам возможность победить на англо-французском фронте». В душе и действиях Керенского победил честный, юридически грамотный человек, а не дальновидный политик-

приспособленец. Позднее, перед явной угрозой победы большевизма, он попытался переговорить с немцами о мире, был близок к успеху, но не более. И, несмотря на яростные нападки и оскорбления, он написал о Ленине то, что было: «Ленин не был немецким шпионом. Предательство Ленина было политической комбинацией для достижения его цели. Ленин был для немцев инструментом в попытке добиться мирового господства».

Жаркое лето… виделось удачливым Александру Федоровичу. Хотя во влажном и тяжелом для дыхания северном воздухе чувствовалась напряженность, парило так, что мог грянуть ливень или град с ураганным ветром. Александр Федорович, увлеченный работой, надеждами на развитие свобод, не замечал предпосылок к политическому ненастью.

Большевики в Советах, особенно в провинции, практически потеряли всякое влияние, и сами Советы, по твердому убеждению Керенского, сыгравшие свою роль после падения монархии, находились на грани самораспада. После выборов в местные органы самоуправления «существование Советов потеряло всякий смысл, в их работе не принимали участия ни слои интеллигенции, ни большинство рабочих». Но Керенский даже не помышлял официально ликвидировать Советы, видимо надеясь на их самоисчезновение, и созвал в Москве, более спокойном городе, чем Петроград, Государственное совещание, прошедшее в Большом театре 12–15 августа. Солдатам, охранявшим Большой театр, были розданы боевые патроны. В день открытия совещания в Москве бастовало четыреста тысяч человек. Москва оказалась далеко не такой мирной и спокойной, какой ее считал Керенский. Однодневную стачку, организованную большевиками, он назвал проявлением экстремизма, а другим его проявлением – приезд в Москву главнокомандующего генерала Корнилова.

На Александровском вокзале генералу устроили торжественную встречу, его вынесли из поезда на руках. «На вере в вас мы сходимся все, вся Москва», – приветствовал его кадет Родичев. Миллионерша Морозова упала перед генералом на колени. Наверное, права была Нина Берберова, говоря о «роковом» опубликовании документов, изобличающих Ленина в связях с Германией. Керенский «упустил» врага, и этого не могли ему простить ни военные, ни многие штатские люди, мнение которых по этому поводу ярко высказала Павла Тетюкова. «Страна искала имя», – так выразил генерал Деникин мнение недовольных мягкостью Керенского. Против него были генералы и правые кадеты, считавшие, что в наступившем моменте лучше опереться на человека сабли, чем на политика. Говорили о генерале Алексееве, адмирале Колчаке, но, когда Керенский

назначил Корнилова главкомом, толки прекратились. «Имя» было найдено. Джордж Бьюкенен написал: «Корнилов гораздо более сильный человек, чем Керенский; если бы он смог укрепить свое влияние в армии и если бы последняя стала крепкой боевой силой, то он стал бы господином положения». Генерал Брусилов, наблюдавший боевую деятельность Корнилова на войне, так аттестовал его: «Это начальник лихого партизанского отряда – и больше ничего». Командуя 8-й армией во время июньского наступления, он не смог закрепить первоначальный успех, не успел выполнить распоряжения фронта, свалив вину за неудачу на революцию. В этом его поддержали комиссар армии морской инженер штабс-капитан Филоненко и комиссар фронта Б. В. Савинков – правый эсер, требующий «твердой власти». Морали нет, есть только красота, писал он, автор известного романа «Конь бледный». Следуя своему лозунгу, он был завербован большевиками и погиб от их же руки. Ему принадлежат слова, восхваляющие генерала Корнилова: «С назначением генерала Корнилова главнокомандующим войсками Юго-Западного фронта стала возможна планомерная борьба с большевиками».

Политические сподвижники всячески рекламировали генерала, создавали тайные союзы, готовые поддержать его. В большом количестве была издана брошюра «Первый народный главнокомандующий генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов».

10 августа Корнилов вручил Керенскому свою программу. Но Керенский медлил с ответом. «Там был изложен целый ряд мер, – объяснял свое колебание Керенский, – в огромном большинстве вполне приемлемых, но в такой редакции и с такой аргументацией, что оглашение ее привело бы к обратным результатам».

Каждый день в истории страны, которую Керенский хотел сделать демократической, не уступающей ни в чем из свобод и законов самым цивилизованным странам, заслуживает пристального внимания и изучения, увы, опыт чего не был использован демократами будущих поколений. Поэтому очень ценны воспоминания очевидцев событий тех исторических дней, пусть в чем-то субъективные, но тем не менее интересные. Гиппиус записала в дневнике: «Совещание в Москве открылось (там – частичная забастовка, у нас в Петербурге – тихо). Керенский сказал длинную речь – обыкновенную свою речь, пафотическую, местами недурную. Только уже не современную, ибо опять не деловую, а „праздничную“ (Праздник у нас, подумаешь!).

Часто я видела летний Петербург. Но в таком сером,

неумытом и расхлябанном образе он не был никогда. Кучами шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет. А побунтовать… Это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого… Московское совещание, по-видимому, скрипит и трещит. Факт тот, что Корнилов торжественно явился в Москву, не встреченный Керенским и даже будто бы вопреки категорическому приказу Керенского не являться, – торжественным кортежем проследовал к Иверской, и толпы народа кричали «ура». Затем он выступал на совещании. Тоже овация. А кучке, демонстративно молчащей, кричали: «Изменники! Гады!» Впрочем, тут же и Керенскому сделали овацию. Керенский – вагон, сошедший с рельсов. Вихляется, качается, болезненно, и – без красоты малейшей… Я его любила прежним (и не отрекаюсь), я понимаю его трудное положение, я помню, как он в первые дни свободы «клялся» перед Советами быть всегда с «демократией», как он одним взмахом пера «навсегда» уничтожил смертную казнь… Его стали носить на руках. И теперь у него, вероятно, двойной ужас, и праведный и неправедный, когда он читает ядовитенькие стишки в поднимающей голову «Правде»: «Плачет, смеется, в любви клянется, но кто поверит тот ошибется…» Праведный ужас: ведь если соединиться с Корниловым и Савинковым, ведь это измена «клятвам Совету», и опять «смертная казнь» – «измена моей весне». Я клялся быть с демократией, «умереть без нее» – и должен действовать без нее, даже как бы против нее. В этом ужасе есть внутренний трагизм, он не последний. Перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или впредь вместе с Корниловым, или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто: вот какой момент, вот что требуется, но я этого не вмещаю и потому ухожу. Уже не бутафорски, а бесповоротно, по-человечески… Я боюсь, что оба пути слишком героичны для Керенского. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить тленье… Понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко – РОССИЯ?»

Можно ли полностью согласиться с такой оценкой Зинаидой Гиппиус действий Керенского? Ведь она знала, что он не сидит без дела, что-то предпринимает для выхода из кризиса, ищет, ведет переговоры, радуется, разочаровывается и снова ищет. По его приказу вскоре после июльских дней закрывают и арестовывают «Правду». Крестник Зинаиды Николаевны в литературе, Борис Викторович Савинков – поэт и прозаик Ропшин, «томится от безделья» и часто ездит по вечерам в клуб

деятелей искусства и писателей «Привал комедиантов». (Замечу, что организованная на нынешнем телевидении передача с точно таким же названием, аполитичная и несерьезная, не имеет ничего общего с кипящим страстями, умном и не равнодушным к судьбе страны тем «Клубом». – *В. С.*) Если у Керенского образуются часы для отдыха, то он старается уснуть, пытается дать отдых сознанию и телу, но работающее подсознание, не дремлет, мешает сну. Зинаида Николаевна пытается в своем дневнике забыть о Керенском – «хватит о нем», но через несколько страниц или даже абзацев он снова возникает: «Как все странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя – …нельзя! Ведь душа, *неисцельно* потерянная, умрет в крови. И надо! – твердит глубина неизмеренная моей любви». Есть души, которые, услыхав повелительное «Иди убей!», – умирают, не исполняя!.. Керенский говорил, что хочет стать министром без портфеля, что так лучше… Конечно, так всего лучше, но это смягчение форм, которые для Керенского не свойственны. Пусть он отдает себя на дело нужное, положит на него свою душу. Такая душа спасется и спасет, ибо это тоже героизм». В минуты глубокого проникновения в суть происходящего, в минуты прозрения автор дневника не разочаровывается в своем кумире, ищет вместе с ним спасения в опасной ситуации, возникшей в стране, впервые пошедшей по неизведанной дороге свободы, и не говорит, но, наверное, понимает, что на все поиски и муки Керенский пошел бесповоротно и не ради личных амбиций, а ради спасения свободной России.

Выступая на совещании, Керенский говорил об угрозе «и слева и справа». Какая из них опаснее? В данный момент «справа», – решил он, имея в виду корниловские претензии на власть в стране, хотя его раздражал вроде бы «свой» министр земледелия Чернов, навязанный ему соратниками по партии, мешал Милюков, продолжавший настаивать на необходимости России взять под контроль Константинополь и проливы, то есть захватить их, лишний раз давая возможность большевикам объявить Временное правительство империалистическим. И все это на фоне продолжения войны, экономической разрухи. И нередко бывали случаи, когда Александра Федоровича охватывало отчаяние – с кем посоветоваться, на кого опереться? На Савинкова? Кажется ненадежным. К тому же его ненавидят товарищи по партии – эсеры. Чернов весьма активен, может произнести в день свыше десятка речей, призывая крестьян к захвату «дворянских гнезд», снискал популярность у люмпенов, в основном – у бездельников и пьяниц. «Чернов – негодяй,

которому мы за границей руки не подавали», – замечает о нем Гиппиус, – громадное большинство в центральном комитете партии эсеров или дрянь, или ничтожество. Масловский – форменный провокатор. Но его оправдали большинством двух голосов. Многие – просто германские агенты, получающие большие деньги. Но мы молчим…»

Молчал и Керенский, подчиняясь решениям большинства своей партии. «Вижу полную картину слепого „партийного“ плена, добровольного кандального рабства. Наивное торжество – вся Россия стала эсеровской! Все „массы“ с нами!» – возмущенно замечает в дневнике Гиппиус; она посылает письмо Керенскому, пусть почитает, задумается. И вот в ее доме раздается стук в дверь, хозяева отсутствуют и на стук отзывается близкий человек Зинаиды Николаевы – Дима. Рассказ записан с его слов.

«– Кто там?

– Министр.

Дима не узнает голос. Открывает дверь. Стоит шофер, в буквальном смысле слова: гетры, картуз. Оказывается Керенским.

Керенский. Я к вам на одну минуту…

Дима. Какая досада, что нет Мережковских, они сегодня уехали на дачу.

Керенский. Вы им передайте, что я благодарю их за письмо.

Дима. Письмо короткое, но это итог долгих размышлений.

Керенский. А все-таки оно недодумано. Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, и от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Я хочу идти посередине, а мне не помогают.

Дима. Но выбирать надо. Или вы берете на себя перед «товарищами» позор обороны и тогда гоните в шею Чернова, или заключаете мир. Думаю, что мир придется заключить.

Керенский. Что вы говорите?

Дима. Когда войну мы вести не можем и не хотим, нечего разбирать, кто помогает, а вы боитесь большевиков справа.

Керенский. Да потому, что они идут на разрыв с демократией. Я этого не хочу.

Дима. Нужны уступки. Жертвуйте большевиками слева, хотя бы Черновым.

Керенский (*со злобой*). А вы поговорите с вашими друзьями. Это они посадили мне Чернова. Он – мне навязан, а большевики все больше поднимают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи из «Новой жизни» (газета Чернова. – *В. С.*), а о рабочих массах.

Дима. Так принимайте же меры! Громите их! Помните, что вы всенародный президент республики, что вы над партиями, что вы избранник демократии, а не социалистических партий!

Керенский. Ну, разумеется, опора в демократии, да ведь мы ничего социалистического и не делаем. Мы просто ведем демократическую программу.

Дима. Ее не видно. Она никого не удовлетворяет.

Керенский. Так что делать с такими типами, как Чернов?

Дима. Так властвуйте же наконец! Как президент – вы должны составить подходящее министерство.

Керенский. Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет.

Дима. Не бойтесь. Вы для нее символ свободы и власти!

Керенский. Я не боюсь. Я не хочу, я не должен идти на поводу у толпы. Да, трудно, трудно… Передайте привет Мережковским…»

Тем не менее, несмотря на все трудности, Керенский не отступает от своих целей. Его вдохновляли моменты, когда тысячи людей, сидящих в зале Большого театра, «демонстрировали единодушную преданность новому государству», когда «после бурных дебатов между представителем от социалистических партий Церетели и представителем крупного промышленного капитала Бутликовым оба двинулись навстречу друг другу и после сердечного рукопожатия высказались за классовое перемирие во имя интересов родины».

Керенский знал о готовящемся заговоре военных, даже имена его главарей, но решил не травмировать страну рассказом о нем, «находящемся в стадии подготовки», знал, что его возглавляет человек, которого он назначил главнокомандующим. Это было не первое предательство людей, которым он верил, даже тех, которым спасал жизни. И тогда он не произвел аресты, лишь заметил генералу Корнилову: «…если какой-нибудь генерал рискнет открыто выступить против Временного правительства, то окажется в вакууме, где нет железных дорог и средств связи…»

Так и произошло. «Попытка захватить власть путем молниеносного переворота в Петрограде в ночь на 27 августа была пресечена без единого выстрела», – не без удовольствия отметил в своих мемуарах Александр Федорович. Он считал, что поступил правильно и своевременно, объявив Корнилова мятежником и заговорщиком. Он наверняка уничтожил бы все завоевания демократии, свернул реформы и установил железную диктатуру. Очевидец тех событий свидетельствует: «Правительственные войска» (тут ведь не немцы, бояться нечего, весело бросились разбирать железные дороги, подступы к Петрограду», Красная гвардия бодро заворужалась, кронштадцы («краса и гордость русской революции») прибыли немедля для охраны Зимнего дворца и самого Керенского – с крейсера

«Аврора».

Александр Федорович обрадовался этому факту, укрепившему его уверенность в том, что большевики дождутся выборов в Учредительное собрание, коему доверят выбор власти, поэтому и пришли на помощь Временному правительству. Он даже не мог подумать, что они смертельно боятся Корнилова, его властности и непримиримости к ним и, будучи в то время не в силах сами справиться с генералом, пришли на помощь Керенскому.

Не известно кто торжественно бросил клич: «Полная победа петроградского гарнизона над корниловскими войсками». Военного столкновения не было. «Кровопролития», которого более всего страшился Керенский, не вышло. Корнилов даже не выезжал из Ставки. Его войска и петроградцы «встретились под Лугой, недоуменно посмотрели друг на друга и, помня уроки агитаторов на фронте, что „с врагом надо брататься“, принялись и тут жадно брататься» (дневник Зинаиды Николаевны Гиппиус). Но нельзя не заметить, что угроза демократии со стороны генерала Корнилова все-таки существовала и немалая. О готовящемся перевороте иронично и вместе с тем серьезно позднее написал Дон Аминадо: «Государственным переворотом называется такое явление, когда все летит вверх тормашками… Не меньшую подвижность обнаружили в свое время русские пейзане.

– Сенька, подержи мои семечки, я ему морду набью.

В этих простых словах ясно чувствуется отвращение к парламентаризму.

В приличном обществе принято, чтобы перевороты производились генералами. Если генерала нет, то это не общество, а черт знает что».

С опасностью справа Керенский вроде бы управился, но большевики – опасность слева – поднимают голову. Усталость людей от войны и разрухи в стране пополняют число недовольных положением и главой Временного правительства. Даже товарищ по партии эсеров, давняя подруга, умная интеллигентная поэтесса Зинаида Гиппиус, предрекает крах министру-председателю: «Керенский стал снова тяпать коалицию… Большевики требуют „всех долой“: кадетов и буржуазию немедленно арестовать; генерала Алексеева, который послан арестовать Корнилова, – арестовать и т. д. Теперь их требования фактически опираются на Керенского, который сам опирается… на что? На свое бывшее имя, на свою репутацию в прошлом? Оседает опора… Дело идет к террору. Я сказала, что теперь „всякий будет лучше Керенского“. Да, „всякий“ лучше для

борьбы с контрреволюцией, т. е. с большевиками… „Краса и гордость“ непрерывно орет, что она спасла Временное правительство, чтобы этого не забывали и по гроб жизни были ей благодарны. Кто, собственно, благодарен – не известно, ибо никакого прежнего правительства нет, один Керенский. А Керенского эта „краса“, отнюдь не скрываясь, хочет съесть». Вынужденный постоянно заботиться о соблюдении законности в стране, даже в отношении посягающих на завоеванные свободы, не замечал жары в то лето, ни ее каверзного зноя, ни редких перепадов температуры общественного мнения, – он жил, пусть не безошибочно, той жизнью, о которой мечтал, к которой стремился.

Ему даже показалось, что налаживается семейная жизнь. Он взял к себе в помощники брата Ольги – полковника Барановского, сметливого и преданного человека. Забежал домой за сменой белья и встретил радостную Ольгу. Никаких претензий она ему не предъявила.

– Я очень ждала тебя, – сказала она, целуя его в щеку, – ты занят, знаю. Даже не представляю, как ты справляешься со всем, всюду успеваешь. Я достала тебе настойку из трав. Помогает горлу. Нужно полоскать его после приема пищи.

– Спасибо, Ольга, – сказал он, пораженный ее заботой и не услышав обычных упреков. – Постараюсь полечиться. Если смогу. С режимом у меня плохо… Сложный распорядок дня и часто меняется.

– Знаю, – вздохнула она.

– Брат рассказал?

– Заходил. Он от тебя в восторге. Говорил, что ночуешь в кабинете. Работаешь допоздна.

Александр Федорович внимательно посмотрел на Ольгу и по ее беспечному, спокойному виду понял, что она ничего не знает о его романе с актрисой.

– Твой брат – умница. И настоящий служака! Собрал для меня данные о безрассудных самосудах – по всей стране. Зарегистрировано десять тысяч случаев. Только зарегистрировано. Я не ожидал такого зверства… Но буду докладывать об этом Государственному совещанию. Я обязан… Как бы ни было прискорбно… Мне сейчас, как никогда, нужны умные и деятельные помощники. Кое-кто поговаривает, что страна осталась без правительства. Ушли князь Львов, Гучков, Милюков… Их знали, им верили все… Терещенко, конечно, не Милюков… на посту министра иностранных дел. И вообще, Павел Николаевич фигура. Хотел сохранить монархию, слегка реформируя строй. Может, я поступил слишком резко… Я

ориентировался на интеллигенцию, здравомыслящих людей… На таких, как полковник Барановский. Я уверен, что шурин никогда не подведет меня. Он, как и я, болеет за революцию. Я однажды похвалил его, а он едва ли не обиделся на это. «Что вы, Александр Федорович, – говорит, – я исполняю свой долг. За что хвалить меня?!» Я сказал: «Отлично исполняешь». – «Стараюсь», – покраснел он. Скромный молодой человек.

– Уже полковник! – с гордостью произнесла Ольга.

– Революция вдохновляет молодежь. Генералу Саблину только двадцать лет! Виданное ли это дело – стать при царе генералом в столь юные года! Инспектировал училища юнкеров и прапорщиков. Замечательные ребята. Готовы отдать жизнь за революцию.

– Я тоже, – тихо произнесла Ольга.

Александр Федорович вздрогнул:

– А дети?

– Но я твоя жена. Я должна поехать на фронт сестрой милосердия, я уже все обдумала, – твердо вымолвила она.

От неожиданного и приятного удивления Александр Федорович даже забыл, зачем пришел домой, обнял жену.

– Саша! – нежно прижалась она к его груди, и он почувствовал себя весьма неудобно.

– Мне пора идти, – сказал он, будучи не в состоянии ответить на ее чувства. Он любил другую женщину.

– Время трудное, и тебе трудно, – грустно заметила Ольга, когда подняла голову, на ее ресницах блеснула слеза.

– Да, время, – смущенно согласился Александр Федорович.

Время закрутило его, сначала вдохновенно, а затем нанося удар за ударом, и у него с трудом находились силы, чтобы вынести их и не потерять достоинства. Развод с Ольгой он официально оформил только в начале тридцатых годов.

Выходя из дома, покидая детей, он подумал о том, что, наверное, никогда не разлюбил бы жену, если бы не революция, доверившая ему судьбу страны и опьянившая его бурными аплодисментами, радостью побед, пока их было больше, чем неудач, и, чего скрывать, от побед, аплодисментов у него порой кружилась голова. В этом состоянии его описал Иван Алексеевич Бунин, тонкий и проницательный художник: «Весна семнадцатого года. Ресторан „Прага“, музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли „Остру“. Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его,

бешено впивается ему в губы. Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

Эх, распошел,
Ты мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване».

Александр Федорович улыбнулся, вспомнив свое указание об ограничении продажи спиртного. Подобное и не раз случалось с выполнением его декретов. Что запрещено, того очень хочется. Он не обиделся на эту зарисовку Бунина. Писатель высказывался о нем и куда хлеще. Вот большевичка Коллонтай очень боялась, что ее не выберут в Центральный комитет большевиков после рассказа о ней Щепкиной-Куперник, к тому же воспроизведенного Буниным: «Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы – „на работу“. А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку – и шмыг с коробкою конфет в кровать ко мне: „Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!“ Особенно боялась заключения Бунина: „Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип преступниц и проституток“.

Александр Федорович нахмурился и вдруг покраснел, было отчего – ведь он своей амнистией выпустил на волю немало преступников, записавшихся в большевики. Прикрываясь демократическими фразами о поддержке Временного правительства, они тогда здорово надули министра юстиции, «толстого в плечах и локтях», кутившего на радостях в самом дорогом московском ресторане. А он не запретил большевистскую партию, хотя для этого были факты, доводы. Задолго до 3 июля. Прапорщик 16-го Сибирского полка большевик Ермоленко еще в апреле дал показания о том, что был переброшен германским командованием на фронт 6-й армии для агитации за заключение мира с Германией. Об этих показаниях было известно Александру Федоровичу еще до того, как они были опубликованы 5 июля в газете «Живое слово» социал-демократом и членом II Государственной думы Г. Алексинским и бывшим народовольцем В. Панкратовым. Почему он медлил? Соблюдал законность? Конечно. Само собой разумеется. Когда у него спросили в упор, почему он не арестовал Троцкого, ответил не сразу: «Потому что он не участвовал в июльском восстании».

Глава четырнадцатая
Царское дело. Корниловские волнения

Несмотря на чрезмерную занятость, еще одно важнейшее дело заботило Керенского, и его надо было завершить в это лето, – дело императорской семьи.

Первая встреча с бывшим царем состоялась еще в середине апреля в Александровском дворце Царского Села. Александр Федорович позвонил бывшему гофмаршалу двора графу Бенкендорфу и сказал ему, что желает встретиться с Николаем и Александрой Федоровной. От бывшего двора, от свиты, от фрейлин, многочисленной обслуги осталось лишь несколько человек. Тем не менее граф Бенкендорф с подчеркнутым величием напыщенно ответил: «Я доложу Его Величеству». Через несколько минут он торжественно объявил: «Его Величество милостиво согласился принять вас». То ли это была игра, то ли Николай еще находился в плену иллюзий, но выглядело это нелепо. Александр Федорович писал в мемуарах, что сделал все для падения империи, но теперь «не испытывал к поверженному врагу чувства мщения. Царя покинули почти все. У его заболевших детей даже не было собственной сиделки, и заботу о них взяло на себя Временное правительство. Александр Федорович хотел внушить царю, что революция великодушна и гуманна к своим врагам не только на слове, но и на деле. За сохранность жизни царя ответственно поручился еще князь Львов. Проведенное юридическое расследование показало, что ни перед войной, ни во время войны Николай II не совершил предательства в отношении своей страны. Иначе он был бы отдан под суд.

Встречу с царем Александр Федорович ожидал с некоторым волнением, не зная, как поведет себя царь – злобно, или доброжелательно, или как-то еще. Керенский был участником и единственным очевидцем этой встречи: «Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна. От этой группы отделился невысокий человек в военной форме. Это был Николай II. Он тоже волновался, не зная, как я поведу себя с ним. Я быстро подошел к нему и с улыбкой протянул руку, отрывисто произнося, как всегда при знакомстве: „Керенский“.

Царь крепко пожал мне руку, в ответ тоже улыбнулся и повел меня к семье. Его сын и дочери, не скрывая любопытства, внимательно смотрели на меня как на «ужасного

революционера». Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотя, словно по принуждению, протянула свою руку. В этом проявилась разница в характере и темпераменте жены и мужа. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна умна и привлекательна, хотя и сломлена сейчас, и раздражена, обладает железной волей. В те несколько секунд мне стала понятна та трагедия, которая в течение многих лет развивалась за дворцовыми стенами.

Я сообщил членам семьи, что их родственники за границей беспокоятся об их благополучии, и обещал передать им любые послания, если они будут. Спросил: нет ли жалоб, в чем есть необходимость? Николай II поинтересовался военной ситуацией и пожелал мне успехов на новом и ответственном посту. Такова была моя первая встреча с Николаем «Кровавым». После ужаса многолетнего правления большевиков этот эпитет потерял всякий смысл. Тираны, пришедшие на смену Николаю II, вызвали куда большее отвращение, поскольку были виноваты в совершении преступлений против своих собратьев.

Склад ума и обстоятельства жизни царя обусловливали его полную оторванность от народа. Получаемые доклады не доносили до него боли и страдания жертв. С детства ему внушали, что его благо и благо страны – одно и то же, а потому «вероломные» крестьяне, рабочие, солдаты, которых казнили и отправляли в ссылку, казались ему чудовищами, которых надо уничтожить ради интересов страны и его верноподданных.

Николай II с его ясными, голубыми глазами, прекрасными манерами и благородной внешностью представлял для меня полную загадку. Или был опытным актером и искушенным лицемером? Или просто унаследовал обаяние от своего деда Александра II и умело пользовался им? Или был безобидным простаком, находящимся под каблуком у жены, которой вертят все остальные. Представляется непостижимым, чтобы этот вялый, сдержанный человек был царем всей России, царем Польским, Великим князем Финляндским и т. д., и т. д. и правил огромной империей 25 лет. Не знаю, как он выглядел, будучи правящим монархом. Но сейчас, после революции, был испуганным и обезоруживающе обаятельным».

Керенский назначил новым комендантом Александровского дворца полковника Коровиченко, военного юриста, ветерана японской и европейских войн, человека мужественного и прямого. Нельзя было оставить императорскую семью на попечении горстки придворных да стражи, не спускающей с нее глаз. Коровиченко укрепил охрану, содержал узников в полной изоляции и сумел внушить им уважение к новой власти.

После поездок в Царское Село Керенский понял, что никто не интересует царя, кроме сына и дочерей. За его улыбкой и благожелательностью скрывалась холодная маска одиночества и отрешенности. Он не хотел бороться за власть, выпавшую из его рук, – «он сбросил эту власть, как когда-то снимал военную форму, меняя ее на домашнее платье. Он заново начинал жизнь – жизнь простого, не обремененного государственными заботами человека». Старая госпожа Нарышкина передала Керенскому слова Николая: «Как хорошо, что не надо больше присутствовать на утомительных приемах и подписывать бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми».

Царь действительно пребывал в нормальном расположении духа, колол дрова и складывал их в парке в поленницы, занимался садовыми работами, катался на лодке, играл с детьми.

Жена царя остро переживала утрату власти и никак не могла свыкнуться с новым положением. С ней случались истерические припадки, ее мучил частичный паралич. «Такие, как Александра Федоровна, никогда ничего не забывают и не прощают», – писал Керенский. Опасаясь ее давления на мужа, он распорядился на время следствия разлучить супружескую пару, разрешив им встречаться только за завтраком, обедом и ужином с условием «в разговорах не касаться проблем прошлого».

Однажды Александра Федоровна, запинаясь, с сильным акцентом обратилась к Керенскому. Лицо ее вспыхнуло, и она возбужденно заговорила: «Не понимаю, почему люди плохо говорят обо мне. С тех пор как приехала сюда, я всегда любила Россию, я всегда сочувствовала России. Почему же люди считают, что я на стороне Германии и наших врагов. Во мне нет ничего немецкого. Я англичанка по образованию. Английский – мой язык». Она настолько разволновалась, что далее говорить с ней было невозможно.

Керенский передал царю, что предстоит расследование и не исключено, что Александру Федоровну будут судить. Царь в ответ ограничился репликой: «Что же, никогда не поверю, что Алиса замешана в чем-то плохом против России. Имеются ли какие-нибудь доказательства?» Керенский ответил: «Пока не знаю». Из отдельных фраз Николая можно было понять, что он ненавидит Гучкова, считает недалеким человеком Родзянко, не может себе представить, кто такой Милюков, высоко ценит генерала Алексеева, уважает князя Львова. Лишь однажды Николай потерял над собой контроль, когда Царкосельский Совет последовал примеру Петрограда и устроил официальные похороны жертв революции. Проходили они по центральной аллее парка против окон тех комнат, которые занимала царская

семья. Он с ужасом и мучением смотрел, как его бывшие караульные отдают последние почести павшим борцам за свободу, обхватил голову руками и отошел от окна.

«Пример Петрограда» вызвал ужас и возмущение Ивана Алексеевича Бунина, беспощадного критика безрассудных, с его точки зрения, перемен в жизни страны: «Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как немое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гробы почему-то красные и противоестественно захоронены в самом центре города живых!.. Из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь…»

Бунин вспоминал слова Толстого о том, что у него фантазия, воображение сильнее, чем у других, и считал, что такая же беда у него. Интересно, какие чувства, не «бунинские» ли, овладели царем при похоронах в царскосельском парке. Керенский считал их печальной, но новой традицией революции.

4 марта правительство получило от бывшего царя записку с просьбой обеспечить ему и семье безопасный проезд в город Мурманск (еще недавно – Романов) для отъезда в Англию. Милюков по этому поводу встретился с английским послом 10 марта. Посол сообщил о положительном решении своего правительства. Однако организовать немедленный отъезд царской семьи было невозможно: все дети были больны ветрянкой, к тому же безопасность проезда не гарантировалась.

А тем временем ситуация в Лондоне изменилась. Предоставление убежища русскому царю и его семье стало достоянием гласности. В левых кругах палаты общин и в прессе последовали протесты. «Король Георг V, которого несправедливо сочли инициатором приезда, получил массу оскорбительных писем. Учитывая мнение общественности, 10 апреля он дал указание личному секретарю информировать русское правительство, что правительство Его Величества вынуждено взять обратно ранее данное согласие», – констатировал в своих мемуарах Керенский. Ему поручили передать это царю. Вопреки ожиданиям, он отнесся к этому спокойно и выразил желание вместо Англии отправиться в Крым. Поездка туда через районы с нестабильной обстановкой была крайне опасна. Поэтому Керенский предложил царю город Тобольск, с которым не было железнодорожной связи и куда не докатилась пропаганда большевиков. К тому же резиденция губернатора была вполне комфортабельна и удобна для проживания. Приготовление к

отъезду велось в обстановке тщательной секретности. Дата отъезда – 14 августа.

Ни Петроградский Совет, ни кто еще об этом не знал. Неизвестно, как бы на это отреагировали члены Совета. Царь был слишком одиозной и ненавистной для народа фигурой. Керенский объяснил царю положение дел, посоветовал готовиться к длительному путешествию и захватить побольше теплой одежды. Царь пронзительно посмотрел Керенскому в глаза и как можно увереннее произнес: «Я ни в малейшей степени не обеспокоен. Если вы говорите, что это необходимо, то так оно и есть». И добавил: «Мы верим вам». Потом, на мгновение задумавшись, повторил: «Мы верим вам».

Перед самым отъездом Николаю разрешили увидеться с братом – великим князем Михаилом. Керенский организовал эту встречу и присутствовал на ней. «Встреча братьев состоялась около полуночи в кабинете царя. Оба были очень взволнованы. Тягостные воспоминания о недавнем прошлом, видимо, угнетали их. Долго молчали. Каждый думал о своем. А может, стеснялся присутствия чужого человека. Затем возник случайный, малозначительный разговор. „Как Алиса?“ – обратился к брату Михаил. „Ничего“, – тихо ответил царь. Потом они снова стали друг перед другом, не в силах сосредоточиться на чем-либо серьезном, время от времени хватаясь за руку другого или за пуговицу мундира.

– Могу ли я видеть детей? – спросил у меня Великий князь.

– К сожалению, я вынужден вам отказать. Не в моей власти далее продлевать встречу, – ответил я.

– Ну что же, – сказал Великий князь брату, – обними их за меня.

Они начали прощаться. Я перешел в соседнюю комнату. Кто-то из наследников, видимо Алексей, шумно бегал по коридору. Поезд появился лишь на рассвете. Я впервые увидел царицу, как мать своих детей, взволнованную и рыдающую. Ее сын и дочери не столь эмоционально переживали отъезд, но тоже нервничали. Подали к подъезду машины. В сопровождении эскадрона казаков, часть впереди, часть взади, машины выехали из парка. Уже светило солнце. Но город, к счастью, еще спал. Подъехали к поезду. Проверили списки отъезжающих. Последние слова прощания, и поезд медленно отошел от станции. Ни у кого не мелькнуло даже подозрения, какой конец ожидает царскую семью».

Проверял списки лично Керенский. Он называл фамилию, и названный должен был ответить «я» или «здесь». Царь отозвался глухим «я», императрица – стоном. Для них беда началась уже

давно, и новый ее этап был унизительным. Неожиданным оказалось молчание цесаревича, когда Керенский назвал его имя. Мальчик глядел на него грустно, но горделиво. Его умные не по летам глаза не раз вспоминались Александру Федоровичу.

В доме, где расстреляли семью, потом был склад «Росигрушки», потом, сравнительно недавно, дом взорвали. Интересно воспоминание Троцкого о том, как принимали решение о расстреле: «Следующая моя поездка в Москву состоялась после падения Екатеринбурга. Разговаривая со Свердловым, я спросил между прочим: „Да, а где находится сейчас царь?“ – „С ним покончено, – ответил он. – Царь расстрелян“. – „А где семья?“ – „И семья вместе с ним“. – „Все?!“ – спросил я с явным изумлением. „Все, – повторил Свердлов. – Ну и что?“ Он ожидал моей реакции. Я не ответил. „А кто принял решение?“ – задал я вопрос. „Решение было принято здесь. Ильич посчитал, что нельзя оставлять белым живое знамя, вокруг которого они объединятся, особенно в нынешних трудных условиях“. Больше вопросов я не задавал».

Августовское похолодание не охладило страсти, бушующие в русском обществе.

23 августа в резиденции английского посла Джорджа Бьюкенена состоялась встреча, о которой Керенский узнал много лет спустя. К послу за материальной поддержкой обратились люди от лица генерала Корнилова, намеренные, по их словам, через три дня арестовать Временное правительство и распустить Петроградский Совет. Посол принял их приветливо, но сдержанно, в деликатной форме отказал в помощи. Не мог же он выступить против правительства, при котором был аккредитован.

26 августа Керенского посещает член Государственной думы Владимир Николаевич Львов. Он от лица Корнилова предупреждает Керенского, что в случае большевистского восстания правительство не должно ждать от него помощи, безопасность его членов и лично премьера-председателя не гарантируется. Далее, в более откровенном разговоре, Львов открывает планы Корнилова, по которым Временное правительство должно передать ему власть, а Керенскому предлагается пост министра юстиции в будущем составе кабинета. Перед уходом Львов, растроганный стойкостью и выдержкой Керенского, говорит ему: «Они устраивают вам ловушку. Они арестуют вас. Уезжайте из Петрограда как можно дальше. В Ставке вас ненавидят все». Александр Федорович ожидал нечто подобное от генеральской верхушки. Еще 20 августа «на частном совещании членов Государственной думы»

говорил о необходимости вернуть все назад к «доброму старому времени». Более откровенно высказался Пуришкевич! «До тех пор, пока Россия не получит диктатора, облеченного широкой властью, до тех пор, пока Верховный Совет не будет состоять из лучших русских генералов, которые выгнаны с фронта, которые жизнь свою полагали за родину, – до тех пор порядка в России не будет». А потом было собрано «совещание общественных деятелей», куда вошли генералы Алексеев, Брусилов, Каледин и Юденич, а также Родзянко, Милюков, Кишкин – всего триста человек. На закрытом заседании, куда представители печати не допускались, за подписью Родзянко была послана телеграмма Корнилову: «В грозный час тяжких испытаний вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою. Да поможет вам Бог в вашем великом подвиге воссоздания могучей армии на спасение России». Прибыв на Государственное совещание, организованное Керенским, Корнилов предлагал ввести смертную казнь не только в армии, но и в тылу, военизировать железные дороги, фабрики и заводы, работающие на оборону.

Александр Федорович знал, что генерал плохо разбирается в политике, что всю политическую работу за него ведет В. С. Завойко, сын адмирала, награжденного имением в Подольской губернии, изворотливый спекулянт, нажившийся на перепродаже земель, спекуляции нефтью, будучи представителем фирмы «Нобель» и директором-распорядителем общества «Эмба и Каспий», на банковских операциях. Сам Корнилов так отзывался о Завойко: «Он отлично владеет пером, поэтому я поручил ему составление тех приказов и тех бумаг, где требовался особенно сильный, художественный стиль». Корнилова поправил Милюков, сочувствующий генералу, поправил, не более: «Корнилов недоговаривает, что влияние Завойко распространялось не на один стиль, но и на само содержание политических документов…» Генерала открыто поддержал атаман казачьего войска Каледин, требуя в своей программе полного запрещения в армии митингов и собраний, упразднения Советов и комитетов как в армии, так и в тылу, восстановления дисциплинарных прав начальствующих лиц, восстановления вождям армии полной мощи.

Александр Федорович, основываясь на заявлениях Корнилова и его сподвижников, понял нависшую угрозу, готовую смести и демократию, и его лично. Поэтому попросил Львова письменно изложить им сказанное, хотя бы требования Корнилова. Львов сказал, что постарается, обдумает, как это сделать лучше, и обещал вернуться к 8 часам 30 минутам вечера, чтобы передать написанное и совместно с Керенским позвонить генералу. К

намеченному времени Львов опоздал, возможно умышленно, и Керенский решил говорить с Корниловым и за себя, и за отсутствовавшего Львова, благо слышимость по связи была весьма неважной.

«**Керенский**. Здравствуйте, генерал. У аппарата Владимир Николаевич Львов и Керенский. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем.

Корнилов. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу, вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.

Керенский (*за Львова*). Я, Владимир Николаевич, вас спрашиваю: то определенное решение нужно исполнять, о котором вы просили меня известить Александра Федоровича только совершенно лично; без этого подтверждения лично от вас Александр Федорович колеблется вполне доверить.

Корнилов. Да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу мою настоятельную просьбу приехать в Могилев.

Керенский. Я, Александр Федорович, понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня это сделать нельзя и выехать нельзя, надеюсь выехать завтра.

Корнилов. Очень прошу не откладывать вашего выезда позднее завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.

Керенский. Приезжать ли только в случае, о которых идут слухи, или во всяком случае?

Корнилов. Во всяком случае.

Керенский. До свидания, скоро увидимся.

Корнилов. До свидания».

Керенский медленно положил трубку на рычаг. Сомнений не было – Корнилов намерен арестовать его, низложить Временное правительство. Выйдя из пункта связи, Керенский встретил на лестнице Львова, пригласил его в свой кабинет, рядом с которым, в соседней комнате, находился главный начальник милиции Балахвинский. Керенский попросил Львова повторить свой доклад в присутствии невидимого свидетеля. Получив таким способом подтверждение планов Корнилова, Керенский объявил Львова арестованным, а сам поспешил на заседание Временного

правительства, где показал все ленты переговоров и потребовал для себя чрезвычайных полномочий в борьбе с Корниловским мятежом.

Сообщение Керенского произвело эффект разорвавшейся бомбы. Обескураженные сподвижники генерала, в первую очередь кадеты, бросились улаживать конфликт. Милюков убеждал Керенского, что реальная сила на стороне Корнилова, который действует патриотически и должен быть поддержан всеми «живыми силами страны», но, не добившись согласия премьера, попытался устранить «недоразумение» путем компромиссного соглашения с генералом. Помирить Керенского с Корниловым пытался и Бьюкенен. Он был в курсе заговора и поддерживал Корнилова. С ведома британского посла английские броневики шли на Петроград вместе с 3-м корпусом. «Все мои симпатии на стороне Корнилова», – признавался он в мемуарах. Английская пресса старалась скрыть участие отечественных броневиков в выступлении Корнилова.

3 октября газета «Таймс» с возмущением писала, что история с броневиками – выдумки и злонамеренная клевета. По настоянию Бьюкенена Временное правительство привлекло к судебной ответственности за «клевету» редактора московской большевистской газеты «Социал-демократ». Но позднее Керенский ознакомился со срочной телеграммой корниловского генерала Романовского от 28 августа: «Генерал-квартирмейстеру 7. Прикажите немедленно командиру броневого дивизиона британского отправить все боевые машины, включая фиаты, со всеми офицерами и экипажами в Бровары комлейту Соамсу. Туда же направьте машины, находящиеся в фольварке Дубровка 6429». Стало известно, что «английские офицеры, одетые в русскую военную форму, в английских танках следовали за наступавшим Корниловым и едва не открыли огонь по его частям, когда те отказались наступать дальше Пскова».

Этот случай и другие позволили Керенскому, встречавшемуся в 1965 году с поэтом Андреем Вознесенским, объяснить ему падение Временного правительства «интригами англичан», наверное, в частности, на подробное объяснение не было времени, да и обстановка встречи усложнялась присутствием переводчика с обликом и поведением работника госбезопасности.

В том, что провалилась корниловщина, меньше всего виноваты англичане. Но они обязаны были поддержать своего союзника в лице Временного правительства, на помощь которому пришел Всероссийский центральный исполнительный комитет, организовавший оборону Петрограда. И сам Керенский действовал разумно и решительно. Он предложил Корнилову

немедленно передать власть начальнику штаба генералу Лукомскому, а самому прибыть в столицу. Исполнявшему обязанности министра путей сообщения Либеровскому было приказано прекратить движение военных эшелонов в направлении Петрограда и разобрать железнодорожную линию Луга – Петроград. Приказ был выполнен. Железнодорожники разбирали пути и всячески задерживали продвижение корниловских войск. Лужский Совет, отвергнув ультиматум генерала Крымова, потребовал, чтобы его казаки, двигаясь на Петроград, миновали Лугу. Решительный отпор народа корниловцам внес разложение в ряды заговорщиков. 30 августа казаки Донской дивизии явились в Лужский Совет с предложением арестовать генерала Крымова и подчиниться распоряжениям Временного правительства. Командира корпуса спас от ареста скорый приезд представителя Керенского, с которым Крымов немедленно отправился в Петроград, где вскоре, убедившись в полном отказе солдат действовать против революционных отрядов, в отчаянии застрелился.

Наступление Дикой дивизии закончилось тем же, что и наступление казачьих полков. Навстречу дивизии была послана мусульманская делегация от Центрального комитета горских народов, находившегося во Владикавказе.

Сделано это было по инициативе С. М. Кирова, работавшего в 1917 году в этом городе. Делегация разъяснила солдатам истинные намерения Корнилова, и этого было достаточно, чтобы сделать данную дивизию безвредной для Временного правительства. Неудача постигла корниловцев и в Петрограде. Заблаговременно посланные туда офицеры, чувствуя провал мятежа, кутили по ресторанам, присваивая деньги, полученные для поддержки наступления. Деникин вспоминал об этом: «Главного руководителя Петроградской военной организации полковника С. разыскивали долго и безуспешно. Он, как оказалось, из опасения преследования скрылся в Финляндию, захватив последние остатки денег организации, что-то около полутораста тысяч рублей».

Генерал Корнилов был в растерянности. Кучка офицеров, носившая его на руках, сторонники из кадетов и других партий оказались далеко не всем народом. На помощь ему пришел Завойко. Он составил от имени Корнилова телеграмму, где все минувшие события перевернул с ног на голову. Телеграмму направили «по линиям железных дорог, всем начальствующим лицам, дорожным комитетам сообщить для сведения нижеследующее объявление Верховного Главнокомандующего». Корнилов утверждал, что «телеграмма министра-председателя за

№ 1163 во всей своей первой части является сплошной ложью: не я послал члена Государственной Думы Владимира Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне, как посланец министра-председателя. Тому свидетельствует член Государственной Думы Аладьин.

Таким образом свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. Русские люди! Великая Родина ваша умирает. Вынужденный выступить открыто – я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, убивает армию и потрясает страну. Предать же Россию в руки ее исконного врага – Германского племени и сделать русский народ рабами немцев – я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама Русской земли. Русский народ, в твоих руках жизнь твоей Родины» (дается в сокращении).

Телеграмма Корнилова не приносит ощутимых результатов. В его Ставке началось полное разложение. Она была изолирована и доживала последние дни. Даже Георгиевский батальон и тот отказался поддержать Корнилова. По распоряжению армейских комитетов были арестованы генералы Корнилов, Марков, Лукомский, Романовский и другие, выступившие открыто с поддержкой Корнилова. 30 августа указом Временного правительства Корнилов был снят с должности Верховного главнокомандующего. На этот пост вступил Керенский, назначив начальником своего штаба генерала Алексеева. Александр Федорович прекрасно знал, что поначалу Алексеев был на стороне Корнилова, но пренебречь опытным, умелым генералом не видел смысла. Тем более что обстановка в стране, и прежде не очень стабильная, во время мятежа Корнилова вызвала панику. Уже первые сообщения о приближении его войск к Петрограду имели для жителей города эффект бикфордова шнура. Солдатами, матросами и рабочими овладела мания подозрительности, всюду им виделась контрреволюция. Охваченные страхом потерять только что приобретенные права, они обратили свой гнев без всякого разбора против генералов, землевладельцев, банкиров и других «буржуев», – с удивлением заметил Керенский. Большинство лидеров-социалистов, входивших до этого в коалицию, в страхе перед победой контрреволюции повернулись к большевикам. 27 августа, в первые часы охватившей город истерии, они громко их приветствовали и сообща толковали о «спасении революции».

Мог ли Ленин, политик предприимчивый, с упорством

маньяка идущий к своей цели, к гражданской войне и захвату власти в стране, упустить в такой обстановке свой шанс? 30 августа он направил в Петроград секретное письмо своему ЦК: «Восстание Корнилова есть крайне неожиданный и прямо-таки невероятно крутой поворот событий.

Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость! Это разница тонкая, но архисущная, и забывать ее нельзя.

В чем же изменение нашей тактики после восстания Корнилова? В том, что мы изменяем нашу форму борьбы с Керенским. Ни на йоту не ослабляя нашей вражды к нему, не беря назад ни слова, сказанного против него, не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим: надо учесть момент, сейчас свергать Керенского мы не станем, мы иначе сейчас подойдем к задаче борьбы с ним, именно: разъяснять народу, борющемуся против Корнилова, слабость и шатания Керенского. Это делалось раньше. Но теперь это стало главным».

А для Керенского было главным выдворение Корнилова из Ставки. Послы Великобритании, Франции и Италии предложили свое посредничество в урегулировании отношений Временного правительства с Корниловым, но правительство ответило, что в этом не нуждается. К полудню 29 августа положение в Петрограде более-менее пришло в норму. Мятежные генералы не получили в армии существенной поддержки. Под контроль были взяты телефоны всех воинских подразделений.

Наивная вера в здравый смысл всех слоев населения, в их демократичность покинула Керенского. Особенно его волновало разложение в армии. 1 сентября он издает приказ: «Прекратить политическую борьбу в войсках и обратить все внимание на их боевую мощь». В приказе отмечается, что «армия, выразившая в эти тяжелые, смутные дни доверие Временному правительству и мне, как министру-председателю, ответственному за судьбу родины, великим разумом своим должна понять, что спасение страны только в поддержании полного порядка, дисциплины и единения всех между собой».

Мятеж Корнилова оказал разрушительное действие на всю страну, особенно на армию. Но «шесть месяцев напряженной работы правительства, офицерского корпуса, комиссаров военного министерства и фронтовых комитетов не оказались бесплодными, – заключает в своих мемуарах Керенский. – Армия и флот не вернулись на путь безбрежной анархии мартовских дней и яростно отражали германские наступления вплоть до победы Ленина в октябре… Поражение русской демократии

явилось в основном следствием наступления правых сил, а не потому, что русская демократия проявила „слабость“ и слепоту перед лицом большевистской опасности».

Называет Керенский и главных финансовых спонсоров корниловщины. Это а-ля Путилов – директор Русско-Азиатского (Сибирского) банка и А. И. Вышнеградский – сын министра финансов в правлении Александра III, влиятельный деятель в банковских кругах. Они передали Корнилову четыре миллиона рублей. Сам Корнилов ушел со сцены 30 августа, однако и после этого его сторонники старались подорвать деятельность Временного правительства. Керенский с сожалением отмечал, что союзники, желая любым способом продолжить войну России с Германией, делали ставку на Корнилова, а не на него, даже передали ему совместную ноту с предложением действовать в духе корниловской военной программы. В случае отказа угрожали прекратить военные поставки России (ответственным за эти поставки в Англии был молодой Уинстон Черчилль). Керенский вернул ноту послам и предложил сделать вид, что ее не было. Послы с этим согласились. Керенский тут же отправился к послу Соединенных Штатов Америки Дэвиду Френсису и попросил его направить президенту Вильсону телеграмму с благодарностью за неучастие его страны в недружелюбном акте посланников других стран.

Глава пятнадцатая
Прелюдия Гражданской

Послы не знали, в каких реальных условиях работает русский премьер, и своими действиями играли на руку большевикам. Они между тем объединились с меньшевиками и эсерами, с теми, кто раньше входил в демократическую коалицию. Меньшевики и эсеры вкупе с большевиками 27 августа создали рабочую милицию для «помощи» правительству и защиты рабочих кварталов. Буквально за несколько дней рабочая милиция превратилась в большевистскую Красную гвардию. 31 августа Петроградский Совет, практически оказавшись в руках большевиков, принял резолюцию, в которой была кратко изложена суть Октябрьского восстания.

Неожиданно лидер меньшевиков посчитал возможным восстановить правую коалицию с большевиками, но без кадетов. Керенский знал, что кадетская партия является активной и животворной частью тех сил, которые включились в строительство демократической системы страны. Милюков и его сторонники, поддерживавшие Корнилова, составляли в партии меньшинство. Отключая кадетов от революционного движения, меньшевики сами совершили явное предательство – вошли в союз с Лениным и приняли большевистскую партию в состав «революционных демократов». В обмен на это Ленин вытребовал у меньшевиков беспрепятственное вхождение в Советы. Рабочие снова получили в руки оружие. Их переход к насильственному захвату власти был не за горами. В своих мемуарах, написанных в эмиграции, на последнем витке жизни, Керенский пришел к четкому выводу: «Сегодня можно сказать, что реакции, маскирующиеся под революции и возглавляемые такими демагогами, как Ленин, Гитлер, Муссолини, которые опирались в борьбе за власть на низшие слои общества, могут создать тоталитарные тиранические диктатуры, разрушающие все моральные барьеры». Возвращаясь к 1917 году, он писал, что «Ленин вознамерился прийти к власти, надев личину защитника политических свобод при новом социальном статусе, обретенном народом в результате Февральской революции».

Пусть субъективный, но неравнодушный летописец 1917 года и «окаянных дней» Иван Алексеевич Бунин заносит в свой дневник:

«20 августа. Большевики опять подняли голову.

Мартов… требует отмены смертной казни…

«Учение есть припоминание». Сократ…

Жуткая весть из Ельца… Корнилов восстал против правительства…

30 августа. «Орловский вестник» 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более – социалистов-революционеров и социалистов-демократов – «Корнилов изменник». Волновался ужасно.

31-го… «Новое время» и «Утро России». Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно. Вечером газеты – «Русское слово» от 29 и «Русский голос» (?) от 30-го. Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание Керенского: «Всем! Всем! Всем!» Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло.

3 сентября. Утром «Русское слово» от 2-го. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно испугались.

4 сентября. «Русское слово» от 31-го и 1-го. В Совете рабочих депутатов Каменев и Стеклов говорят, что «снесут голову с Корнилова». «Голос народа» от 2-го: Корнилов будто арестован.

В десятом часу вечера газеты. Государственный переворот. Объявлена республика. Мы ошеломлены – Корнилов арестован… Воля Гоца, Дана, Либера (меньшевики. – *В. С.*) и т. д. восторжествовала. Что же значили эти переговоры Керенского с Кишкиным?! – Авксентьев, Либер в ужасе – Каледин.

9 сентября. Все в один голос одно: «Корнилов нарочно выпущен немцами» и т. д.

Сергей Климов: «Да Петроград-то мать с ним. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие».

15 сентября. Газеты. На Советы наросла, видимо, дикая злоба у всех. Разъяснение Савинкова: Да, «совершена великая провокация». Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба… Хороша та дорога, где всегда грязь. Глубокие колеи – все возят тяжелое, все воруют лес.

27 сентября. Ездил с Колей кататься. Лес все рубят.

30 сентября. Поразила декларация правительства, начало: анархия родилась от Корнилова. О, негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи! Ужасны и зверства и низость мужиков, и легендарны.

В начале октября. Правительство «твердо решило подавить погромы». Смешно! Уговорами? Нет, это не ему сделать. «Они и министры-то немного чище нас. Вчера в

полдень разговор с солдатом Алексеем – бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, „мы большевики, пролетариат, на нас не обращают внимания, а вон немцы…“. Младенцы, полуживотная тьма!»

Заметки сделаны писателем по газетам, после общения с людьми в воронежской глубинке. Была ли встреча Керенского с кадетом Кишкиным? По всей вероятности. Накануне Октябрьской революции Н. М. Кишкину были выданы исключительные полномочия «по водворению порядка» в Петрограде. Наверное, ранее, чем с ним, 29 августа, Керенский встречался в Зимнем с видными кадетами – В. Д. Набоковым, членом I Государственной думы и в недавнем прошлом управляющим делами Временного правительства, и М. М. Винавером, тоже членом Государственной думы. Между ними велась беседа деликатного свойства. Правительство поручило Керенскому восстановить коалицию с включением в нее тех партий, что были в ней прежде. Дело было непростым. В сотнях писем, направленных ему, осуждался кадет Милюков, поддержавший Корнилова. Беседа с Набоковым и Винавером прошла плодотворно. По их совету Милюков отказался от руководства партией. Путь для кадетов в коалицию стал открытым.

После падения монархии между Временным комитетом Думы и только что сформированным Советом было заключено соглашение о том, что до созыва Учредительного собрания не будет установлена какая-либо политическая система. Однако к лету выяснилась необходимость показать миру, что в России сформирована демократия. Правительством, за подписью Керенского и министра юстиции Зарудного, 1 сентября была принята следующая резолюция: «Считая нужным положить предел внешней неопределенности государственного строя, памятуя единодушие и востребованное признание республиканской идеи на Московском Государственном Совещании, Временное правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляется Россия, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую Республику».

Александр Федорович всячески старался оградить страну от происков большевиков, показать людям, повернувшимся к ним, что незачем верить в их басни о светлом будущем, что уже существует в стране республиканский строй, как и в самых цивилизованных обществах, и для его упрочения нужен не разброд политических сил, а их единение с целью наведения

порядка, борьбы с голодом и разрухой и успешного завершения войны с немцами если не до победного конца, то до заключения достойного великой страны мирного договора. От слов Керенский перешел к делу, сформулировав правительство-директорию из деятельных, боеспособных людей. Помимо него туда вошли М. И. Терещенко – министр иностранных дел, А. И. Верховский – военный министр, Д. Н. Вердеревский – морской министр, А. М. Никитин – министр почт и телеграфов. Терещенко и Никитин уже не первый месяц в правительстве, единомышленники. Полковник Верховский командовал войсками Московского военного округа, распорядительный и аккуратный в делах человек. Вердеревский – контр-адмирал… Александр Федорович склонился над письмами… Сколько людей думает о будущем России. Пишут из самых далеких уголков страны. Кое-кто ругает министра-председателя… Ну и что? Это и есть демократия. Посадить бы каждого критика на его место на один час… У него закружилась бы голова от одного объема работы, но он увидел бы, что такое Россия, и понял, сколько потребовалось сил, чтобы повести ее к демократии. Кто-то кричал: «Долой царя!», кто-то стоял грудью за него, кто-то уже кричит: «Долой Временное правительство!», «Долой десять министров-капиталистов!» Как можно?

Ведь капиталисты тоже часть России, и не самая худшая. У них хватило ума, сноровки сколотить состояния, ну не с неба же свалились они к их ногам. Строили фабрики, заводы, дали рабочие места желающим трудиться. Часто перебарщивали со штрафами, удлинением рабочего дня. Теперь он равен восьми часам. Требования рабочих удовлетворены. Учредительное собрание окончательно решит аграрную проблему. Может, зря исключили из правительства промышленников и землевладельцев? Сделали уступку бедноте, их пожеланиям… Большевики делают на нее ставку, на победу пролетариата. В своем ли уме Ульянов? Его бывший однокашник по Симбирской гимназии. Став Лениным, он бросает массам дикие лозунги, зовет к гражданской войне. Неужели он думает, что пролетариат сможет управлять государством? Пожалуй, это не заблуждение. Это – затмение ума. Еще в этом году, в феврале большевики приветствовали революцию, поддерживали Временное правительство. Сейчас главный их враг – Керенский. А немцы – друзья? Призывать народ к поражению в войне с заклятым врагом родины – разве это не нелепость, если не провокация? В общем-то нехорошее слово. В основном из большевистского лексикона. Во всех действиях правительства видят провокацию. С меньшевиками то ссорятся, то объединяются. А как дальше поступят с ними? Дружат с теми, кто им нужен в данный момент.

С кадетами, умными, эрудированными людьми, им всегда было не по пути. Милюков – свое образный человек и политик. Он во многом не соглашался с ним; но ратовал за то, чтобы он возглавил правительство. Поддержал Корнилова, считал, что он силой наведет порядок, разгонит Советы, вернет страну к старому доброму для него времени монархии, но и против явно полезных реформ не выступал. Не причитал: «Первую пулю – Керенскому!» Мало того, был не против видеть его в новом правительстве – министром юстиции. Не столько был опасен Лавр Георгиевич, сколько стоящие за ним Завойко и Филоненко. Ведь не кто иной, как он, Керенский, лично назначил его Верховным главнокомандующим. Не думал, что он может пойти против него и столь успешно… Испугал многих… До смерти… Вот они и бросились к большевикам… Слава богу, не все… Вера во Временное правительство не у всех исчезла.

Тем не менее странен народ русский… Сегодня носит на руках… а завтра… Начались перебои с хлебом, на транспорте. Ведь пути разобрали, чтобы остановить Корнилова. И нечего было клясть капиталистов, обзывать их буржуями и тут же требовать от них благожелательности. Впрочем, как и от помещиков. Сжигать их усадьбы, без закона отнимать у них землю, вешать хозяев… Дикость и безумие. А он с юных лет, еще будучи адвокатом, показывал народу важность соблюдения законов. И вроде успешно. Мотался по стране, выступал на политических процессах, самых сложных, и даже при законах монархии отстоял жизни большевиков-пораженцев… Все это было, и неужели забыто? Судя по письмам, не всеми… Но где эти люди? Разбросаны по всей стране… А тут еще Милюков уехал в Крым. Отошли от дел Гучков, князь Львов… Доконала князя его депрессия. С ними рядом он ощущал себя надежнее… Но Милюкова вынудил уйти он. А его вынудили меньшевики. Больше он не пойдет никому на такие уступки… Директория временно руководит страной. Максимум в ноябре откроется Учредительное собрание… Там народные представители решат, по какому пути пойдет Россия. Ясно, что к монархии не вернется. Значит, не все он делал плохо, как считают оголтелые монархисты и большевики. И царь, и Ленин с радостью повесили бы его. На первый взгляд странное единомыслие… Но ведь большевики мечтают о диктатуре пролетариата. Тоже о диктатуре…

Мысли, мысли… Терзают сознание и душу. Без конца и края… Слава богу, есть Тиме… Он мыслит и любит, значит – живет, не сдается на милость тех, кто жаждет его падения. Прелестная Тимочка… Надо будет послать адъютанта за шампанским… Увы, его сейчас достать легче, чем хлеб. За

шампанским нет очередей… Союзники-французы не прекращают поставки. Вот англичане открыто помогали Корнилову… Обида на них, видимо, исчезнет у него не скоро. Тиме права – он не называет ее по имени из-за жены, тоже Ольги. Уже неделя, как она уехала на фронт. Большевистская газета огрызнулась на него и по этому поводу. Низменное издание, выпускаемое невежественными, грубыми людьми. Ольга в одеянии сестры милосердия показалась ему похожей на монашенку. Сжалось сердце. Она поехала на фронт и по зову души, и как жена министра-председателя, истинного патриота страны. И, как он интуитивно почувствовал, в надежде вернуть его в семью… В ее отсутствие надо будет чаще навещать детей, а пока послать к ним адъютанта с продуктами. На всякий случай, хотя им повезло с бабушкой. Интеллигентная, безумно любящая их женщина. Барановские – замечательная семья. Ольга, конечно, думала, что у нее будет такая же дружная, счастливая семья, как и у родителей… Опять сжалось сердце… «Извини, Оленька». Он перенес свой кабинет на последний этаж Зимнего: из-за встреч с Тиме… Она понимает, что не стоит афишировать их роман, поэтому не приглашает в театр… Он единожды видел ее на сцене… И обомлел… Екнуло сердце… первый признак того, что он влюбился с первого взгляда. А со второго, с третьего влюбился бешено. Но не потерял голову. Любовь вдохновляла его, добавляла ему сил, делала смелее… Несправедлива жизнь, которая не позволяет открыто отдать должное этой славной девушке. Сегодня одна из последних возможностей увидеться с нею. Завтра начнется совещание на тему обсуждения кризиса вокруг правительства.

Наступило завтра. Он был в меру возбужден. Чисто выбрит. Полувоенный костюм ладно сидел на нем. В глазах светилась решимость. Он подумал, что не часто чувствовал себя так бодро и собранно. Поименное голосование, впервые предложенное им, продолжалось свыше пяти часов. 776 человек проголосовали за создание коалиции, 688 – против, из них 331 человек принадлежал к профсоюзам и Советам солдатских депутатов, которые находились в руках большевиков и их союзников – левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов. Он тоже принадлежал к партии эсеров и с горечью наблюдал раскол в ее рядах. Одни из эсеров перешли открыто на сторону большевиков, другие позднее были завербованы ими, как небезызвестный Борис Викторович Савинков, выдавший бывшим противникам планы и явки белой армии.

Керенский был человеком чести. Он не отступал от своих позиций никогда. Шел на уступки партиям, чтобы сохранить их в

коалиции, может, ошибочно, зря верил большевикам и в их демократическую сущность. Может быть, поздно, но наивность и слепота покинули его. После голосования он заявил, что, если совещание решит сформировать правительство только из представителей социалистических партий, то ни он, ни другие члены республиканского правительства не войдут в новый кабинет. Авторитет его в глазах народа пошатнулся, но был еще достаточно силен. Корниловский мятеж размежевал его сторонников. Большевики, борясь с Корниловым, всюду кричали о слабости Керенского. Это была чистейшая ложь. Он не терял присутствия духа и должным образом дал отпор мятежникам. Но даже союзники, и в первую очередь англичане, усомнились в его способностях. Неверие мучило Керенского, но он не высказывал своего огорчения. Держался независимо и уверенно. И сегодня большинство членов совещания последовало его предложению. Помимо тех членов, что входили в коалицию до 27 августа, в состав нового кабинета вошли два представителя от профсоюзов и группы промышленников. Демократия не сдавалась.

Керенский напишет в мемуарах: «Несмотря на три года войны и блокады, несмотря на союз Ленина с Людендорфом и помощь союзников Корнилову, демократическое правительство не удалось бы свергнуть, если бы борьба велась с ним честно, а не при помощи лжи и клеветы… „Солидные“ газеты распространяли слухи и сплетни, публиковали заведомо ложные свидетельства, чтобы изобразить меня сторонником Корнилова».

Ленин не спешил вернуться из Финляндии в Россию, боялся ареста, но мог рассчитывать на своих верных представителей в Петроградском Совете – на Троцкого и Каменева. Керенский, отошедший от иллюзий якобы возможного взаимодействия с большевиками, трезво оценил их деятельность: «Троцкий занимался технической подготовкой восстания и отвечал за политическую агитацию среди солдат, матросов и рабочих. Каменев отвлекал внимание социалистических партий от подлинных целей Ленина, добивался, чтобы в момент восстания эти „партии не оказали Временному правительству никакой помощи“. Большевистская партия вышла из подполья. Аресты ее лидеров могли только усугубить ситуацию. Напряжение близилось к своему пику. На 12 ноября были назначены выборы в Учредительное собрание, но Ленин не хотел дожидаться их, так как, по собственному признанию, не надеялся на получение большинства. Документы истории подтверждают ход и накал событий, описанных в мемуарах Керенского.

«И немцы, и Ленин знали, что 28 октября министр иностранных дел Терещенко, представитель Ставки генерал

Головин, представитель социал-демократов Скобелев, а также английский посол должны отбыть в Париж, чтобы принять участие в конференции стран Антанты, назначенной на 3 ноября, которая могла оказать влияние на ход всей войны.

24 октября Ленин направил членам ЦК категорическое письмо: «Товарищи!.. Положение донельзя критическое, и яснее ясного, что теперь уже поистине промедление в восстании смерти подобно… Нельзя ждать! Можно потерять все!..»

В ночь на 23 октября Военно-революционный комитет Троцкого, бросив всякую маскировку, начал отдавать приказы о захвате в городе правительственных учреждений и стратегических объектов.

Имея на руках документы, подтверждающие начавшееся восстание, я в 11 утра 24 октября отправился на заседание Совета Российской Республики и попросил председательствующего Авксентьева дать мне слово.

Я произносил речь, когда ко мне подошел Коновалов и протянул записку. Ознакомившись с нею, я после паузы продолжал: «Мне сейчас предоставили копию того документа, который сейчас рассылается по полкам: «Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов грозит опасность. Предписываю привести полки в полную боевую готовность и ждать дальнейших распоряжений. Всякое промедление и неисполнение приказа будет считаться изменой революции. За председателя – *Подвойский.* Секретарь *Антонов».* Крики в зале: «Предатели!» Таким образом, в столице в настоящее время существует состояние, которое на языке судейской власти и закона именуется состоянием восстания. В действительности это есть попытка поднять чернь против существующего порядка, сорвать Учредительное собрание и раскрыть фронт перед сплоченными полками железного «кулака Вильгельма». (Возглас в центре: «Так и есть! Правильно!» Слева шум и возгласы: «Довольно!») Я пришел сюда, чтобы призвать вас к бдительности, для охраны всех завоеваний свободы многими поколениями, жертвами, кровью и жизнью завоеванной свободным русским народом. Я пришел сюда не с просьбой, а с уверенностью, что Временное правительство, которое в настоящее время защищает эту новую свободу, встретит единодушную поддержку всех людей, за исключением тех, кто не решится никогда сказать правду в глаза и поддержать не только Временное правительство, но и Российское государство. (Бурные аплодисменты всех, кроме меньшевиков-интернационалистов.) В настоящее время Временное правительство заявляет: те элементы русского общества, те группы и партии, которые осмелились поднять руку

на свободную волю русского народа, угрожая одновременно с этим раскрыть фронт Германии, подлежат немедленной и окончательной ликвидации. (Бурные аплодисменты справа, в центре и частично левых сил, смех интернационалистов.)

Смех раздосадовал Керенского. Неужели его речь может быть смешна? Ранее его выступления у кого-то вызывали недовольство, у кого-то даже полное неприятие, но еще никто никогда не смеялся над ним. Он не шутит, не записной остряк. Однажды смеялись, когда он рассказывал шефу жандармов о действиях его шпиков. Тогда он рассчитывал на это, говорил иронически, в стиле Тэффи и Аверченко, а сегодня был серьезен, предельно серьезен. Хохотали те, которых он обличал. Неужели им его критика была смешна? Или… или он запоздал с нею и она им абсолютно не страшна. «Ну что же, – подумал он, – смеется тот, кто смеется последним». Позднее, когда большевики рассадят по тюрьмам меньшевиков – своих собратьев по Октябрьскому перевороту, он пожалеет их…

Керенский, не глядя на нагло улыбающихся меньшевиков, сошел с трибуны и, не задерживаясь, направился в штаб Петроградского военного округа. Он был уверен, что через час-другой Военно-революционный комитет ответит положительно на его обращение. Еще ни разу его ультимативные речи не приводили к отрицательному результату. Шло время, никто не появлялся, и он стал нервничать. Хотел даже уйти в Зимний. Лишь к полуночи раздались шаги в коридоре. Явилась делегация от социалистических партий во главе с Даном, который объяснил задержку долгими дебатами в комитете при обсуждении резолюции. Он как-то неуверенно, по-детски, сунул этот документ Керенскому. Тот внимательно прочитал его и поднял удивленные глаза на лидера меньшевиков: «По-моему, эта резолюция никому не нужна. Вы выражаете доверие правительству, обставленное многочисленными оговорками и условиями. Она совершенно неприемлема».

Резкий тон премьера-председателя на мгновение озадачил Дана, но потом он с усмешкой на лице произнес слова, которые надолго врезались в память Александра Федоровича: «Да, резолюция неприемлема для самолюбия правительства, но она полезна и существенна для перелома настроения в массах, ее эффект уже сказывается, влияние большевистской пропаганды угасает и будет быстро падать. Сами большевики готовы подчиниться воле большинства Советов и завтра же потушить восстание, возникшее помимо их желания, без их санкций». Дан прямо посмотрел в глаза Керенскому, который усомнился в искренности его слов, и, не забыв о смешках меньшевиков, вышел

в соседнюю комнату, где заседало правительство, и прочитал резолюцию. Реакция коллег была возмущенной. Они расценили эту резолюцию как лживую и преступную акцию. Вернувшись к Дану, Керенский небрежно, с чувством брезгливости возвратил ему документ. Его общение с Даном происходило в то время, когда вооруженные отряды Красной гвардии занимали правительственные учреждения и арестовали министра Карташева, возвращавшегося домой после заседания кабинета. Слова Дана оказались лживыми от начала до конца. «Чувствуется рука Каменева», – подумал о них Александр Федорович, научившийся разбираться в повадках большевиков. Утром Керенскому стало известно, что меньшевики и три четверти офицеров Петроградского военного округа, оболваненные большевистскими обещаниями, саботировали все усилия правительства справиться с восстанием, набиравшим силу.

Глава шестнадцатая
Октябрьский переворот

Никто из противников Керенского уже не скрывал свое истинное лицо. Еще раньше стали ясны планы Чернова – занять место Керенского, для этого он выливал на соперника потоки клеветы, сеял раздор в эсеровской партии. Даже интеллигентные, талантливые писатели, Мережковский и Гиппиус, которых Керенский считал верными друзьями, отвернулись от него, не сразу, путаясь в оценке его деятельности, но в конце концов сошлись в мнении – поскольку он стоит наверху, то виноват во всем. После такого вывода Мережковского разрыдался на одном из собраний петроградской интеллигенции князь Андроников и вышел из зала: «Не могу, не могу слышать этого о святом человеке!» Керенский знал, что верными остались ему люди, глотнувшие вместе с ним и благодаря ему очистительный, сладостный и незабываемый воздух свободы. Сколько их? Они есть, но сколько их – мучил его вопрос. В одном он не сомневался – они не отдадут свою свободу без боя.

Точно и правильно разобраться в происходящем трудно, даже такому проницательному человеку, как Зинаида Гиппиус, но талант глубокого художника помогает ей в основных чертах точно обрисовать ситуацию: «Скучно и противно до того, что даже страха нет. И нет – нигде – элемента борьбы. Разве лишь у тех горит „вдохновение“, кто работает на Германию. Возмущаться ими не стоит, одураченной темнотой – нельзя. Защищать Керенского – нет охоты. Бороться с ордой за свою жизнь – бесполезно. Нет стана, в котором надо быть. И я определенно вне этой… унизительной борьбы… Это не революция и не контрреволюция. Это просто – „блевотина войны“.

Керенский переживал, узнавая, что люди, на поддержку которых он надеялся, уклоняются от борьбы – Мережковский и Гиппиус, к примеру… Но они хотя бы, их души никогда не приемлют большевистскую идеологию. А вот истинно талантливый поэт Александр Блок признавался Зинаиде Николаевне в своей «склонности к большевикам», говорил: «…Я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир назло английским империалистам. Хоть я теперь и так, но вы ведь меня не разлюбите, ведь вы ко мне по-прежнему?» Гиппиус заключает: «Спорить с ним бесполезно. Он ходит по ступенькам вечности, но там, в этой вечности, Троцким не пахнет, нет!»

В дневнике поэтессы живет и трудится отменный летописец:

«Очень красивенький пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющем тогдашнем небом весны и сегодняшними грязными, темно-серыми, склизкими тучами. Слышна сильная стрельба из тяжелых орудий. Говорят будто бы крейсера, пришедшие из Кронштадта, между ними и „Аврора“, команду которой Керенский взял для своей охраны в корниловские дни, обстреливали Зимний дворец. Кажется стреляют и из дворца, по Неве и по „Авроре“… Не сдаются. Но они – почти голые. Там лишь юнкера, ударный батальон и женский батальон смерти. Защищались от напирающих сзади солдатских банд, как могли. И перебили же их… „Аврора“ уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо, говорит, если бы не холостыми, то дворец превратился бы в развалины… Когда же хлынули „революционные“ (Тьфу! Тьфу!) войска – они прямо принялись за грабеж, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести, то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец добрались до винного погреба… Нет, слишком стыдно писать… Но надо знать все: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали… Все обеспокоены – „что слышно о Керенском?“ Боюсь, что ни один полк не откликнется на его зов – поздно.

30 октября. Понедельник. Войска Керенского не пришли и не придут, это уже ясно. Говорят, что в них не то раскол, то ли их мало. Похоже и то, и другое. Дело не в том, что у Керенского «мало сил». Он мог бы иметь достаточно, прийти и кончить все здешнее три дня тому назад, но опять, наверное, колебался и вытягивал шею к разнообразным согласителям, предлагавшим ему всякие демократические меры во «избежание крови». В Москве 2000 убитых большевики стреляли из тяжелых орудий прямо по улицам. Началось бушевание черни, ибо она тут же громила винные погреба. Да. Прикончила война душу нашу человеческую. Выела и выплюнула».

Отсчитаем время на несколько дней назад.

В ночь на 25-е Керенский ожидал прибытия с фронта воинских частей, которые он вызвал в Петроград, ждал тщетно, пока не получил телеграмму о блокаде железных дорог, о саботаже на транспорте. Ему доложили, что центральная телефонная станция, почтамт и большинство государственных зданий заняты большевиками. В беседе с Коноваловым и Кишкиным Керенский выразил уверенность, что паралич, охвативший демократический Петроград, будет преодолен, как только все поймут, что заговор Ленина – это не плод какого-то

недоразумения, а предательский удар, полностью отдающий Россию на милость немцам. На лицах его друзей мелькнуло недоумение: «Кто – все? И когда поймут?» Он понял его, когда они вышли на Дворцовую площадь. На улицах вокруг Зимнего стояли патрули Красной гвардии. На выходе из Зимнего дежурный офицер сказал им, что все подступы к Петрограду заняты большевиками, расположившимися вдоль дорог к Гатчине, Царскому Селу и Пскову. К Керенскому подошли его адъютант и помощник – командующий Петроградским округом. «Идите домой, – повернулся Керенский к друзьям, – еще увидимся». Их лица были задумчивы и печальны, а у него не хватило сил приободрить их, придумывать что-то обнадеживающее, но малореальное не хотелось. Их шаги глухо отражались от булыжной площади, вели в сторону маячившего большевистского патруля, встреча с которым не могла сулить ничего приятного.

У подъезда Керенского ждал автомобиль.

– Как будем ехать? – спросил адъютант.

– Рискнем через город, через центр, – неожиданно предложил Керенский. Он уже садился в автомобиль, когда гудки двух автомашин заставили расступиться красногвардейский патруль и отвлекли его внимание от поравнявшихся с ним Коновалова и Кишкина. Это были машины представителей британского и американского посольств. Они предложили Керенскому ехать в машине под американским флагом. Александр Федорович отвел в сторону англичанина: «Передайте Бьюкенену, что я просил его позаботиться о моей семье, об Ольге Львовне Барановской, моих детях». – «Что еще передать?» – спросил англичанин. «Больше ничего. Джордж знает, что я до конца был верен союзническому долгу».

Керенский вернулся к машинам. «Извините, – сказал он американцу, – но председателю правительства не пристало ехать по русской столице под прикрытием американского флага. А за внимание – спасибо».

Александр Федорович еще не отбросил мысли заехать за Тиме, благо в автомобиле оставалось место, но проезд был настолько опасен, что от этой затеи пришлось отказаться. В машине помимо водителя сидели его адъютант и помощник.

– Поедем по центральной улице, с обычной скоростью, – распорядился Керенский.

«Такой расчет полностью оправдался, – вспоминал он, – мое появление на улицах, охваченных восстанием, было столь неожиданным, что караулы не успевали на это отреагировать должным образом. Многие из революционных „стражей“ вытягивались по стойке „смирно“ и отдавали мне честь».

У контрольно-пропускного пункта на Московской заставе машину обстреляли, пытались задержать в Гатчине, но тем не менее Керенский и спутники благополучно добрались до Пскова. Въехали в город ночью. Устроились на частной квартире у брата Ольги – генерал-квартирмейстера Барановского. Писем от сестры он не получал давно. Почта работала плохо, и немудрено – хаос охватывал страну.

Утром Александр Федорович попросил шурина пригласить на квартиру командующего Северным фронтом генерала Черемисова, чья ставка находилась в городе. Разговор с ним проходил в резких выражениях. Сразу выяснилось, что генерал завел «флирт» с большевиками. Продвижение войск к Петрограду было остановлено по его приказу.

– Вы нарушили мое распоряжение, – заметил ему Керенский.

Черемисов хмыкнул и, не сказав ни слова, удалился. Не было сомнений, что он сообщит о встрече с Керенским новым хозяевам положения. Машина двинулась дальше, в направлении фронта, но вскоре пришлось повернуть назад. Стало известно, что по всем фронтам распространяется заявление генерала Черемисова о том, что отправка войск в Петроград приостановлена с согласия Керенского, будто бы он сложил с себя полномочия и передал их генералу.

Ночью большевики захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство, а также захватили самую мощную в стране царскосельскую радиостанцию. На передовых линиях фронта они занялись дезинформацией солдат.

29 октября в столице вспыхнуло антибольшевистское восстание. Его руководители связались с Керенским, просили о помощи, но он был бессилен что-либо сделать. Штаб восставших располагался в Михайловском дворце, в центре города. Керенский решил подоспеть туда, но машина с трудом доехала лишь до Царского Села.

Бывший дворцовый комендант генерал Воейков в своих мемуарах с упоением описывает этот факт: «25 октября в 11 часов свершилось великое событие – бежал А. Ф. Керенский, а еще 13 мая Кавказский корпус постановил пожаловать его Георгиевским крестом, как первого гражданина российских резервных войск и выдающегося героя, совершившего великие подвиги в борьбе за свободу земли русской…» Ненависть и злость отнюдь не лучшие советчики в оценке личностей. Воейков умалчивает о том, что Керенский, вынужденный покинуть столицу, пытался поднять армию Северного фронта против большевиков Петрограда, и как можно скорее, чтобы успеть помочь воюющим с ними офицерам и юнкерам, обосновавшимся в Михайловском дворце. Понимание

их участи терзало его душу. Керенский встречается в Царском Селе с генералом Красновым, доказывает ему необходимость начать наступление на столицу.

Генерал-лейтенант Петр Николаевич Краснов, с 1919 года проживавший в эмиграции, был плодовитым литератором, особой популярностью пользовался его четырехтомный роман «От двуглавого орла к красному знамени». Вот как описывает Краснов свою встречу с Керенским: «Я шел к Керенскому… Когда он был министром юстиции, я молчал, но когда стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. „Как, – думал я, – во время войны военным искусством берется управлять человек, ничего в нем не понимающий?!“ Я иду к нему этой лунной волшебной ночью, когда явь кажется грезами, иду как к верховному главнокомандующему, …не к Керенскому иду, а к родине, к великой России, от которой отречься не могу… Она избрала его, пошла за ним, она не смогла найти вождя способнее, пойду помогать ему… Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видел, по фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах… Я доложил о том, что нет не только корпуса, но нет дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями – безумие.

– Пустяки! Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я сам поведу ее, и за мной пойдут все!

Сомнение закрадывалось в мою душу, и я высказал его Керенскому. Он как-то вдруг осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми.

«Ему надо отдохнуть», – подумал я и стал прощаться.

– Куда вы, генерал?

– В Остров, двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собой Гатчину.

– Отлично. Я поеду с вами.

Он отдал приказание подать свой автомобиль.

– Когда мы там будем? – спросил он.

– Если хорошо ехать, то через час с четвертью мы будем в Острове.

– Соберите к одиннадцати часам дивизионные и другие комитеты, я хочу переговорить с ними.

«Ах, зачем это? – подумал я, но ответил согласием. Кто его знает, может у него особенный дар, умение влиять на толпу. Ведь почему-то приняла его Россия? Были же ему овации и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что сам Керенский с ними».

Но значительной силы части Краснова не представляли. К

вечеру 27 октября под его началом находилось 480 казаков, а помощь, какую он запрашивал, ниоткуда не приходила – в основном из-за саботажа на железных дорогах. Попытка Краснова привлечь на свою сторону гарнизоны Царского Села не удалась. Вот как об этом рассказывал сам Краснов: «В Царском Селе находилась пулеметная команда 14-го Донского казачьего полка. Я вызвал ее офицеров и комитет. Явились самые настоящие большевики, злые, упорные, тупые, ненавидящие. Тщетно и я, и чины дивизионного комитета говорили им о любви к Дону, о необходимости согласия между собою всех казаков, о призыве Совета казачьих депутатов стать на защиту правительства… Представители 14-го полка упирались, как бараны, что они заодно с Лениным, что Ленин за мир, и категорически отказались помочь».

Краснов все же выступил из Царского Села к Петрограду, но уже в бою под Пулковом понял, что столицей ему не овладеть: «Усиленная рекогносцировка, проведенная сегодня, выяснила, что для овладения Петроградом сил наших недостаточно… Царское Село постепенно окружается матросами и красногвардейцами…»

31 октября Краснов направил в Петроград делегацию казаков для переговоров с большевиками о перемирии, уговаривал Керенского поехать в Петроград и встретиться с Лениным для поисков компромисса, уверял в полной безопасности, в том, что другого выхода нет. Помощник Керенского узнал о планах большевиков: они собираются доставить Краснова в Смольный, за генералом приехал матрос Дыбенко, а казаков обещают отпустить на Дон. Судьба и Краснова и Дыбенко сложилась трагически. В 1938 году «бравый» матрос Дыбенко, арестовавший Временное правительство, был расстрелян как «враг народа», а в 1945 году, после окончания войны с фашистской Германией, старый Краснов был передан союзниками советским властям вместе с бывшим советским генералом Власовым и через два года оказался с ним на виселице.

Керенский никогда не считал генерала Краснова предателем, но его предложение о встрече с Лениным категорически отверг. Иллюзии о возможном сотрудничестве с большевиками и лично с Лениным, жизнь которого он, по существу, спас, окончательно рассеялись. 19 октября Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина. Прокурор обратился ко всем властям с указанием найти, арестовать и доставить Ленина П. А. Александрову – судебному следователю по особо важным делам. Но осуществить это практически было невозможно. «Исход восстания 25 октября, – писал Троцкий в своих „Уроках октября“, – был уже на три четверти, если не более,

предопределен в тот момент, когда мы воспротивились выводу Петроградского гарнизона, создали Военно-революционный комитет (16 октября), назначили во все воинские части и учреждения своих комиссаров и тем полностью изолировали не только штаб Петроградского военного округа, но и правительство… Восстание 25 октября имело лишь дополнительный характер». На защиту Зимнего дворца Керенскому удалось привлечь только около семисот «надежных» воинов – 37 офицеров, 696 юнкеров, 75 солдат. Временное правительство не доверяло армии, парализованной большевистской пропагандой. Такие отборные части, как, например, пулеметный кольтовский батальон, самокатный батальон и другие, брошенные на вооруженную поддержку Временного правительства, присоединились к большевикам. Находясь в Царском Селе и знай ситуацию, Керенский и его помощник Н. В. Виннер решили не сдаваться. «Когда большевики появятся в передних комнатах, застрелиться в дальних. В то утро такое решение казалось логичным и единственно возможным, – вспоминал Керенский. – Вдруг открылась дверь – и на пороге появились два человека: один гражданский и матрос. „Нельзя терять ни минуты, – сказали они, – к вам может ворваться озверевшая толпа. Снимайте френч“.

Через несколько минут Керенский облачился в матросскую форму, но выглядел в ней нелепо: «Рукава бушлата были коротковаты, рыже-коричневые штиблеты и краги явно выбивались из „стиля“, бескозырка еле держалась на макушке, глаза закрывали огромные шоферские очки».

Через полчаса ватага казаков и матросов ворвалась в комнату, покинутую Керенским. Заметив его исчезновение, они бросились на улицы. Все решали минуты, секунды. Керенский и помощник успели нанять возницу, который посадил их на телегу и довез до городских ворот. Там их поджидал автомобиль.

– Откуда он? – удивился Керенский и посмотрел на помощника, довольного собой и улыбающегося. Там они расстались, без слов прощания, наскоро обнявшись.

Офицер-водитель умело вел машину, выглядел спокойным, насвистывал мотив «Иветты» – популярной песенки Вертинского. Александр Федорович постепенно приходил в себя. Обнаружил, что на заднем сиденье расположился матрос. «Не беспокойтесь, – сказал офицер, перехватив взгляд Керенского. – Все в порядке». Вскоре машина остановилась у опушки леса. Офицер предложил Керенскому выйти из машины и показал на матроса: «Его зовут Ваня. Он вам все объяснит», отдал честь и уехал. Керенский с матросом углубились в лес по заросшей и малохоженой тропинке.

На полянке увидели домик. Ваня зашел туда и вскоре вернулся: «Мои дядя и тетя будут счастливы принять вас. Пойдемте». Здесь, в своеобразном лесном приюте, Александр Федорович провел сорок девять дней. С теплом к хозяевам вспоминал это время, ведь они были очень смелы, так как через Ваню, наладившего связь с Петроградом, получили газету «Известия» от 29 октября, которая под заголовком «Арест бывших министров» писала: «Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и другие арестованы (министры последнего состава Временного правительства. – *В. С.*). Керенский бежал. Следует принять необходимые меры для немедленного ареста Керенского. Всякое пособничество ему будет караться как тяжкое государственное преступление».

Керенский отращивает бороду и усы и со взъерошенными волосами походит на студента-нигилиста шестидесятых годов XIX века. Но изменение внешности не приносит успокоения. Приходится постоянно быть начеку, держать под рукою гранаты. Но не только личная безопасность волнует его. Он переосмысливает события минувших месяцев, что-то важное видится ему иначе, чем прежде, но он уверен, что громадная работа, проделанная им по освобождению общества от пут монархии, не должна не принести свои плоды и стоит Ленину и его прислужникам сбросить маску поборников демократии и патриотизма, как тут же мгновенно рассеется отравленная ложью, беспардонная большевистская пропаганда.

Еще многие годы он будет надеяться на это, на прозрение народа и его освобождение от тоталитарной власти «кремлевских владык», не учитывая, что, в отличие от него, они построили мощную систему защиты своей власти, подавляющую малейшее инакомыслие. На первых порах ему казалось, что его ожидания сбываются, и на это были реальные основания. Уже на следующий день после Октябрьского переворота, 26-го, выступили со своим заявлением руководители Совета крестьянских депутатов: «Товарищи крестьяне! Все добытые кровью ваших сынов и братьев свободы находятся в смертельной опасности. Гибнет революция! Гибнет родина! Вновь вся страна брошена в бездну смуты и развала! Вновь нанесен удар в спину армии, отстаивающей родину и революцию от внешнего разгрома. Большевики начали гражданскую войну и насильственно захватили власть в тот момент, когда Временное правительство, заканчивая подготовку закона о переходе всех земель в ведение земельных комитетов, исполнило давнишние желания всего трудового крестьянства и когда до прихода полномочного хозяина земли русской – Учредительного собрания – оставалось три недели. Они обманули

страну, назвав голосом народа, всей демократии собравшийся в Петрограде Съезд Советов, из которого ушли все представители фронта, социалистических партий и советов крестьянских депутатов. Не имея никаких полномочий, они говорили от имени Совета крестьянских депутатов. Исполнительный комитет Советов с негодованием отвергает какое-либо организованное участие крестьянства в этом преступном насилии над волей всех трудящихся. Большевики обещают народу немедленный мир, хлеб, землю и волю. Ложь и бахвальство – все эти посулы, рассчитанные на усталость народных масс и на их несознательность. Не мир, а рабство за ними». Этот исторический документ был опубликован в газете «Дело народа» 28 октября 1917 года. Газета находилась под влиянием эсеров, защищавших интересы «крепкого» мужика, истинного кормильца страны. Керенский перечитал это заявление несколько раз. Его мысли и представителей крестьянских депутатов полностью совпадали. Значит, незряшными были его труды, поездки по стране, и то, что ставили ему в вину корниловцы, – создание Советов. Если бы они всюду остались коалиционными – не захватить бы большевикам власть в стране. Газеты доходили до домика в лесу, где скрывался Керенский, но разными сроками: одни сразу после выхода, другие – с большим опозданием. И это не зависело от Вани. Он оказался на редкость деятельным и преданным человеком. «Новая жизнь» от 7 ноября пришла в конце месяца. Внимание Керенского привлекла статья Горького. Он недолюбливал этого писателя, симпатизирующего «челкашам» и абстрактно-романтическому «буревестнику» – то ли птице, то ли летающему зверю, реющему и ревущему.

Но статью его прочитал с истинным удовлетворением и даже белой завистью. На этот раз писатель не растекался мыслью по древу, был конкретен, образен и краток, что говорило о его несомненном таланте: «Ленин, Троцкий и их преемники отравлены гнилым ядом власти… Рабочий класс не может не понять, что Ленин на шкуре пролетариата, на его крови производит только некий опыт… Рабочие не должны позволить авангардистам и безумцам взвалить на голову пролетариата позорные и кровавые, бессмысленные преступления, за которые будет расплачиваться Ленин, а не сам пролетариат… Ленин – не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата». «Вот именно – фокусник, черный маг под красным знаменем, – подумал Керенский. – Интересно, читал ли эту статью не Ленин, а Ульянов – брат убийцы Александра Ульянова, обещавший „пойти в жизни по иному, чем брат, пути“, но вышедший на большую дорогу как

хладнокровный маньяк, порушивший миллионы жизней?»

Керенский бродил вокруг домика, к которому почти вплотную росли деревья, их колкие ветви задевали его лицо, но он не замечал этого. Статья Горького вызвала в его сознании поток мыслей, возникала речь, но говорить ее было некому, и постепенно в речи выкристаллизовывалась ее суть, укладывающаяся в небольшую статью – доведенный до минимума, но ослабевший крик его души: «Опомнитесь! Разве вы не видите, что воспользовались вашей простотой и обманывают вас? Все лицо земли Русской залили братской кровью. Вас сделали убийцами, опричниками. Поистине никогда в свое время не совершалось таких ужасов. Опричников Малюты Скуратова превзошли опричники Троцкого. Вам обещали хлеб, а страшный голод уже начал свое царство, и дети ваши скоро поймут, кто губит их. Вам обещали царство свободы, царство трудового народа. Где же эта свобода? Она поругана, опозорена. Шайка безумцев, проходимцев и предателей душит свободу, предает революцию, губит родину нашу. Это говорю вам я – Керенский. Керенский, которого вожди ваши ославили „контрреволюционером“ и „корниловцем“, но которого корниловцы хотели передать в руки дезертира Дыбенко и тех, кто с ним. Восемь месяцев по воле революции и демократии я охранял свободу народа и будущее трудящихся масс. Я вместе с лучшими привел вас к дверям Учредительного собрания. Только теперь, когда царствует насилие и ужас ленинского произвола, – только теперь и слепым стало ясно, что в то время, когда я был у власти, была действительно свобода и действовали правила демократии, уважая свободу каждого, уважая равенство всех и стремясь к братству трудящихся. Опомнитесь же, а то будет поздно и погибнет государство. Голод и безработица разрушат счастье ваших семей, и вы вновь вернетесь под ярмо рабства. Опомнитесь же!»

Стемнело. Ночь опустилась на лес. Александр Федорович шагнул в сторону от домика, выставив руку вперед, чтобы не натолкнуться на дерево. Ему казалось, что через несколько шагов наступит просветление, но чернота усиливалась. «Неужели мое открытое письмо не пробьет людскую темноту? – подумал он. – Если бы его было можно передать по царскосельской радиостанции? Увы…» Он с нетерпением ждал выхода газеты «Дело народа», куда послал письмо. 25-го пришла газета от 22-го. Он бросил взгляд на выходные данные – 1000 экземпляров. Но письмо было напечатано крупным шрифтом, без малейших изменений. «Кто-нибудь прочитает, кто тянется к правде – не к газете „Правда“, а к той правде, что в его письме. Товарищи

прочитают, хозяйственные крестьяне, грамотные рабочие… И тут, как в кинематографе, их просветленные, добрые лица замелькали в его воображении – одно, второе, третье, десятое, сотое, тысячное… И тут неожиданно он почувствовал на своих щеках слезы. Он был чересчур сентиментальным человеком… Плакала его душа. От нестерпимой боли… Он здесь, в лесной глуши, а там где-то за темнотой горит свет, там люди, за свободу которых он действительно боролся, не щадя себя… Может, делал это неумело, из рук вон плохо… Но они аплодировали его словам и делам, бурно, искренне, не как артисту, а как человеку, заставившему их впервые почувствовать себя свободными людьми, решавшими судьбу своей страны в Советах… И свободу им нес не царь, а их адвокат, защитник, которого они признали своим руководителем… Теперь он разлучен с ними… наверное, поэтому плачет… От бессилия чем-нибудь помочь им…

«К концу пребывания в лесной сторожке меня стала преследовать навязчивая идея: пробраться в Петроград к открытию Учредительного собрания. Я считал, что это мой последний шанс изложить стране и народу правду о том, что я думаю о создавшемся положении», – вспоминал Керенский. Но ситуация не дала ему этого шанса. Кто опомнился, не поддался дурману большевиков, тот не остался с ними, бежал за границу, вступил в ряды Добровольии…

27 октября газета «Известия», контролируемая большевиками, опубликовала Декрет о мире. Совет народных комиссаров дал указание главнокомандующему генералу Духонину начать прямые переговоры с неприятелем по всей линии фронта. Духонин ответил, что «необходимый для России мир может быть заключен только по решению Центрального правительства». Телеграфная лента, кстати сохранившаяся в русском отделе Гуверовской библиотеки, принесла ему ответ: «… мы вас увольняем от занимаемой должности. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко». Подписи: *«Ленин, Троцкий, Крыленко».*

Ленинские «Тезисы об Учредительном собрании», по существу, предрешили судьбу этого выборного органа, начались разговоры о том, что возникло «несоответствие между составом выбранных и волей народа», что «кризис в связи с Учредительным собранием может быть разрешен только революционным путем».

Выборы состоялись в середине ноября, в день, установленный Временным правительством. Предчувствуя неудачу, большевики собирались торпедировать выборы, но против их отсрочки выступил Бухарин, считавший, что население истолкует это как попытку похоронить Учредительное собрание. Из 707 мест

большевики получили лишь 175.

Это не устраивало Ленина и по его приказу Учредительное собрание было распущено.

Об этом, о гнусном и коварном обмане большевиков выбрать систему власти решением Учредительного собрания, вспоминал Александр Федорович, находясь в эмиграции и читая стихотворение в прозе Дона Аминадо: «Чудно Учредительное собрание, когда вольно и грозно вздымает оно волны народного гнева, вскипая и пенясь, как темная бездна, разъявшая лоно, и чрево, и прочее, чтоб бросить свой вызов проклятым столетьям!..

Тогда появляется морда матроса, скуластая морда, изрытая оспой, – и все понимают, что это не просто нетрезвая личность сюда затесалась, а это и есть потревоженный хаос, который дремал под шатрами Мамая, храпел и свистел под парчой византийской, а ныне, проснувшись, плюет и гогочет с балкона божественной пани Кшесинской!..»

Читал, улыбался и был удовлетворен, что умные рассудительные люди со временем поняли, что в семнадцатом году, да и теперь, Россия не готова к резким демократическим переменам – в стране почти напрочь отсутствует гражданское общество. И он это понял с опознанием, но не сожалеет о случившемся – кто-то должен был быть первым, попытаться первым повернуть страну к свободе. Не удалось, но шаг был сделан, именно им – Александром Федоровичем Керенским, и вспомнят ли о нем потомки – не столь важно, более важно, чтобы тяга к демократизации не утихала в России. И он будет напоминать об этом людям. Для этого нужно жить как можно дольше – не известно на сколько лет затянется на родине большевистское засилье. Об этом он думал уже в эмиграции, а после отъезда из Петербурга старался сохранить жизнь и надеялся, что недовольство народа разрухой в стране, перешедшее в буйство, прекратится, скоро, может, даже через несколько месяцев, надеялся, что люди опомнятся. Он видел Ленина на Первом съезде Советов. Пришел туда без охраны, ничего и никого не боясь. Сказал, что готов отдать полноту власти любой партии, если такая найдется. Сказал, зная, что такой партии нет. И вдруг один из людей, сидящих рядом с Лениным, нагло выкрикнул: «Есть такая партия!» Депутаты съезда встретили это заявление с усмешкой. Улыбнулся и Александр Федорович. Ленин не произвел на него особого впечатления – не интеллигент и не мужик – что-то среднее. Смутили едкие до ненормальности узкие глазки Ленина. Трудно было заподозрить в этом «среднем» человечишке дьявольскую хитрость и беспардонность. Еще более удивил народ, пошедший за, как

оказалось, чудовищем, призывавшем людей к жуткой и беспощадной междоусобице. Видимо, народу, доведенному до отчаяния не прекращающейся войной, было безразлично, кто придет к власти и к чему тот будет призывать. Лишь бы ушел он, Керенский, при котором росла разруха, а слова его о свободе стали для разъяренных людей пустым звуком, не дающим ни хлеба, ни долгожданного мира. Но еще оставались люди, для которых свобода была желаннее куска хлеба.

Лесное поместье, на территории которого находился домик, принадлежало богатому лесопромышленнику Зиновию Беленькому. Его сын проходил службу в гарнизоне Луги, знал Керенского и обещал приехать за ним. «На прощание чета стариков, не удержавшись от слез, подарила мне нательную иконку. Эта иконка – единственная вещь, которую я взял с собою, покидая Россию. Сердце мое разрывалось от печали, и я ничем не мог отплатить старикам за доброту. Денег у меня они не приняли бы. У меня даже не было возможности обезопасить их от могущих быть для них неприятных последствий за оказанное мне гостеприимство. Мой спутник матрос Ваня возвращался на корабль», – грустно вспоминал Александр Федорович. Прежде чем покинуть родину, он метался по России, был в Финляндии, потом снова в России, пробрался в Петербург. Поздно вечером стоял у дома, где жила Тиме.

Она возвращалась после спектакля на пролетке. Щеголеватый кавалер манерно подал ей руку, помогая сойти на землю, что-то говорил ей, она слушала его безучастно и, показав на часы, попрощалась, чмокнув его в щечку. Неведомая сила выбросила Александра Федоровича на свет фонаря.

– Александр?! – удивилась она и опасливо огляделась вокруг.

– Я, Ольга! Я! – трепетно произнес он, впервые назвав ее по имени.

– Как ты попал сюда? – растерянно произнесла Тиме.

– Пешком, – улыбнулся Александр Федорович, но она не поняла его юмора, не смотрела ему в глаза, как прежде, как обычно.

– Сегодня играли для красногвардейцев, – сказала она, то ли с досадой, то ли с гордостью – он не разобрал.

– Устала?

– Очень устала, – нервно вымолвила она и снова огляделась, а он вдруг почувствовал, что перед ним уже не милая, романтическая девушка, а несчастная актриса, пытающаяся устоять на зыбкой земле, шатающейся под ее ногами, и он не славный премьер-председатель, не популярнейший человек, обожаемый ею, а всего лишь знакомый, в одночасье ставший

никем, если не государственным преступником. Он побледнел, рука его дрогнула. Она заметила это:

– Вам плохо, Александр?

– Мне? – разыграл он удивление, но она почувствовала фальшь и сочувственно посмотрела на него.

– Я любила вас, Александр… Да спасет вас Бог!

– Спасибо, – приложил он руку к сердцу. – Значит, все в прошлом времени?

– Все. И все надежды, – выдохнула она, – я любила вас, Александр…

Ему показалось, что она хочет броситься в его объятия, разрыдаться, но вместо этого опять опасливо огляделась.

– Я мечтал увидеть тебя, Оленька! Конечно, не в таких условиях…

– Ночью на улицах много бандитов. Люди еще до темноты разбегаются по домам, – сказала она.

– Они выбрали такую жизнь, – сказал он.

– Вы несправедливы к ним, Александр, им навязали эту жизнь, а вы их не защитили.

– Не смог, – виновато согласился он с нею, – но хотел – изо всех сил.

– Знаю, видела, чувствовала и никогда не забуду вас! – блеснула она зрачками, как и прежде, когда была веселой, счастливой и беззаботной.

– Спасибо, – повторил он, – буду знать, что есть один человек, который помнит меня.

– Не скромничайте, Александр… Вы… вы – целая эпоха в истории России! – неожиданно выпалила она.

– Преувеличиваете, – улыбнулся он, – впрочем, будущее покажет, а может быть, и промолчит, увлеченное новой жизнью. Кто знает…

– Я! – восторженно воскликнула она и бросилась ему на шею, стала причитать сквозь слезы, что-то и кого-то кляня.

Послышались шаги за углом, равномерные, гулкие шаги караула или патруля.

– Прощайте! – вздрогнула Ольга и бросилась к двери подъезда так стремительно, что он не успел сказать ей «прости». Отошел от фонаря в темноту. Мимо прошагали красногвардейцы с ружьями. Он ощутил себя не нужным никому, даже любимой. «Неужели на самом деле все в прошлом?!» – в страхе подумал он и вдруг представил себя в роли подсудимого, которому грозила смертная казнь. Немало повидал он их, томящихся в ожидании сурового приговора, испуганных, но не теряющих надежду на спасение, с мольбою глядящих на него, их защитника. И он

отводил от них гибель. А сейчас ему предстоит защитить себя, что труднее и в общем-то непривычно. Ему рассказывали, как защищали Временное правительство московские юнкера.

Молодой писатель Александр Степанович Яковлев, родом из крестьян, из Вольска, выдвинувший Керенского в IV Государственную думу, показывал ему фрагменты своей будущей повести.

«Мать говорит герою:

– Черти проклятые! Революционеры тоже! Согнали царя, а теперь сами себя начали бить! Друг дружке башки сшибают! Всех бы вас кнутом постегать. Нынче хлеба не дали. Вот пошла и ничего не принесла».

«Солдат:

– Теперь аминь буржуям. Всех расшибем! Будя, попановала антиллигенция. Теперь мы ее.

– А что же вы сделаете? – спросил его седобородый старик в нахлобученной на самые глаза шапке.

– Мы-то? Мы всему трудовому народу дадим… Мы теперь – сила.

– Сила-то вы, может, сила, только сила – уму могила. Дураки на умных поднялись, – сердито отозвался старик.

В толпе засмеялись. Старик продолжал:

– Предатели все, больше ничего. На немецкие деньги работают. Немцы золотыми пулями стреляют, а золотые пули всегда в цель попадают. Пословица верно говорит: «золото убило больше душ, чем железо – телеса». И правда. Теперь германское золото к нам на Москву-матушку забрасывают, русскую душу убивают! Вишь, что делают!»

«Рассуждает герой: „Большевики? Неужели это они? Нет же. Какие же они большевики? Это те рабочие, которых он знал, беспечные и ленивые, любители выпивки, карт. Идут, увлеченные жаждой буйства и приключений… Это русский пролетариат, по складам читающий газету „Копейка“. Он теперь идет решать судьбу России. А, черт возьми!“

«Понесли студента с блестящими погонами на плечах, в потертой шинели, потом студента в синей шинели, потом офицера, еще офицера, еще… Мертвецы на спинах солдат казались длинными, и страшно болтались у них вытянутые ноги.

– Ого, десятого потащили. Это офицер. Глядите, ему в морду попало. Вся морда в крови.

Вот они ехали, молодые, смеялись за минуту до смерти, зорко оглядывались, готовые бороться с опасностью. А теперь их, словно кули с овсом, тащат на плечах солдаты-санитары, и мертвые головы стукают о чужие спины».

«Из окон всех этажей в доме Гагарина гремели выстрелы. С крыши работал пулемет, обстреливающий Никитский бульвар и Большую Никитскую улицу. Ожесточенная борьба не прекращалась ни на момент. Большевики, опасаясь огня, бежали на бульвар и здесь попадали под выстрелы. Юнкера были действительно хорошие стрелки и били без промаха».

«На пятый день борьбы стало ясно, что дело проиграно: большевики победят. Была надежда на войска, идущие с фронта. Их было много двинуто к Москве. Но эти войска, как только вступали в Москву, тотчас же присоединялись к большевикам и со всей энергией и силой бросались на борьбу с теми, кому посылались. Казаки держались безразлично, готовые склониться на сторону сильного. Офицерские отряды, сражавшиеся в районе Красных Ворот, или сдались, или растаяли. Юнкера в Лефортове были разбиты. И защитники Временного правительства, считавшие себя борцами за право, за справедливость, попали в железный круг, из которого не было выхода. Боролись, но уже не было надежды. Знали, что рано или поздно придется уступить».

Болью в сердце Керенского отзывалась каждая строчка этого печального для него повествования. Он знал, что до конца стояли юнкера Алексеевского училища. Он видел их, беспомощно-очаровательных, преступно-молодых и безусых. При воспоминании до боли сжималось сердце. Погибло их немало. А через три дня, в страшную непогоду и стужу, вверх по Тверской, потянулись вереницей гробы за гробами и за ними осмелевшая Москва. На тротуарах стояли толпы народа и неистово крестились, не боясь никого, даже красноармейцев, увешанных гранатами. Думалось, что люди сражались и еще посражаются. Ольга где-то на фронте… Как она там… Сильная духом женщина… За ней наблюдают с особым вниманием – жена Керенского… Выдюжит ли? Он верил в нее – не подведет, не уронит честь семьи Барановских, его честь, – рассуждал Керенский и с каждой минутой все ближе подходил к решению отправиться на фронт, служить России в рядах ее армии, противостоящей большевикам. С громадным трудом, с невероятными и опасными приключениями добрался до Новочеркасска – столицы зарождавшегося Белого движения. Там находилась ставка генерала Каледина. Керенский думал, что генерал забыл прошлые обиды, обвинение в поддержке Корнилова, шедшее от Временного правительства. Не сразу, но Керенский отвел это обвинение. Генерал резко высказывался о правительстве, называя его «придатком Советов». Но сейчас, когда родина в опасности, он наверняка забыл разногласия. Оказалось, что не забыл, и даже не принял Керенского. Адъютант

Каледина не советовал ему долго задерживаться в городе и ехать отсюда к Деникину: «Вы с организацией Советов, с противостоянием Корнилову нажили себе много врагов, – сказал он Керенскому, – не исключено, что какой-либо корниловец, а здесь и у Деникина их полно, пустит вам в спину пулю».

Керенский после столь откровенных слов офицера потерял сон. Его не страшила опасность быть убитым своими, больше путала до ощущения страха мысль о своей ненужности, нигде, даже в армии, даже в чине рядового. Он стал не нужен никому. Буквально за один-два месяца после поражения. Обида смешивалась с горечью. За высоким взлетом последовало резкое падение и полное забвение. Даже люди, обещавшие организовать его отъезд из России, пытались побыстрее отделаться от него, торопили с отправкой, не дали ему времени попрощаться с Симбирском. Он не стал спорить с ними, но не спешил подчиняться их требованиям. Нательный крест на груди, подаренный добрыми людьми, согревал душу.

Керенский ошибочно думал, что все забыли о нем. Помнили и очень многие. О его судьбе ходили самые различные слухи.

Вплоть до того, что он застрелился. И как не пыталась Зинаида Гиппиус забыть о нем, но не могла, с ним были связаны ее надежды и всей русской интеллигенции на торжество свободы в России; думали о нем, заканчивает она последние страницы своего петербургского дневника: «Черно-красная буря над Москвой. Перехлест… Пока формулирую происходящее так: Николай II начал, либералы-политики продолжили – поддержали. Керенский закончил. Я не переменилась к Керенскому. Я всегда буду утверждать, как праведную, его позицию во время войны, во время революции – до июля. Там были ошибки, человеческие; но в марте он буквально спас Россию от немедленного безумного взрыва. Но после конца ноября, благодаря накоплению ошибок, он был кончен и держал руль мертвыми руками, пока корабль России шел в водоворот (ошибками Керенского Гиппиус считает лояльность к большевикам – *В. С.*). О начале – Николае II – никто не спорит. О продолжателях-поддерживателях, кадетах, правом блоке и т. д. я уже довольно писала… Они были слепы… Они не взяли в руки неизбежное, думали, отвертываясь, что оно – неизбежно. Все видели, что КАМЕНЬ УПАДЕТ, все, кроме них. Когда камень упал и тут они почти ничего не увидели, не поняли, не приняли. Его свято принял на свои слабые плечи Керенский. И нес, держал (Один!), пока камень, не без его содействия, не рухнул «всей своею миллионнопудовой тяжестью – на Россию.

Зинаида Николаевна вспоминает о Керенском постоянно едва ли не на последней странице дневника. Знакомы рассказали ей,

что у него бывали моменты истинного геройства. Как-то он остановил свой автомобиль, и выйдя, один, без стражи, подошел к толпе бунтующих солдат, которая от него шарахнулась в сторону. Он бросил им: «Мерзавцы!», пошел, опять один, к своему автомобилю и уехал. В обстоятельном и строгом летописце проявляется трепетная душа поэтессы: «Да, фатальный человек. Слабый… герой. Мужественный предатель. Женственный… революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови – убийца. И очень, очень, весь – несчастный».

Каким все-таки был Александр Федорович Керенский? Если «несчастный», то выходит – честный, пусть слепо, но бесповоротно верящий в благородство дела, которому посвятил себя. Лучше будет видна и понятна жизнь Керенского с высоты лет истории, а то, что он войдет в историю России, он, может и не думал тогда, он строил эту историю.

Весьма интересен взгляд на его деятельность сатирика Дона Аминадо, взгляд серьезный, хотя порою ироничный, несколько отличающийся, а моментами существенно, от описаний других очевидцев событий семнадцатого года: «При мне крови не будет!» – нервно и страстно крикнул Александр Федорович. И слово свое сдержал. Кровь была потом. А покуда была заварушка. И, вообще, все Временное правительство с Шингаревым и Кокошниным, с профессорами, гуманистами и присяжными поверенными, все это напоминало не ананасы в шампанском, как у Игоря Северянина, а ананасы в ханже, в разливанном море неочищенного денатурата, в сермяжной, темной, забитой и безграмотной России, на четвертый год изнурительной войны. Вместо полиции пришла милиция, вместо участковых приставов – присяжные поверенные, которые назывались комиссарами.

Примечание для любителей:

– Одним из них был некий Вышинский, Андрей Януарьевич. (Эсер, ставший «пламенным» большевиком, Генеральным прокурором в процессах 37–38 гг., приговорившем к расстрелу Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и других виднейших большевиков. – *В. С.*) Вслед за милицией появилась Красная гвардия. И, наконец, первые эмбрионы настоящей власти – Советы рабочих и крестьянских депутатов. Из эмбрионов возникли куколки, из куколок мотыльки с винтовкой за плечом, с маузером под крылышками. Мотыльки стали разъезжать на военных грузовиках, лущить семечки, устраивать митинги, требовать, угрожать:

– Мы, банщики нижегородских бань, требуем…

Керенский вступал в переговоры, сначала убеждал, умолял,

потом даже угрожал, но не очень, тем более что ни убеждения, ни мольбы, ни угрозы не действовали. Грузовиков становилось все больше и больше, солдатские депутаты приезжали с фронта пачками, матросы тоже не дремали. А с театра военных действий приходили невеселые депеши.

В порыве последнего отчаяния, Керенский метался, боролся, телеграфировал, часами говорил страстные речи, выбивался из сил, готовил новые полки, проявлял чудовищную нечеловеческую энергию, и, обессиленный, измочаленный, с припухшими веками продолжал свою борьбу.

– Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей!.. – повторял один из умнейших и просвещеннейших москвичей Николай Николаевич Худяков».

Александр Федорович не знал тогда мнения о положении в стране и о себе ни Худякова, ни других умных людей. Не до того ему было. Он продолжал свою борьбу. И как справедливо заметил Дон Аминадо «образовалась опухоль, и не опухоль, а нарыв, который, как известно, был вскрыт, а что произошло вслед за вскрытием заражение крови, что оно продолжается и по сей день, – этого не мог предвидеть не только Худяков, но и профессора всего мира, вместе взятые».

Этим, невозможностью предвидеть развитие начатой им революции, нельзя оправдать поражение Керенского, а он и никогда не пытался использовать столь очевидный факт в свою пользу. А было ли поражение? В утилитарном понимании этого слова – было. А в историческом рассмотрении, с высоты лет? Проследим историю дальше.

Глава семнадцатая
Последние дни на Родине

Керенский не спешил покинуть Россию. Он где-то в глубине души надеялся, что люди, столкнувшись с большевистскими порядками, опомнятся, и вспомнят о нем, о том, как жилось при Временном правительстве. Ведь положение в стране не улучшается: ну, разорили крестьяне помещичьи хозяйства, захватили заводы рабочие, пограбили магазины и дома состоятельных людей, а дальше что? Ведь он разрешил свободу слова, сделал независимыми суды, чего нет до сих пор, и главное – уничтожил охранку – учреждение, которое контролировало даже личную жизнь людей, за вольные думы и поступки отсылало вольнодумцев в Сибирь. Неужели народу не нужны свободы? Требуется самодержец?

Александр Федорович вспомнил, как совсем недавно он, потеряв самообладание, подошел к группе пьяных солдат и бросил им – «мерзавцы», хотел сказать – что вы творите? Я – ради вас, а вы? Они шарахнулись от него в сторону. Узнали его и испугались. Вспомнил, как упали перед ним на колени, когда он ехал в автомобиле. Да, большевики заключили позорный для страны мирный договор с Германией. Но волнует ли людей этот позор? Рады, что самим не надо идти на германский фронт, рады воевать с буржуями. Ленин живет в Кремле, в «Кавалерском доме» (бывшим прислужьем) в двух комнатах. Его видели с компрессом на горле, лицо – кислое, то ли от болезни, то ли от неприятных дел. И вдруг в газету «Правда» прорывается правда – некто Черехович написал, что «рабочая масса к большевизму относится несочувственно, и, когда приезжает оратор или созывается общее собрание, то тогда рабочие прячутся по углам и всячески отлынивают. Очень прискорбно. Пора задуматься». Керенский вырезал эту заметку из газеты и подумал – голод есть голод, всегда. Как выльется для большевиков наступившая зима? Говорят, что арестовали в виде заложников Станиславского и директора Художественного театра Немировича. Потом выпустили. Станиславский стал своего рода придворным увеселителем самого Ленина, часто бывает у него в Кремле. Испугался, когда стало известно, что его жена – актриса Лилина, игравшая в Харьковском театре, с радостью встретила вошедшего в город Деникина. Есть ли надежда на него, генерала Мамонтова? Очень малая. Успехи на юге России, вдалеке от центра, кажутся ненадежными. Большевики дерутся озверело – боятся потерять

право грабить и убивать. «Дадим отпор Антанте!» – трубят газеты и агитаторы. Бывшие союзники ведут себя очень робко, поскольку сами ратуют за невмешательство во внутренние дела других стран, против интервенции, в чем их уже обвиняют большевики. Бывшие союзники не понимают, какую угрозу будет представлять для них и всей Европы Советская Россия. Один лишь англичанин Черчилль, ведовавший поставкой вооружения Временному правительству, почувствовал опасность и предлагал задушить большевистский переворот в зародыше. Но к нему не прислушались. А ведь стоило нескольким английским крейсерам открыть огонь по Кронштадту, то скучающие матросы, скучающие от того, что их никто не берет, сдались бы мгновенно, а петербургские большевики тут же сели бы на свои автомобили и скрылись. Но Керенский не осуждал англичан, они действовали согласно своим демократическим законам, избежали кровопролития. Россия должна сама разрешить свои трудности. Как? Кто? Сам народ? В его здравый смысл и решительность Керенский еще верил, но все меньше и меньше, видя хитрость и изворотливость большевиков, пускающихся на жестокий обман людей, обещая им ту райскую жизнь, которой вообще не может существовать на земле. И Керенский ужасался, чувствуя, что люди верят пустословию, верят, что им «нечего терять, кроме своих цепей», и не понимают, что вскоре обретут еще более крепкие и тяжелые оковы. Уже сейчас у крестьян реквизируют в пользу Красной армии зерно, проводят обыски в городах, забирают все, вплоть до мебели и занавесок. Голодные бунты подавляют. В Петрограде, в центре города, слышится стрельба, идут расстрелы недовольных новой властью и даже заподозренных в возможном неприятии новых порядков. Он, Керенский, ликвидировал жандармский надзор и произвол в стране, а большевики утвердили ЧК (Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией), свой, еще более страшный, чем царский, орган.

Завербованный советской разведкой Борис Викторович Савинков пошел на предательство товарищей по партии и белой эмиграции, наивно считая, что своим литературным трудом поможет становлению родины и сможет это сделать только живя там. Он писал стихи: «Нет родины – и все кругом неверно, нет родины – и все кругом ничтожно, нет родины и вера невозможна, нет родины – и слово лицемерно…» С лицемерием, лично коснувшимся его, он столкнулся на новой родине, обманувшей его и сбросившей в пролет Лубянской тюрьмы (по словам А. И. Солженицына, узнавшего об этот от надзирателя Лубянки. – *В. С.*). Савинкову принадлежат и другие слова: «1917 год был

праздником русской революции. До большевистского переворота в России было много людей, которые верили, что русская революция ускорит победу союзников и даст России прочный, почетный и выгодный мир. Надеждам этим не суждено было сбыться. Время принесло позор Брест-Литовского мира и Гражданскую войну, беспощадную и с неравными силами. В своих страданиях Россия становится чище и тверже. И я не только верю, но знаю, что, когда минует смутное время, Великая Федеративная Республика Русская, в которой не будет помещиков и в которой каждый крестьянин будет иметь клочок земли в собственность, будет во много раз сильнее, свободнее и богаче, чем та Россия, которой правили Распутин и царь. Но сколько крови еще прольется».

Безусловно, Савинков оказался во многом прав, насчет «крови» – точно, в том числе собственной, но еще дальновиднее – Керенский, тоже политик весьма наивный, но предугадавший роковые заблуждения Савинкова, вызванные неуравновешенностью его характера.

В начале марта 1918 года, кроме небольшой Добровольческой армии, в России, казалось, не было организации, способной бороться против большевиков. Однако в Москве образовалась тайная монархическая организация, объединившая 800 офицеров и стоявшая на позиции Милюкова – создание в России конституционной монархии. Более дееспособной и обширной явился «Союз защиты Родины и свободы», программа которого включала четыре пункта: отечество, верность союзникам, Учредительное собрание, земля – народу. Согласные с программой принимались в «Союз» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, но при обещании бороться с большевиками с ружьем в руках. К концу мая 1919 года в рядах «Союза» находилось 5500 человек из жителей Москвы и 34 провинциальных городов. Поскольку программа «Союза» включала открытое военное выступление, ликвидацию Ленина и Троцкого, о приеме в организацию Керенского даже не поднимался вопрос. Но он знал о существовании «Союза» и с вниманием наблюдал за его действиями. Керенского интересовало – может ли внутри страны кто-нибудь оказать сопротивление большевикам и победить их.

Удачно работала контрразведка организации, ежедневно составляя сводку о передвижениях немецких и большевистских войск, о мерах, принимаемых Лениным и Троцким, о положении дел в ЧК, Совете народных комиссаров и даже в немецком посольстве, на территориях Украины, занятых немецкими войсками. Штаб «Союза» располагался в Молочном переулке.

Большевики установили наблюдение за штабом, взяли на прослушку телефон и вскоре арестовали около ста человек, но ни кого из руководства, и тем не менее объявили в газетах: «Гидра контрреволюции раздавлена». В июне был разработан окончательный план вооруженного выступления. Предполагалось в Москве убить Ленина и Троцкого. Покушение на Троцкого не удалось. Ленин был лишь ранен Дорой Каплан, затем расстрелянной. Одновременно предполагалось взять Калугу, Владимир, Ярославль, Рыбинск, Муром, тем самым окружить Москву и облегчить наступление союзных войск, которые должны были высадиться в Архангельске, захватить Вологду и начать движение к Москве. В Калуге и Владимире ожидаемое восстание не произошло. В Рыбинске окончилось неудачей. Муром был взят и Казань тоже, хотя и чехословаками, но главное – Ярославль был не только взят «Союзом», но и геройски держался 17 дней, время более чем достаточное для того, чтобы союзники могли подойти из Архангельска. Однако союзники не подошли.

Бой был проигран. Керенский расстроился, убедившись в военной силе большевиков. Встретившись с одним из крестьян, добравшимся до Москвы, он спросил у него:

– Россию уничтожают?

– Уничтожают.

– Церкви грабят?

– Да, грабят.

– Попов расстреливают?

– Да, расстреливают.

– Говорят, батюшки сражались против большевиков в Ярославле? Стреляли по ним из пулеметов. Не отступили, бились до смерти. Было такое?

– Было. У нас в деревне об этом говорили. Говорил человек, видевший в Ярославле убитого святого отца, лежащего у пулемета. Пусть земля будет ему пухом!

– Значит, сочувствуешь святому отцу?

– А как же!

– Значит, большевиков ненавидишь?

– Они хлеб у нас отбирают. Последний.

– А почему вы не восстаете?

– Почему? А ты на фронте был? В боях?

– Приходилось.

– Тогда должен знать, какой бой без артиллерии. С винтовками против пушек, разве выдюжишь?

Керенский не смог далее возражать крестьянину. И не желал, не хотел даже словесно потворствовать нелепой Гражданской войне. Он знал, что в стране немало людей, ненавидящих

большевиков, но не вооруженных, не собранных в воинские части, не объединенных животворной мыслью и стремлением жить в свободной стране. Разочаровался ли он в своих действиях? В некоторой степени. Ощутил наивность в своих мечтах, разошедшихся с реальной действительностью. Но сами мечты были прекрасными, и свою роль первопроходца демократии в России не преувеличивал, но и не уменьшал, даже в нелегких раздумьях. И не собирался сдаваться самим неприятным для него обстоятельствам. Видел, что жить в стране с каждым днем все опаснее и опаснее. Если ты с белыми руками, то выходит – буржуй, а буржуя надо ставить к стенке. Боялся ли он быть захваченным большевиками? Не страшился. Встречал людей, узнававших его, и гордился тем, что они не выдают его. То из-за сочувствия ему, кто из-за страха перешедшего к служению большевикам, но внутренне не согласного с ними. Он не считал себя смелым человеком, просто вел себя, как свободный человек, свободный не только нравственно, но и поведенчески. Вспомнил как, не скрываясь, не переодеваясь и не гримируясь, пришел на совещание эсеровской партии, зная, что будет опознан и, возможно, даже задержан полицией, зная, что находится под ее постоянным надзором. И в июле восемнадцатого, только через год с малым лишком после крушения февраля, шел по московской улице, не думая, что рискует жизнью, шел к своей давней подруге Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской, одной из немногих верных его друзей по партии эсеров. Улыбнулся, когда вспомнил, что объявил ее «бабушкой русской революции», наградив своеобразным названием, которое крепко прилепилось к ней, женщине еще крепкой и не потерявшей ясный ум и храбрость, несмотря на четыре царские высылки в Сибирь (прожила ровно 90 лет. – *В. С.*). Она никогда не предавала его и не предаст. Вот Савинков приписывал ему, якобы сказанные им слова: «Россия погибнет… Россия погибнет…», а она никогда не сделала бы ничего подобного. Однажды при встрече она заметила ему:

– Александр Федорович, я родилась в деревне, многие годы жила там. Поэтому и вошла в партию эсеров, работающую в основном для деревни и среди крестьян.

– Я – тоже, Екатерина Константиновна.

– Но… но, – вздохнула она, – я убедилась, что интеллигенция, живущая вне близкого соприкосновения с крестьянами, не вся, а некоторая, рассматривает их жизнь как подмостки своего грядущего величия, не знает их устойчивую психологию, устойчивую в требовании справедливого к себе отношения.

– Разве я что-нибудь сделал не так? Чем-нибудь обидел

крестьян? – удивился Керенский.

– Ни в коем случае! – трепетно произнесла Брешковская. – Крепкие мужики за вас! За все ваши начинания! Но не они одни живут на селе. Терпение массы крестьянства на исходе. Каждый день замедления в развитии земельной реформы укрепляет их недоверие к Временному правительству, к росту подозрительности. Надо что-то делать!

– Что-то? – пожал плечами Керенский. – На это что-то требуется много времени и сил. Провести земельную реформу доверено Учредительному собранию. Осталось ждать недолго – до середины ноября.

– Дожить бы в здравии, – опять вздохнула Екатерина Константиновна.

– А куда мы денемся? Доживем! Вместе с большевиками. Хотя они топорщатся. Ставят палки в колеса. Бог их простит. Зато в своем манифесте обещали предоставить решение всех проблем Учредительному собранию. Не должны обмануть! – бодро вымолвил Керенский.

– Не должны, – нехотя согласилась Брешковская.

Керенский шел на встречу с нею в Москве, в начале июля восемнадцатого года, о чем она потом вспоминала: «Ходила я по Новинскому бульвару… к Архиерейским прудам (ныне называемых Патриаршими. – *В. С.*), где вблизи жил – так же нелегально, как и я, но с несравненно большим риском – Александр Федорович Керенский, приехавший в Москву по своему непременному желанию и выехавший оттуда за границу «по настоянию друзей и товарищей в том же июле 1918 года».

О чем они говорили в свою последнюю встречу на родине? Возможно, Екатерина Константиновна рассказывала ему о подробностях жизни другого своего кумира, не меньшего, чем Керенский, о Петре Алексеевиче Кропоткине, известном анархисте, о котором писала, что «труды его, проникнутые верой в человека и любовью к нему, не приемлет злая, уродливая и заразная сила, ибо не может вынести присутствия совести, не знавшей ни компромиссов ни уклонений, ни сомнений в правах каждого человека на жизнь свободную, честную».

При встрече с Керенским, Брешковская заметила:

– Петр Алексеевич перебрался в Дмитров, подальше от большевиков. Не пора ли и нам с вами убежать от них? Хотя я и бабушка, как вы меня обозвали, хотя мне уже стукнуло семьдесят пять, но у меня еще хватит прыти махнуть от них подальше, чем Петр Алексеевич, он уже старенький, дряхлый совсем. А мы? Бежать нам пора отсюда, пора, Александр Федорович!

– Почему бежать? Уезжать – можно и, наверное, необходимо,

чтобы не оказаться в подвалах Лубянки, чтобы с пользой для людей дожить жизнь. Бежать и уезжать – большая разница. Уезжать можно с достоинством, с верой в лучшее, а бежать – в испуге, без оглядки – стыдно, тем более нам с вами, Екатерина Константиновна!

Они встретятся потом, уже в эмиграции, и в 1921 году Брешко-Брешковская напишет о нем в Париже: «В апреле семнадцатого года я проехала свой путь от Минусинска до Петрограда, где меня так дружелюбно и ласково встретил Александр Федорович Керенский, уже обремененный громадной ответственностью, но всегда, ровный, всегда справедливый, беспристрастный к недругам и к друзьям.

Живя в Сибири, я знала о его деятельности как присяжного поверенного, всегда летевшего на защиту попранных прав рабочего народа, в каком бы конце бесконечного и бесправного государства нашего не повторялись безобразия и жестокости, чинимые царской администрацией.

Следила за его речами в Думе с большим интересом, а когда он приезжал на Лену, чтобы разобраться в причинах расстрела двухсот рабочих на золотых приисках, и затем возвращался – он проездом навестил меня в Киренске. Виделись мы недолго, но дружба наша закрепилась навсегда. И я с благодарностью и гордостью вспоминаю его всегдашнюю обо мне заботу. В Петрограде он поселил меня в своей квартире, и мы вместе ожидали прибытия на родину то одного, то другого изгнанника, а между ними особенно тепло Петра Алексеевича Кропоткина, сорок лет не видавшего Россию, не переставшего любить ее, всегда тянуться к ней, как к родной матери.

Керенский встречал лично всех возвращающихся борцов. В них он видел новые силы, готовые и впредь служить своему народу, готовые отдаться его возрождению так же искренно, бескорыстно, как сам это делал».

Несомненно, у Александра Федоровича Керенского было немало соратников, умных и добрых друзей, таких как Катерина Брешко-Брешковская, но, увы, не столько, чтобы повернуть громадную, разбитую войной и нуждой страну на путь свободы, создания цивилизованного общества, но указавшего путь к ней, пусть тяжелый и не сулящий только радости, порою даже опасный, но продиктованный сердцем, не равнодушным к судьбе родины.

И, видимо, не случайно, а символично, что об отъезде Керенского из большевистской России стало известно из воспоминаний бабушки русской революции Брешко-Брешковской: «У него были надежные провожатые в лице сербских офицеров,

давших ему возможность благополучно добраться до английского флота на Ледовитом океане».

В Архангельске Александра Федоровича принял на свой борт английский крейсер с солдатами, которые собирались пойти на помощь восставшему против большевиков Ярославлю, но не пошли.

Отъезд Керенского был неофициальным и о нем английская пресса умолчала. В Лондоне помнили об отмене королем Георгом VI приезда в Англию Николая II и его семьи, неожиданной отмене, вызванной протестом общественности, и в данном случае вовсе не афишировали прибытие в Англию бывшего министра – председателя России, не желая резко ссориться с новой властью большой и стратегически важной страны.

Глава восемнадцатая
Лондон – Берлин – Париж

…Прибыв в Лондон и отдохнув несколько дней после морского пути, штормового и холодного, он вышел на улицу. Почувствовал себя неуютно, и не только потому, что был в чужом городе, а более потому что ощутил беспокойство, связанное со своим новым положением. В России его знали все, его показывали в кинематографе и часто – среди солдат, внимающих каждому его слову, у входа в Зимний, приветливо улыбающимся окружившим его людям, на фронте, в окопе… Здесь люди проходили мимо него, не удостоив взгляда. Он перешел на другую, солнечную сторону улицы, но зимнее солнце не грело. Никто не знал его в этом городе, никто не ждал, никто им не интересовался. Он приехал сюда, надеясь встретиться с Ольгой, с детьми, но еще в порту ему сказали, что их в городе нет, пока не прибыли, но препятствий для их жительства в Англии не будет. «Вы наш союзник, а ваша семья не будет обойдена вниманием», – твердил дипломатический чиновник, потом сказал, что его может принять господин Джордж Бьюкенен, если у него есть к нему вопросы. «Нет вопросов, все ясно, – вздохнул Керенский, – хотел бы кое-что спросить господина Черчилля». – «А это кто такой?» – спросил чиновник. «Разве вы не знаете? Странно, – недоуменно заметил Керенский. – Черчилль ведал поставками в Россию. Я хотел у него спросить, каким образом английские поставки оказались у людей, поднявших мятеж против правительства, которому предназначались». – «А вы уверены, что они ему предназначались? – удивился чиновник. – Наше министерство иностранных дел никогда не ошибается. Дела, касающиеся финансов, находятся под строгим контролем. Господин Черчилль несомненно делал то, что ему приказали». – «Понимаю», – грустно сказал Керенский и поблагодарил чиновника за четко организованную встречу.

На книжном развале Александр Федорович за несколько пенсов приобрел пачку залежавшихся газет, чтобы вечером в гостинице просмотреть их. Его внимание привлекли сводки из России, и вдруг среди них мелькнула его фамилия, писал Бьюкенен: «Керенский и Корнилов, мне кажется, не очень любят друг друга, но наша главная гарантия заключается в том, что ни один из них, по крайней мере в настоящее время, не может обойтись без другого. Керенский не может рассчитывать на восстановление военной мощи без Корнилова, который

представляет собой единственного человека, способного взять в свои руки армию. В то же время Корнилов не может обойтись без Керенского, который, несмотря на свою убывающую популярность, представляет собой человека, который с наилучшим успехом может говорить с массами и заставить их согласиться с энергичными мерами, которые должны быть проведены в тылу, если армии придется проделать четвертую зимнюю кампанию». И тут Александр Федорович впервые серьезно задумался о целях Англии в России. О «главной гарантии» чего писал Бьюкенен? Конечно, интересов Англии в войне до победного конца. И все-таки, судя по поставкам Корнилову, она делала ставку на генерала, на установление военной диктатуры в стране, а это отбросило бы Россию в монархическое прошлое и незавидное, отсталое будущее. При нормальном, демократическом развитии Россия, богатая недрами и «крепким мужиком» в городах и селах, со временем могла бы составить конкуренцию Англии в Европе, стать самой цивилизованной страной… К этому все шло… Черт возьми, эти интриги Англии даже не приходили ему в голову, подумал Керенский, и мысль о коварстве страны-союзницы с годами обрастала доводами и вырисовывалась все четче и яснее.

Была в Лондоне приятная встреча со старинным приятелем еще по России – Робертом Брюсом Локкартом, известным журналистом. Англичанин, будучи в России, выезжал на фронт, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит. Первый раз они с ним встретились в окопах, где Керенский беседовал с солдатами. Локкарт тогда еще неважно знал русский язык и, улыбаясь, сказал ему: «Я понимаю не все, что вы говорите. А вы не говорите, а кричите. Если человек кричит, то, значит, он говорит правду». Керенский в ответ заметил ему: «Вы, английский журналист, залезли в окоп, испачкали одежду, лицо, хлебаете солдатскую кашу, значит, хотите написать правду о войне». – «Да, да, да!» – воскликнул Локкарт и протянул Керенскому фляжку с виски. Они закончили с виски, перешли на водку. Расстались как друзья и, встретившись в Лондоне, обнялись. Сели за столик в небольшом, тихом ресторанчике, вспомнили знакомство в окопе, перешли на разговор о нынешнем времени.

– Я не понимаю: почему Георг не пустил в Англию царя? – поинтересовался Керенский.

– Наш король – не ваш царь, – объяснил Локкарт, – он вынужден прислушиваться к мнению парламента. Зачем английскому народу присутствие вашего самодержца? Кроме крупных неприятностей, оно ничего не сулило. Неужели ваш царь был обречен на гибель? Чудовищная, мученическая смерть. Я

знаю, его убили большевики, убили жену, детей… Ужасно и скверно!

– Я пытался вызволить Николая из Тобольска, – грустно вымолвил Керенский, – потом из Екатеринбурга. Был разработан план его спасения, назначены для этого офицеры, они получили достаточные суммы, но… Но эти офицеры куда-то исчезли – и вместе с ними немалые деньги… Их быстро не пропьешь…

– Можно и небыстро, – улыбнулся Локкарт.

– Нет, я не думаю, что офицеры пропили деньги. Бедняг могли задержать большевики и поставить к стенке. У них это лихо получается. Стреляют людей почем зря.

– Троцкий, Ленин, – поморщился Локкарт, – они, как мне кажется, прирожденные убийцы. Вы видели их близко?

– Нет, кажется, только издалека, но и то точно не уверен в этом, – признался Керенский.

– А зря, – посерьезнел Локкарт, – врагов нужно знать в лицо.

– Врагов много, всех не упомнишь, – пытался отшутиться Керенский, – а друзей настоящих мало, даже в Англии.

Они пили за дружбу, за женщин, без которых жизнь не жизнь. Локкарт предложил выпить отдельно за русских женщин, за жену Керенского – и вдруг хитро прищурил глаза:

– Не обижаетесь, Александр Федорович?

– Смотря на что, – пьяно откинулся на спинку кресла Керенский.

– Вы знаете, как вас называют здесь русские эмигранты? Александрой Федоровной! Говорят, что вы ночевали в царской опочивальне! И не один…

– Чушь очередная, – покраснел Керенский, – чего только не придумают обыватели!

– Но вы покраснели, – заметил Локкарт, – а дыма без огня не бывает. Я правильно перевел русскую пословицу?

– Правильно, – сказал Керенский, – я совершенствую свой английский. Нужно знать язык той страны, где живешь, часто бываешь. С немецким у меня плохо… тем не менее собираюсь в Берлин… Открою там журнал.

– Почему именно в Берлин, к врагам? – недоумевал Локкарт.

– В Берлине много русских эмигрантов, больше, чем в Англии. Немцы охотно принимают русских. Понимают, что уезжают лучшие, беднеет умами, ослабляется Россия, – вздохнул Керенский.

– Но зато эти русские умы не погибнут! Выпьем за нашу дружбу, Алек-сандр Фе-до-ро-вич! – по слогам, но четко произнес захмелевший журналист. – Пусть приезжают русские! А тебе что-нибудь понравилось в Лондоне?

– Порядок, – без раздумий ответил Керенский, – и то, что король Георг действительно не наш всемогущий царь. Удивишься, ваши ровно подстриженные газоны… Мне раньше нравилось буйство русских трав, а увидев ваши… я призадумался… Наши травы чем-то похожи на народ, требующий трепетного внимания, умного подхода, но порою брошенный на произвол судьбы и от этого буйный, а сейчас засоренный дурманом и чертополохом…

Неожиданно Локкарт покраснел, но не от выпитого, как показалось Керенскому, а от какой-то волнительной и скрываемой от собеседника мысли.

– Александр Федорович, – четко вымолвил Локкарт, – не убивайтесь раньше времени. Вы… вы… еще въедете в Петербург на белом коне! Да… да, на белом коне!

– Я? На белом? Как победитель? Не шутите, Брюс. Даже, если это когда-нибудь станет возможном, то у меня уже не будет сил взобраться на коня.

– А вдруг это случится скоро? Совсем скоро? Продолжал свою игру Локкарт. – Вы думаете, что Ленин вечен и его не сможет сменить никто другой? Ошибаетесь, мой друг! Очень ошибаетесь!

– Сменить Ленина? – задумался Керенский. – Может Троцкий. Или Зиновьев… Но, как говорят у нас, хрен редьки не слаще. Как бы вам перевести на английский!..

– Не надо, я достаточно знаю русский, слышал эту пословицу, – медленно заговорил Локкарт. – Я… я… я нисколько не преувеличиваю. Это вы недооцениваете нас, англичан… Думаете, что если мы отступили из Архангельска, то позволим большевикам властвовать в России?

– Уже позволили, – вздохнул Керенский.

Локкарт откинулся на спинку кресла и загадочно посмотрел на Керенского:

– Вам ничего не говорит фамилия О'Рейли? Впрочем, не исключаю, что у него в России другая фамилия. Он родом из Одессы. Наш человек… И у него английский – практичный склад ума. А от Одессы – некоторая авантюристичность характера.

– О'Рейли… О чем-то похожем слышал. В сводках контрразведки «Союза защиты Родины и свободы».

– Вполне допускаю это, – сказал Локкарт, лицо которого обрело прежнюю бледность. – Он может сменить Ленина. С нашей помощью, конечно. Впрочем, не будем бежать впереди паровоза. Я правильно говорю по-русски?

– Правильно…

– Тогда… тогда, – протяжно произнес Локкарт, – желаю вам успеха, Александр Федорович. Вы истинно демократичный человек. Вам… вам, с вашим умом и образованием следовало бы

родиться в Англии… Да, да, и не спорьте!

Они расстались, на прощание обнявшись. Керенский вспомнил этот разговор, когда позднее один из эмигрантов рассказал ему, что некто, человек с английскими корнями, успешно продвигался по большевистской партийной лестнице, метил на место вождя, стремился возглавить большевиков и был близок к этому, но был выдан ЧК командиром латышских стрелков, охранявших Ленина и Кремль, выдан и расстрелян. (Фамилия О'Рейли всплыла в советской перестроечной прессе, о его попытке занять пост Ленина поведала большая и подробная телепередача. – *В. С.*)

Локкарт проводил Керенского до остановки автобуса. Красивая двухэтажная машина спокойно поглотила Александра Федоровича. Ему нравился этот чистый и аккуратный вместительный автобус.

Александр Федорович пожалел, что ранее не бывал за границей. Не поехал по своему желанию. А теперь поневоле здесь. И восхищаться есть чем, но не хотелось, и не потому, что он был красным патриотом. Все, что он видел, могло быть в России. Многое ему нравилось, но не испытывал он ликующего восторга, как в юности, при виде волшебной красоты начавшегося на Волге ледохода, когда расколовшиеся льдины, издали похожие на большие белые фигурные пряники, чинно плыли по реке, не налезая друг на друга и не ломая плавного движения. И он подумал, что страх, возникший в его душе, наверное, был результатом предвидения своей судьбы – того, что ему жизнью предписано более не увидеть эту красоту.

Чинная, аккуратная Германия встретила Керенского восстанием немецких рабочих. Возглавлял его Карл Либкнехт – один из основателей немецкой коммунистической партии. Его речи и статьи не были столь безумны и демагогичны, как у Ленина, но тема грядущего коммунистического будущего проглядывала, что и подкупало рабочих. Восстание подавили, сам Карл Либкнехт был посажен в тюрьму и потом убит в январе 1919 года. Ленин тут же возвел его в мученика, борца за дело рабочего класса. Но «призрак коммунизма», бродивший по Европе, так и остался призраком, хотя Ленин говорил, обращаясь к народу: «Недалек час, когда по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народы обратят оружие против своих эксплуататоров – капиталистов… В Германии все кипит… Да здравствует всемирная социалистическая революция!»

Керенский понимал, что ликвидация вождя немецкого пролетариата, убитого явно по указанию правительства Эберта, – далекий от норм закона и международного права шаг… Тем не

менее он погасил пыл немецких коммунистов. В России с большевиками миндальничали. Ленина отправили в ссылку в Шушенское, одного, без надзора, не закованного в кандалы. Он сел на пароход «Иоанн Креститель», ехал вторым классом, хлебал наваристый борщ с мясом и, находясь на вольном поселении, чувствовал себя весьма вольготно. А большевики устраивали самосуды над капиталистами, генералами, помещиками… Без следствия и суда. Александр Федорович не мог последовать их дикому примеру, он даже ужесточил содержание арестованных в Трубецком бастионе, на что жаловался посаженный туда генерал Воейков, дал им почувствовать свою вину, но формально вел следствие – пугал их, а затем давал возможность улизнуть. Большевики же учинили кровавую расправу над министром Временного правительства Андреем Шингаревым, в юности – земским врачом, увлекающимся поэзией, музыкой, в общем-то милым человеком. Керенский не сочувствовал взглядам Либкнехта ни в коей мере, но печально смотрел на его похороны, превращенные большевиками в демонстрацию – с красными флагами, с бурными речами на панихиде, больше походящей на политический митинг, чем на траурную церемонию. И сам он разрешил захоронение жертв революции в центре Петрограда, тоже по-своему торжественное. «Споры по политическим вопросам никогда не должны переходить рамки споров», – учили его в университете. Он считал политическим преступлением только измену родине. И ненавидел любое кровопролитие на родине. Братья Маклаковы по своим политическим убеждениям резко расходились во взглядах, но они были родные братья, ими и оставались…

Прошлое, еще совсем недавно бывшее настоящим, будоражило его сознание, терзало душу, но у него хватало сил отрываться от уныния при воспоминаниях о своей мягкости, наивности, безудержном следовании букве закона, забывая о его духе и цели. Некоторые считали это беспечностью и даже легкомыслием. Но не он – юрист до мозга костей. Он еще в лесном домике под Царским Селом задумывался о своей будущей деятельности. Он должен действовать, не сидеть сложа руки, разорвать узы уныния. За границей он сможет выступать перед соотечественниками, издавать художественно-политический журнал, писать передовые – своего рода маленькие речи по вопросам текущих событий. В Берлине он открывает газету «Дни». Название нравится и ему и, главное, читателям, но авторов, о которых он мечтал, здесь найти не удается. Лейпцигские полиграфисты – умелые мастера. Печать великолепная, но проза и стихи в нем зачастую дилетантские. В Париже их критикуют. И

совершенно правильно. Там есть кому писать и кому критиковать. Там живут его ближайшие друзья, которые оставались с ним до конца, – Терещенко, Коновалов, Некрасов… Из последнего состава Временного правительства – министр внутренних дел Николай Дмитриевич Авксентьев, правый эсер, председатель Совета крестьянских депутатов, умный честный человек.

В 1923 году Керенский переводит свой журнал из Берлина в Париж и вскоре обрастает новыми друзьями. Одна из них Нина Берберова, принесшая в «Дни» свой первый рассказ – «В ночь бегства», – там напечатанный. Прозой заведует Марк Алданов, поэзией Владислав Ходасевич – молодые, талантливые писатели… Берберова и Алданов никогда не забудут, что дорогу в литературу открыл им он. Берберова окажется единственным значительным и неравнодушным летописцем его эмигрантской жизни, напишет: «Когда я знакомилась с Керенским, Ходасевич меня предупредил:

– Это – Керенский. Он страшно кричит. У него одна почка.

Я вгляделась в него: знакомое по портретам лицо было в 1922 году тем же, что и пять лет тому назад. Позже бобрик на голове и за сорок лет, как я его знала, не поредел, только стал серым, а потом – серебряным. Бобрик и голос остались с ним до конца… У меня от него сохранилось более ста писем, часть напечатана им на машинке, и эти письма, как это ни странно, тоже не вполне разборчивы… Керенский диктовал свои передовые громким голосом, на всю редакцию. Они иногда выходили у него стихами».

Ни Керенский, ни его друзья не ведали, что эти передовые или их копии регулярно ложились на стол Дзержинского, а потом – Ежова, Ягоды, Берии, передавались сотрудниками госбезопасности своим коллегам в газеты – и очередной пасквиль о нем доводился до читателей.

Разумеется, как и все люди, Берберова субъективна в оценке своих знакомых, но другой характеристики Керенского, кроме данной ему И. А. Буниным и еще более жесткой, в печати не осталось. Она и писала: «Он всегда казался мне…» Вот каким он ей казался: «…человеком малой воли, но огромного хотения, слабой способности убеждения и безумного упрямства, большой самоуверенности и небольшого интеллекта. Я допускаю, что и самоуверенность, и упрямство наросли на нем с годами, что он умышленно культивировал их, защищаясь. Такой человек, как он, то есть в полном смысле убитый 1917 годом, должен был нарастить себе панцирь, чтобы дальше жить: панцирь, клюв, когти…» Многие историки приводят слова Берберовой о Керенском: «…убитый 1917 годом». Что значит «убитый»?

Отлученный от политики – да. Но сама Берберова указывает, что «историю нашего долгого знакомства можно разделить на три части: во-первых – „светский“ и „деловой“ его период: А. Ф. – редактор издания, в котором я печатаюсь, оратор на политических собраниях, на которых я бываю, гость в гостиной Цетлиных и Фондаминских, где гостьей и я.

Во-вторых – предвоенные годы, когда он женат на Нелль, с которой они вместе приезжают к нам в Логшен. Накануне взятия немцами Парижа». О последней части – в Америке – разговор впереди. Но первые два периода общения с Берберовой вызывают сомнения, что Керенский «убитый 1917 годом». Он издает журнал, пишет передовицы, выступает с лекциями, ходит в гости и влюбляется, как юноша, пылко и страстно. «Он любит говорить о том, сколько километров может пройти (12, 15)… о том, что любит аэропланы…» В своей книге свидетельств об эмигрантской жизни славных людей России Берберова делает интересный экскурс в историю о том, что «политик почти никогда не кончает собой… Самая тяжелая кара для политика – кара забвения».

– Керенский?

– Он еще жив?

– Не может быть! Только восемьдесят?

– Это кто, Керенский? Перейдем на другую сторону.

– У вас завтра Керенский? Я лучше приду послезавтра.

Сценки из «третьей части» знакомства Берберовой с Керенским. Он понимает, что «проигравших» не любят, тем более человека, позволившего отдать страну на растерзание большевикам. Он готов к проявлению недовольства, особенно во время своих докладов и лекций. И когда ему говорят, что революцию погубил приказ № 1, он кричит на весь зал: «Вы ошибаетесь, мадам!» Он знает и свои просчеты, и ошибки. У людей короткая память. Они забыли, что Февральская революция свершилась во время войны, не знают, что в самый ответственный момент ей не помогли англичане…

После драки кулаками не машут. В своих лекциях Александр Федорович рассказывает только о событиях февраля, его кануна. Он никого не клянет. Соратников по Временному правительству только оправдывает, защищает. На одном из эмигрантских собраний встречает Милюкова. Они останавливаются друг против друга на несколько мгновений, потом крепко жмут друг другу руки, как старые и добрые знакомые. Они из одного времени, из одного правительства, и, несмотря на разногласия, у них была одна цель – довести Россию до победы демократии, до Учредительного собрания.

– Давно вас не видал, Александр Федорович! Вы не

меняетесь. Отлично выглядите!

– Просто мы давно не встречались, Павел Николаевич. Я пропадаю в «Днях», вы – в «Последних новостях»…

– Кстати, есть новости, – улыбается Милюков, – беру к себе в газету сына Владимира Дмитриевича Набокова, весьма способный юноша. Почему его не печатают во французских газетах?

– Не любят русских эмигрантов. Считают, что мы их подвели как союзники, – замечает Керенский.

– Что могли – сделали. Говорят, что в Париже живет Терещенко. Нигде не появляется. Он, наверное, в обиде на меня. Имел я грешок написать про его светские манеры, благодаря которым он может быть министром иностранных дел. А на вас, Александр Федорович, я не обиделся, когда по вашему настоянию меня кадеты другим руководителем заменили. Уехал в Крым. Прекрасно отдохнул. Проехался по побережью. Сутки пробыл в Коктебеле. Едва не погиб там. Шел в кафе «Бубны». Любопытное заведеньице. Хозяин-грек пригласил Лентулова и еще одного художника расписать стены. Кто-то под рисунками сочинил едкие стишки. Иду я с супругой в это кафе, по берегу. Какой-то тип открыл огонь по французскому эсминцу, стоящему на рейде. Из ружья – по эсминцу. Я ему говорю: «Дурак, что ты делаешь? По нашим союзникам палишь!» И вдруг вижу: на эсминце развернули пушку в сторону берега и по нас – бабах! Слава богу – мимо, а кафе разнесло в щепки. Хорошо еще, там никого не было. А вы не боитесь, Александр Федорович, большевиков костить? Ведь их агентов в Париже немалое число. Я это чертово племя по физиономиям отличаю. Исчез Кутепов – их дело. Не сомневаюсь.

– Я – тоже, – вздыхает Керенский, – иногда хочется наплевать на жизнь. Мне ничего уже не страшно.

– А кто же будет выпускать досточтимый эсеровский журнал? С кем мы, кадеты, будем полемизировать? – улыбается Милюков. – Не спешите, Александр Федорович. Будет Богу угодно – заберет. Вы приглашены на воскресенье к Фондаминским? Там Ходасевич собирается читать стихи. Неподражаемый поэт.

– Если бы был «подражаемым», я не взял бы его в свою редакцию, – замечает Керенский, – и жена его у меня печатается. Способная девушка.

– Как величают?

– Нина Берберова.

– Пока не слыхал. Пока. У вас отменный вкус… Красивая женщина?

– Обаятельная. И Сима Фондаминская – ум и благородство. Встретимся в воскресенье.

– Вокруг вас всегда обаятельные женщины. Я завидую вам,

Александр Федорович!

Керенский был немало удивлен, когда в его редакционный кабинет зашел Бунин. Даже не поверил своим глазам.

– Иван Алексеевич?! Рад видеть вас у себя!

– Только не говорите, что очень рады, – сквозь тонкие губки процедил Бунин. – И не кричите. Вы не на митинге! У меня рассказ из сельской жизни. Кажется, крестьяне всегда были в поле зрения эсеров?

– И сейчас, разумеется, теперь – тем более, – тихо проговорил Керенский.

– Лучше «тем более» было бы раньше, до Октябрьского переворота, – заметил Бунин, – а вам хочу подбросить фактик для передовой. Большевистский доктор Семашко проговорился, что после вскрытия у Ленина вместо мозгов обнаружили какую-то зеленую жижицу. Он был психически ненормален.

– Я об этом тоже думал, – кивнул Керенский, – если о мозгах… Разве может культурный человек называть мозги интеллигентов на букву «г».

– Рассказ вам оставить? – сухо вымолвил Бунин.

– Мне. Прочитает Алданов, и сразу отдадим в печать. Сочтем за честь, Иван Алексеевич!

– Спасибо. Думал, что вы меня встретите суровее. До свидания!

«Не любят проигравших, но и победителей иногда судят, – подумал Александр Федорович, – может, Бунин в какой-то степени поменял обо мне мнение, поскольку мы сходимся с ним в осуждении большевиков? Глубокий писатель. Порою кажется, что несправедлив в своей критике. Писателя Мережковского развенчивает: „Длинно, мертво, натащено из книг… Несносно долбленье одного и того же про характер Леонардо, противно – слащаво…“ (При выборе лауреата Нобелевской премии за 1933 год победил Бунин, от которого Мережковский отстал лишь на два голоса. – *В. С.*) Достоевского крушит за «Село Степанчиково». В этой компании и я… новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его… А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшееся с убийства Духонина и «похабного мира» в Бресте и докатившееся до людоедства». Назвал Ленина «планетарным злодеем». Пожалуй, лучше и точнее не скажешь».

Радовало душу, что большинство людей, которые «стояли за него грудью», за Керенского, носили его на руках и теперь смотрят на него с восхищением – он дал вкусить им плод свободы, выращенный вместе, общими усилиями. Такое,

наверное, не забывается. Поэтому тысячи людей приходят на его лекции в Париже и, слушая его доклад о тех прекрасных, счастливых днях, заново переживают их вместе с ним. У всякого поражения есть свои причины. До них когда-нибудь докопаются. Пока только фиксируют его поражение, мол, «революция была неизбежна». И выглядит он в истории пока как выскочка, а о том, что он всею жизнью готовился к революции, отдал ей все силы, – об этом ни слова. Редко кто говорит правду, мало кто знает ее. Люди уходят, но правда должна остаться… Надежда на писателей, с которыми он работает, дружит… Молодая, отзывчивая Берберова… Он ей простил, что она называет Алданова напечатавшим ее первый рассказ. Алданов – известный писатель, Керенский всего лишь редактор журнала. Откуда ей знать, что Алданову рассказ не понравился. За рассказ заступился Ходасевич, а принял решение издать он – Керенский, сказал, что нужно поддержать молодого автора. Ходасевич покосился на редактора, подумав, что это предлог завоевать расположение Берберовой, в которую он был влюблен. Ревновал. Совершенно зря. Они обменялись с Берберовой сотней писем. Она, наверное, единственная и настоящая его подруга. Она должна написать о нем правду. Только зря пристает к нему и его друзьям с вопросами об их принадлежности к масонству, – видимо, ищет в этом что-то нехорошее и вредное для России. Бог с нею, писательница неплохая, но и невеликая, мечтает обнаружить сенсацию и прославиться. У каждого человека есть свои причуды, с этим необходимо считаться, быть к таким людям терпеливым, искать в них лучшее. Берберова неглупа, эрудированна и в общем-то добра. Это главное, почему он выделял ее среди других знакомых, открывал ей душу, делился с нею горестями и радостями.

На ее глазах в Париже прошла его великая любовь. Увлечений было много, а настоящая любовь – одна, звали ее Нелль. Рядом с нею он почувствовал себя спокойным, нормальным человеком. Впервые в жизни. Горести и беды ушли на второй план. Их затмило счастье. Звездою его жизни стала Нелль. Он считал, что она награда ему за все: за головокружение от победы и муки после поражений. И не ошибался, думая, что Берберова, которая стала самым близким другом их семьи, не забудет «черкнуть» когда-нибудь и где-нибудь о его великой любви… Он оказался прав. Берберова написала: «Нелль была красива, спокойна, умна и всегда что-нибудь рассказывала: об Австралии, где она родилась и росла, об Италии, куда она уехала после Первой мировой войны, надеясь познакомиться там с русскими, после того как начала бредить Россией, прочтя

„Дневник Марии Башкирцевой“. (Мария Константиновна Башкирцева. С 1870 года жила во Франции. Художница. Оставила дневник, пользовавшийся в начале XX века огромным успехом у русского читателя. – *В. С.*) В Италии она встретила Надежина, певца и покорителя женщин, и вышла за него замуж. Певец, несмотря на связи в Лондоне и на пробу, устроенную в Ковент-Гардене, был в оперу забракован, работать не любил, изменял ей с полоумными пожилыми англичанками, богатыми и неприкаянными… Таково было первое знакомство Нелль с русскими. Через несколько лет после того, как она рассталась с Надежиным, она встретила А. Ф. Керенского… У нее были плечи и грудь как у Анны Карениной, и маленькие кисти рук, как у Анны, и глаза ее всегда блестели, и какие-то непослушные пряди выбивались из прически около ушей… В ночь их отъезда, за два дня до падения Парижа, я стелила им постель, от слез ничего перед собой не видя… Ей было страшно, а когда-то ей ничего не было страшно, разве что от идущих немецких войск, когда она однажды расплакалась, повторяя, что А. Ф. немцы немедленно посадят в тюрьму… Однажды она спросила меня, есть ли шанс, что он когда-нибудь въедет в Москву на белом коне? Я сказала, что такого шанса нет… Автомобиль их, тяжело груженный, двинулся в путь на рассвете 12 июня. И больше я Нелль не видела: она умерла в апреле 1940 года, в Австралии, куда она уехала с А. Ф. к своим родителям (у отца было мебельное дело), к сестрам и братьям, в свое время не прочитавшим «Дневник Марии Башкирцевой» и мирно жившим в Австралии без забот и тревог… Сначала в Париж пришла телеграмма о ее смерти, потом письмо, которое я привожу почти полностью. В некоторых выражениях этого письма Керенский вырастает во весь рост своей человеческой сущности, и я думаю, что у большинства читателей после чтения его останется впечатление, что у писавшего бывали если не дни, то, во всяком случае, часы раскрытия своей подлинной человечности.

> *«17 апреля 46 г.*
> *Христос Воскрес!*
> Не удивляйтесь, милая Нина Николаевна, тому, что я пишу Вам, не ожидая Вашего обещанного письма. Каюсь в своей слабости – я не в силах молча нести все в себе, а здесь я в людской для меня пустыне – близкой по плоти, но чуждой по духу… Последнее Ваше письмо (янв.) пришло еще не слишком поздно: я мог ей прочесть его, она радовалась вестям от Вас, вспоминала много и мечтала, как мы опять полетим в Париж – «отдохнуть у

Нины»… С середины января началась ее крестная мука, ибо ей не был дан легкий уход. Нет, она уходила, отчаянно сопротивляясь, ибо воля ее к жизни и сознание были невероятной, удивляющей врачей силой. Одно время даже приток «воды» остановился, и я, даже зная приговор еще в Нью-Йорке, молился исступленно о чуде… Как-то она послала меня к настоятельнице Кармелит. Монастыря, чтобы для нее служили «новенны» (православн. Священник здесь дикий черносот.), и, когда я вернулся, она радостно сказала: как только ты поехал, мне стало лучше, теперь я поправлюсь. И действительно, несколько дней силой верующей воли она не страдала. Потом все возобновилось с новой силой, но наша внутр. жизнь до конца шла в каком-то другом, не обычном плане, обозначить который словами я не решаюсь… После, в середине ф. [февраля], второго (первый был 5-го апреля прошл. г.) мозгового шока общение с внешним миром стало все труднее для Нелл. Она потеряла ключ к своему земному естеству. Все чаще ее уста произносили не те слова, которые она ХОТЕЛА. Но не было никакого сомнения для меня, что ее сознание живо и борется с телесными препятствиями, а не распадается. Надо было подсказать ей потерянное слово, и мысль ее делалась доступной. ТАК БЫЛО ДО САМОГО УХОДА, хотя препятствия к проникновению в наш мир становились для нее все непреодолимее. Как непостижимо для гениального человека далек был Толстой в отвратительной картине Ив. Ильича от понимания, от ПРЕОБРАЖЕНИЯ жизни, что мы называем смертью человека. Да, описано беспощадно правильно. Милый друг! Вы ужаснулись бы, увидя обезображенное прекрасное тело Нелл – то страшное, заливаемое «водой», безмерно отяжелевшее, с пролежнями тело! Но Вы преодолели бы Ваш малодушный ужас перед ее силой Духа, перед мужеством, с которым она сама следила за прибывающей все выше волной… За десять дней до ухода после трех сердечных атак – она на рассвете в ясном сознании просила меня сказать ей всю ПРАВДУ… Я сказал, что скоро она перестанет страдать, что жизнь будет радостной… Она сказала: молись вместе, не оставляй меня одну (а я долгие недели был около нее и день, и ночь). Потом без слов мы простились, и она попросила читать Евангелие. Я начал читать Нагорн. Проповедь, и она спокойно заснула… После этой ночи

началась агония… За два дня до ухода «вода» сдавила гортань, и она только изредка могла проглатывать несколько капель воды. В ночь перед концом она позвала меня – «мне страшно, держи меня крепко»… В 1 ч. 24 м. она тихо, тихо ушла. И странно – именно в это время я потерял сознание и услышал над собою голос чудесной сестры м. [милосердия] «ай эм сори ши паст». Нас было трое в комнате – Нелл, сестра и я. Сестра пошла сказать матери. А я прочел Нелл русские молитвы, какие помнил. Потом мы с сестрой, вдвоем, обрядили ее и покрыли ее всю, чтобы никто не увидел ее искаженную красоту. Потом пришел читать молитвы епископ священник. Всю ночь я читал ей Евангелие (нечто непонятное австралийцам, как и американцам). На другой день ее останки были сожжены. Когда перед увозом мы (сестра м., двое из бюро и я) положили ее тело в гроб, случилось разумом не объяснимое: лицо ее, коснувшись г. [гробовой] подушки, на мгновение просияло, и на нем появилась ясная, счастливая УЛЫБКА. – Сестра, она улыбается, – вскрикнул я. – Это судорога мускулов, – ответила она. Но почему эта улыбка исчезла без новой «судороги», исчезла, как исчезает радуга?! Милые друзья, посмейтесь надо мною про себя, но не предавайте меня на посмеяние другим, ибо мое видение – соблазн для рассудочного мира, в котором мы живем… Но для меня, пережившего вместе с Нелл смерть, как преображение жизни, знамение оттуда не «бред», а такой же факт, как «телепередача». Только себя я считал и считаю недостойным такого касания. И я не знаю, чем заслужил такую милость. Ибо недостаточно понимал ее и служил ей… Сегодня прошла первая неделя. Жизнь вне меня вернулась в привычную колею, а мне это невыносимо, а бежать некуда! Пароходов нет, и неизвестно, когда будут – в мае или июне. Мне было бы легче совсем одному. Но я не могу, не обидев, выехать из дома, а Нелл к тому же просила меня помочь родителям без нее… Жду Ваших писем. Посылка Вам, милая Нина Николаевна, выслана с большим опозданием, за что не браните меня… Я бы с радостью вернулся во Фр., но, судя по письмам В. А. [Маклакова] в Нью-Йорк, вы скорее появитесь в С. Ш., чем мы в Париже. Так ли безнадежно, действительно, положение? Где предел распаду не только ведь одной Франции?

Обнимаю Вас крепко, крепко. Память о Нелл будет

новой между нами скрепой. А помните последнюю ночь у Вас?!

Ваш всегда *А. К.*

Кланяйтесь Зайцев, (известный русский писатель-эмигрант. – *В. С.*) и Маклак. И тем, кто помнит. А Бунин-то!!»

Это последнее восклицание относится к посещению Буниным советского посла. Предположение, что мы все, парижские, скоро окажемся в США, основано на крайне пессимистических письмах В. А. Максакова, в которых он писал Керенскому в Нью-Йорк, что русскую эмиграцию французское правительство (в которое входили в это время коммунисты) может выслать в Советский Союз».

Здесь прервем бесценные воспоминания Нины Берберовой. Восклицание Керенского явно звучит упреком великому писателю, ненавидевшему Совдепию, ругавшему Керенского за то, что он, пусть невольно и благодаря своей «всяческой непригодности», допустил захват страны большевиками, и вдруг сам писатель пожаловал в советское посольство. Хотя Бунин отказался от предложения вернуться в Россию, но факт посещения им посольства СССР показался Александру Федоровичу недостойным, идущим вразрез с принципиальными взглядами писателя. Конечно, Ивану Алексеевичу было по-человечески любопытно узнать, зачем его приглашают в посольство бывшей родины, которая незримо присутствовала в душе каждого эмигранта. В этом отношении показателен случай, приведенный в своем «Биографическом справочнике» Ниной Берберовой. В 1925 году она спросила у прелестной семнадцатилетней девушки Тани Яковлевой (позже ставшей госпожой Либерман), приехавшей во Францию к тетке – оперной певице и дяде-художнику, как ей нравится Париж, на что, подумав, искренне ответила: «У нас в Пензе лучше». Когда через несколько лет Маяковский звал ее в Советский Союз, то она туда не поехала, понимая, что Пенза, из которой она родом, уже не та. Но «та» Пенза, и у каждого эмигранта своя, не исчезала из памяти. И таких эмигрантов, по подсчетам Бунина, было свыше трех миллионов. И Берберова и Керенский знали, что в Париже агентами ГПУ, при участии агента Зборовского был отравлен в больнице Лев Седов – сын Троцкого, выпускавший антисталинский «Бюллетень оппозиции». Муж поэтессы Марины Цветаевой Сергей Эфрон участвовал в похищении генерала Миллера, вместе с мужем известнейшей русской певицы Надежды Плевицкой бывшим генералом Скоблиным, тоже ставшим

советским агентом. И Миллер и Скоблин исчезли, а певица за соучастие в этой акции была приговорена к двадцати годам каторжных работ. Эфрон состоял в группе агентов, ликвидировавших руководителя советской разведки в Европе, Игнатия Рейсса-Порецкого, отказавшегося вернуться в СССР, где его, как он догадывался, ждала самая печальная участь.

Александр Федорович напечатал в своем журнале «Новая Россия» (№ 71 от 1 октября 1939 года) открытое письмо Сталину члена РСДРП с 1910 года Федора Раскольникова с описанием жутких преступлений советского вождя. Раскольников, посол СССР в Болгарии, как и Рейсс, был отозван в Москву для расправы, но остался в Париже. После опубликования письма Раскольников при странных обстоятельствах умер в лечебнице, в Ницце. В тот же день бесследно исчезли его жена и дочь. А еще до этого русский человек, четыре года прослуживший у Керенского дворником, похитил у него архивы. Александр Федорович застал его во дворе перетаскивающим мешки с документами из дома на улицу. Застигнутый врасплох «дворник» растерялся, выпучил глаза, а затем, перекрестившись, утащил последний мешок. Александр Федорович рассказывал об этом случае уже в предпоследний год своей жизни советскому журналисту-международнику Генриху Боровику, навестившему его в Нью-Йорке. А тогда, в Париже, не поведал о краже своего архива ни полиции, ни друзьям – боялся мести чекистов. По этой причине он нигде не упоминал свою жену, детей и сестер, опасался навлечь на них гнев советских агентов, разбросанных едва ли не по всему миру. Он и по улицам ходил, непроизвольно оглядываясь, осторожничал в еде. Но были и радости, связанные с успехами русских эмигрантов, их победами на международной арене. Керенский был восхищен Александром Алехиным, ставшим чемпионом мира по шахматам, и готов был повторять вслед за поэтом Дон Аминадо: «Свет Востока занимайся, разгорайся много крат. Гром победы раздавайся». «Раздавайся русский мат!.. Гой еси ты, русский сокол, в Буэносе и в Айре, вот спасибо, что нацокал Капабланке по туре!.. Все мы пешки, пешеходы, ты ж, орел, и в облаках! Как же нам чрез многи годы, несмотря на все расходы, не воскликнуть наше – ах!»

Александр Федорович до эмиграции не был знаком с поэтом и представлял его, судя по его смелым и глубоким стихам, едва ли не исполином. Но, встретив человека небольшого роста, с прижатыми ноздрями, жадно вбирающими воздух, с горящими, все замечающими глазами, нисколько не разочаровался.

– Аминад Петрович, – с улыбкой обратился к нему Керенский, – я ваш давний поклонник!

– Вы? – вскинул брови Дон-Аминадо.

– Я, – просто ответил Керенский, – хотя и понимаю, что свою сатиру, стихотворение «Любителям бескровной и святой» вы, мягко говоря, посвятили мне, но почему во множественном числе?

– Напомните, – попросил Дон Аминадо.

– Пожалуйста: «Я не боюсь восставшего народа. Он отомстит за годы слепоты и за твои бубенчики, Свобода, рогатиною вспорет животы. Но я боюсь, что два приват-доцента, которые с Республикой на ты, …они начнут юлить и извиваться…» Я не обижаюсь, но не понимаю, почему вы не сказали обо мне прямо – один присяжный поверенный… Почему?

– Вы, как присяжный поверенный, не влезали в размер стихотворения. И в симпатиях к республике были замечены многие, в том числе ваш покорный слуга, – мрачно изрек Дон Аминадо. – Но я, в свою очередь, удивлен тем, что вы на меня не обижаетесь. М-да?

– Нисколько! – уверенно произнес Керенский. – Потому что читал другое ваше произведение – «Как не стать республиканцем в чудном городе Париже?!. Там сверкает и играет каждой каплей галльской крови с юных дней республиканец, с колыбели гражданин!» Я назвал Россию республикой, чтобы указать людям дорогу к гражданскому обществу, хотя знал, что Россия еще не Республика, не готова к республиканским порядкам. Не то что – Париж, Франция! И честно признаюсь, я с удовольствием прочитал ваше стихотворение о Шаляпине. Советы лишили его звания народного артиста за то, что он не вернулся в их объятия. Зачем ему это звание? У него есть всемирное имя – Шаляпин! Ни в одной стране мира, кроме Советского Союза, артистам не присваивают звания. Народы сами решают – это их артист или нет, любить его восторженно или не очень. Вы угадали мои мысли по этому поводу, очень смешно у вас получилось: «Известно ли большой публике, что такое народной артист, народный артист республики? И какой его титульный лист? „Бас всея Великороссии, Малороссии и Новороссии, края Нарымского, полуострова Крымского, Кахетии и Имеретии, и более и не менее, как Грузии и Армении…“ Далее, извините, вспомню сам. Да: „… Как это ни странно, певец советский, артист Соловецкий, Донской и Кубанский, рабоче-крестьянский… Утешитель татарский, Великий халат бухарский, радость всякого эскимоса, Переносица Чукотского носа, любимец узбеков и прочих человеков… Так черкните на скользком, на картоне бристольском, что не царский, не луначарский, не барский, не пролетарский… и не мамин, мол, и не папин, а просто Шаляпин. Авось поймут и у бурят, и у якут“.

Расстались Керенский и Дон Аминадо по-дружески, пожелав друг другу успехов и здоровья. Сложнее складывались у Керенского отношения с Гиппиус и Мережовским. Из России они перебрались в Варшаву, а затем – в Париж, где у них с давних пор была своя квартира. Зинаида Николаевна открыла литературный салон «Синяя лампа», заметное явление в культурной жизни эмиграции. На вечерах «Синей лампы» Керенский не появлялся. И Зинаида Николаевна его не приглашала. После предательства Савинкова, которого она прежде опекала, ей было стыдно перед Керенским. А поговорить откровенно, забыть прошлые обиды, ни у него, ни у нее не хватило духа, а, может быть, и желания. К тому же несносный нрав стареющей поэтессы проявлялся чаще и резче, и друзья не без усмешки называли ее «Ге-Пе-Ус».

Все-таки однажды Зинаида Николаевна заметила Керенскому: «Что ни говорите, а Борис Викторович – писатель оригинальный. Я закладку сделала в его повести „Конь вороной“. Послушайте:

«Я говорю Ольге:

– Значит, можно грабить награбленное?

– А ты не грабишь?

– Значит, можно убивать невинных людей?

– А ты не убиваешь?

– Значит, можно расстреливать за молитву?

– А ты веруешь?

– Значит, можно предавать, как Иуда, Россию?

– А ты не предаешь?

– Хорошо. Пусть. Я граблю, убиваю, не верую, предаю. Но я спрашиваю, можно ли это?

– Можно… Во имя братства, равенства и свободы… Во имя нового мира…

Она – чужая. Мне душно с нею, как в тюрьме».

Александр Федорович нахмурил брови: «Да. Писатель. Но именно как писатель он оказался ненужным большевикам, извините».

Последний раз в Париж Александр Федорович наведался в октябре 1949 года, приехал из Америки. Встретила его Нина Берберова: «Все было странным в этой встрече: то, что он прилетел один, то, что я встречаю его одна, что ему не к кому поехать в первый вечер, что я ему сняла комнату в отеле Пасси, где его, видимо, не знали и где никто не удивился его имени. В Пасси когда-то его очень хорошо знали, теперь оставалось единственное место, где его еще помнили: кафе де Туррель, на углу перекрестка улицы Альбани и бульвара Делессер. Там старые лакеи называли его „господин президент“…

Опять бобрик и голос, но что-то еще больше омертвело в

глазах и во всем лице, впечатление, что он не видит, но и не смотрит…

Он больше интересовался «политической ситуацией», чем положением общих друзей… Он спрашивал о русской печати в Париже, о том, кто остался, кто еще может что-либо делать, видимо интересуясь всем тем, что могло бы в дальнейшем послужить общему политическому делу… Но атмосферы, которую он искал, не было… Была страшная бедность, запуганность, усталость от пережитого… неуверенность в том, что наш злосчастный «статус» бесподданных нам оставят по-прежнему… Он считал себя единственным и последним законным главой русского государства, собирался действовать в соответствии с этим принципом, но в этом своем убеждении сторонников не нашел».

А в Америку он уезжал еще физически крепким. Бобрик на его голове не поредел, лишь немного посеребрился. В движениях ощущалась легкость, необычная для его возраста. Он уезжал от немецких фашистов, подступивших к Парижу, и от русских – типа Пуришкевича, открыто принявшего фашистскую идеологию. И не удивился, увидев на корабле, шедшему к американскому берегу, несколько еврейских семей. Василию Шульгину после Октября удалось пробраться в советский Киев и он в своем рассказе об этом возмущался «обилием» евреев на улицах города и старался всячески унизить их, приводя слова молодого еврея, обращенные к девушке: «Скажите ваше имья! Ваше имья!»

Керенский, став министром юстиции Временного правительства, первым делом добился уравнения в правах всех людей, независимо от их национальности, и не удивительно, что евреи из местечек, из черты оседлости, угнетенные бесправием, хлынули в города. Кто-то из них стал учиться инженерному делу, кто-то медицине, кто-то художничеству, а кто-то, и таких было немало, пошли по более легкому пути – в советское комиссарство и ЧК. И эти многие посчитали, что из черты оседлости их освободил Ленин, а не он – Керенский. Точно так же, как многие представители других национальных меньшинств – башкиры, латыши, китайцы… Мало того – башкиры и китайцы организовали целые полки, которые отчаянно сражались с белой армией, а латыши проявили такую преданность новой власти, что им доверили охранять Ленина и Кремль.

Александр Федорович не корил себя за то, что объявил в России равноправие народов – это необходимое условие любого демократического государства, и пусть лавры за это благородное решение достались его противнику, пусть, главное, что это равноправие стало достоянием людей, а как они его использовали

– тут он был бессилен им помочь, слишком короткое время работало Временное правительство, и Учредительное собрание разогнали, а там большинство составляли эсеры и меньшевики и, без сомнения, оно избрало бы отнюдь не большевистский строй, однопартийный и потому тоталитарный. Но тем не менее не должны забыть армяне, что он в свое время, будучи адвокатом, спас от гибели лучших деятелей армянской культуры.

Керенский в восемнадцатом году покидал родину на военном корабле, усталый и беспредельно грустный, отягощенный горькими думами, а теперь плыл в Америку на современном теплоходе, был бодр и настроен оптимистически, всем своим видом показывая, что его не сломила нелегкая эмигрантская судьба, что он не изменил своим устремлениям и принципам.

Теплоход приближался к берегу, к городу, усеянному высокими зданиями, конца им не было видно, и все отчетливее вырисовывалась статуя Свободы, наверное, той Свободы, которой он, Александр Федорович Керенский, посвятил в России свою жизнь. Россия – не Америка и не Франция – для России демократия – положение новое, не всем понятное и даже нужное, но тот, кто познал свежесть, чистоту и прелесть Свободы, тот не забудет это сладостного ощущения никогда.

Глава девятнадцатая
Америка, Америка…

Александр Федорович сошел на берег, почувствовал под ногами землю и повеселел, не думая о том, что земля чужая, и в Берлине, и в Париже она была чужой, но всегда придавала уверенность ему, в отличие от моря или океана, зыбких и опасных, на которые была похожа русская земля в последние дни его пребывания на родине.

– Вы француз? – спросила у него одетая в специальную форму работница пропускного зала.

– Русский, – ответил он и протянул ей паспорт, выданный ему еще в царское время.

– Бесподданный? – широко раскрыла она глаза. – До сих пор?

– Да, – подтвердил он, – я – русский.

Он знал, куда ему идти в Нью-Йорке. В Питсбургское землячество. Он довольно быстро нашел его помещение и поразился количеству русских землячеств в Америке – Московское, Воронежское, Курское, Саратовское, украинское, белорусское!.. Никто не препятствовал их существованию. Земляки помогали друг другу и не обошли своей заботой Керенского, смотрели на него удивленными глазами, но приятно удивленными.

– Керенский! Неужели это вы?! – воскликнула обаятельная, средних лет дама, ведающая регистрацией новых членов в землячестве.

– Можете потрогать, – пошутил Александр Федорович.

– А что? Вот и попробую! – неожиданно с лукавинкой во взгляде, загадочно и многообещающе произнесла дама. – Вы где остановились?

– Нигде, – растерянно вымолвил он.

– Придется устроить вас у себя! – решительно, не терпя возражений, сказала она.

Александр Федорович понял, что нравится этой интересной даме. Он и раньше не был обделен женским вниманием, но тут, в Америке, в новой стране, симпатия, проявленная к нему землячкой, придала уверенность в себе.

– В вас есть что-то от Распутина, – томно заметила дама, – вы не дали мне уснуть целую ночь… А я думала, что вы автор Приказа № 1, глава Временного правительства, только и всего… А вы… Очень недурны, очень…

Керенский не ожидал, что сравнительно быстро обустроится в

Америке, и объяснил это высоким уровнем жизни всего народа – голодающих и пьяниц не встречал. Бедность видел, но не столь удручающую, как в России. Америка пережила Великую депрессию, жуткие гримасы сухого закона, смертельно опасную вражду между белыми и черными, еще до конца не искорененную, но не столь сильную, чем прежде; наверное, американская демократия не была безошибочной, но во главе страны находился мудрый, честный и вольнолюбивый президент – Франклин Делано Рузвельт, который насколько мог, сделал страну демократичной и богатой, где свобода стала реальной не только в виде статуи. Керенский почувствовал свою нужность в этой стране, пусть в среде русских эмигрантов. На большее он и не рассчитывал, но эта востребованность давала ему силы, продлевала энергичную жизнь. Его лекции «Накануне Февраля» и «Февраль и Октябрь» собирали большие аудитории, в разных городах. Он читал эти лекции и в Париже, но там больше защищался от нападок недовольных эмигрантов, считавших, как Зинаида Гиппиус, что он безвольно провалил революцию и допустил к власти большевистскую заразу, а здесь говорил наступательно, не скрывая промахов, но будучи уверен, что выбранный им путь, в главном, в основной своей цели, был правилен и единственен: «Ошибка, если можно так назвать неизбежность, заключалась в том, что, поддавшись, под влиянием Корниловского заговора, новому припадку навязываемой идеи о грядущей контрреволюции справа, вожди советской демократии, заключив в сентябре фактическое перемирие с большевиками, открыли свой тыл опаснейшим и злейшим своим врагам. Сбылось еще майское наше с Церетели предсказание: „Контрреволюция в России перейдет через левые двери!..“

Не таится ли источник пережитых нами великих испытаний и несчастий в чрезмерной нашей терпимости ко всему, что носит левое обличье? Было бы величайшим для России несчастьем, если опять, как в 1917 году, мы вовремя не опознаем под личиной революционной левизны самое обычное реакционное нутро!»

На одной из лекций, из зала донесся упрек раздраженного слушателя: «Вы и ваше правительство топтались на месте. Вокруг земельной реформы. Допустили развал армии. А теперь?»

Керенский побледнел, черты его лица заострились, было видно, что он взволнован, но ответил он незамедлительно: «Да, в медленности восстановления дисциплины в армии военное министерство повинно. Но пусть строгий обвинитель вспомнит, какие препоны пришлось преодолевать нам при этой реорганизации? Не вспомнит ли он, с какой нечеловеческой энергией и самоотвержением приходилось комиссарам военного

министра, почти исключительно эсерам и меньшевикам, вырывать армию из-под гипноза большевистской и неприятельской демагогии? Даже в собственной среде мы иногда были бессильны против отражения этой демагогии. А насчет земельной политики приведу мой разговор с Е. К. Брешко-Брешковской. „Вот взял бы вовремя, – говорила она, – знающих, дельных людей, хотя бы того же Х. Он бы за шесть-то месяцев много наделал. С такими людьми успел бы вовремя землю поделить. Все крестьянство и успокоилось бы и за правительство горой стояло. Смелее надо было бы действовать…“ – Ну, помилуйте, бабушка, – отвечал я, – грандиозная земельная реформа, небывалая еще в истории человечества, подлежащая к осуществлению на безграничном просторе Российского государства, не могла быть проведена не только в шесть месяцев, но и в шесть лет. Всякая поспешность под давлением разожженных демагогией аппетитов привела бы к такому земельному хаосу, в котором десятки лет нельзя было бы разобраться. Как перемирие большевиков с врагом превратилось в бесконечную цепь гражданских и внешних войн, так и стихийная социализация земли превратилась в подлинную земельную анархию. Разве я не прав?

На минуту в зале воцарилось молчание, а потом возникли аплодисменты людей, согласных с выводом Керенского. Воодушевленный этим, он продолжал: «Да, армия, земля, мир – это были поистине нечеловеческие задачи, которые должна была разрешить Февральская революция, но делать это приходилось, обороняя страну от жесточайших ударов закованного в броню всей современной техники врага и защищая едва родившуюся свободу от безумного натиска внутренней анархии, шкурничества и измен… Нужно же, наконец, из-за деревьев всех этих переходящих мелочей увидеть самый-то лес, самую суть исторической драмы, закончившейся временной, подчеркиваю – временной, победой демагогической реакции над революцией – единственной, ибо никакой новой революции в октябре не было.

Неужели спасение и освобождение России невозможно, пока не превратятся в эсеров и меньшевиков последние «красные бойцы» Ленина, пока не выйдут из «сферы притяжения коммунизма» последние бородатые и безбородые утописты? Неужели для них нужно отшвырнуть от себя свое прошлое, всю традицию Великой революции, как дымящиеся головешки и возжечь новые маяки для перепевов большевистской демагогии? Нет, пусть назовут меня «варваром» и трижды предадут отлучению, я останусь у старых маяков, к которым еще вернется Россия».

Керенский сошел с трибуны и медленно направился к кулисам. Слушатели наградили его дружными аплодисментами, но не как артиста, доставившего им своим искусством удовольствие, а как человека, настроенного с ними на одну душевную волну, побудившего их сердца к тому доброму и славному, чему они были участниками в незабываемом феврале. После одной из лекций, на выходе из зала, Керенского остановил чей-то знакомый голос. Он обернулся:

– Аминад Петрович! Здравствуйте! Я знал, что вы в Америке!

– А где вы хотели, чтобы я находился? В гетто? – улыбнулся Дон Аминадо.

Они заговорили, иногда перебивая друг друга от нахлынувших на них чувств, переживая и прошлое, и то, что сейчас происходит в России. Дон Аминадо читал свои последние стихи: «Все хорошо на далекой отчизне. Мирно проходит строительство жизни. Только… Раковскому шею свернули, только… Сосновский сидит в Барнауле, только… Сапронова выслали с ним, только… Смилга изучает Нарым, только, как мокрые веники в бане, Троцкий и Радек гниют в Туркестане, словом, гранит, монолит, целина! „Только не сжата полоска одна“… Только опять не везет Микояну, опять по разверстке, по плану, в очередь, в хвост растянулась страна… „Только не сжата полоска одна“.

Дон Аминадо закончил чтение и опустил голову.

– Вы жалеете, что большевики в борьбе за власть уничтожают друг друга? – поинтересовался Керенский. – Видите разницу между Лениным и Каменевым, Сталиным и Бухариным?

Дон Аминадо отрицательно покачал головой и ответил стихами: «И смех, и веселье, и радость в политике! Советская власть от большой самокритики опять расстреляла, казнила, повесила… И все очень просто, и все очень весело!»

– Да, все это очень печально. – Согласился с поэтом Керенский. – Вы знаете, что обо мне сообщают советские газеты? Я, конечно, ярый контрреволюционер и наймит западной буржуазии, подголосок американских капиталистов. К сожалению, в Америке очень мало и куцо пишут о нынешней России. Дон Аминадо на несколько мгновений о чем-то задумался, наверное, о том, что собрался написать, услышав эти слова Керенского. Вскоре Александр Федорович прочитал: «Все повторяется, но масштаб другой. В Петербурге – Гороховая, в Москве – Лубянка. Мельницы богов мелят поздно. Но перемол будет большой и надолго. Рыть поглубже, хоронить гуртом. Социальная революция в перчатках не нуждается. На Западе ужаснутся. Потом протрут глаза. Потом махнут рукой, и станут

разговаривать. О марганце, о нефти, о рудниках, о залежах. Сначала купцы, затем, интуристы. Икра направо, икра налево, рябиновая посередине. Сначала афоризмы, потом восхищение: „Родильные приюты для туркменов, грамматик для камчадалов, „Лебединое озеро“ для всех“.

Идут годы. Авторитет Керенского в научных кругах Америки растет.

Он приглашен на работу в Гуверовский институт войны, революции и мира. Он сам – подлинная, живая история. Снимает уютный домик в Пало-Альто, тихом и зеленом городке невдалеке от Станфорда и Сан-Франциско – самого европейского города Америки. Там давно уже поселились первые русские. У них своя улица. Рядом с Русским холмом. Неподалеку, за сквером Филберт-стрит, стоит церковь Святых Петра и Павла. Пятнадцать лет строили. По своему роскошному внутреннему убранству не уступает собору. Многие русские успели разбогатеть. Немалые деньги жертвуют церкви. Там собираются. Пришел и Керенский во время богослужения. Вдруг люди, прервав молитву, зашептались, стали оборачиваться на него. Лица их были удивлены, но добры. Кто-то улыбался ему, кто-то смотрел сочувственно. И он разглядывал их. Это был тот народ, ради которого он жил, которому хотел дать цивилизованную свободу. Они приехали за ней в Америку, впрочем, как и он. Потом в его душе возникла необходимость общения с ними. Он часто бывал в этой церкви. Религия объединяла в изгнании всех русских, и он становился религиозен. Ему рассказали, что в Сан-Франциско гастролировала Анна Павлова. Здесь начинал карьеру балетмейстер Георгий Баланчивадзе, по-американски – Баланчин. В возрасте трех лет сюда привезли Иегуди Менухина – уже ставшего знаменитым скрипачом. Керенский познакомился с композитором Эрнстом Блохом – тоже выходцем из России. Он возглавлял местную консерваторию. Рассказал Керенскому, что встречал Бейлиса. Он молился за всех, кто защищал его. Блох сыграл Керенскому на скрипке свое любимое произведение – «Плач Израиля». Слушая его, Керенский прослезился – грустная мелодия напомнила ему Нелль, в душе вспыхнули незаслуженные обиды, от которых спазмы сжали горло. Он был всегда в меру сентиментален, но с годами, с переживаниями – все более и более. Но внешне казался недоступным сантиментам. В Станфорде коллеги уважали его, ценили за выдержку, за прекрасное знание предмета, который он преподавал. Студенты обращались к нему не иначе как «господин профессор». Это звание поднимало его в собственных глазах. Станфорд был, пожалуй, самым серьезным научным учреждением в Америке.

Еще в 1923 году два его сотрудника поехали в Россию, чтобы узнать, что там происходит на самом деле. И Керенский был для университета сущей находкой. Его лекции по истории России были одними из самых интересных и посещаемых. Здесь он ощутил свою нужность – столь необходимое для его души и сознания чувство. В библиотеке хранились материалы царской охранки, которую он разгромил, не подумав об ее архивах. Понял свою ошибку, когда просматривал их и находил там интереснейшие сведения об известных большевиках, служивших до 1917 года агентами охранки, и даже сведения о себе, о том, как за ним велась слежка. Архивы привез в Америку полковник царской армии. Он спас их, вынеся из горевшего здания. Хотел увидеться с этим полковником, но он жил в другом конце Америки. Россия была бесконечно далеко, за морями-океанами, ненамного дальше, чем Франция, где прошла нехудшая часть его жизни. Там остались друзья. Они писали ему – Берберова, Алданов, Маклаков… Прислал письмо поэт и прозаик Георгий Иванов, перемешивая русские буквы с французскими, просил прислать хоть «чутку» денег, так как сидит без гроша – «ухнули книжку стихов». И приводит строфы Осипа Мандельштама о нем, Керенском, из последней книги поэта, изданной Струве и Филипповым в Америке. Стихи совершили головокружительный путь из Америки во Францию и обратно – к тому, кому были посвящены.

Керенского распять потребовал Сенат,
И буйно чернь рукоплескала.
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало.
Так в октябре семнадцатого года
Мы потеряли все, любя,
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил самого себя.

Читая стихи, Керенский испытал удовлетворение. Он был прав, подумав ранее о том, что люди, создающие добро, не уходят из жизни бесследно. Мандельштам – ни на кого не похожий, своеобычный и правдивый поэт. Достанется ему от большевиков, бедняге…

Вся русская зарубежная демократическая элита не забывает, поддерживает его, своего первого министра-председателя, и сейчас, спустя полвека после великих страстей 1917 года, шлет ему весточки за океан. Они приходят, как расписные яхты из ожившего давнего прошлого, знаки доброты и искреннего

внимания.

> *«Дорогой Александр Федорович,* – обращается к нему Марк Алданов, – пишу кратко, так как очень устал. Сначала путешествие, потом несколько дней в Париже, навестил всех старых и порой больных, как Бунин, Коновалов, потом Ницца, где у нас были и есть гости. Все вам сердечно кланялись: и мои родные, и парижские друзья. Но в политическом отношении Вас не одобряют, и история с «власовцами» мне лично смертельно надоела. Я пишу Вам больше об этом, потому что просят друзья. Они чрезвычайно взволнованы тем, что Вы, по их словам, будете «совершенно конченым человеком», если «европейская демократия», то есть социалисты, узнают, что Вы решили работать с бывшими «власовцами», так ли это – не знаю.
>
> Как Ваше здоровье? Дает ли себя чувствовать нога? Очень надеюсь, что в эти стоградусные дни Вы были не в Нью-Йорке. Здесь, в Ницце, погода идеальная. Если будете во Франции, то очень просим приехать к нам погостить. Единственное: обилие коммунистов. Как ни странно, Ривьера их бывшая цитадель. Уже возобновил работу над своей философской книгой и очень рад. Пушкин был прав: политика – последнее дело (хотя и самое необходимое).
>
> Шлю Вам сердечный привет и наилучшие пожелания».

Александр Федорович побледнел, снял очки и отложил их в сторону. Марку легко – сел за свою книгу. А что делать ему, политику? О 1917 годе он напишет, о прошлом, а что делать в настоящем? Ведь нужно разобраться во «власовском движении». Что за люди вошли в него? Не могла быть целая армия предательницей. Может, в нее входили дети тех «крепких мужиков», которых большевики изничтожали как кулаков, люди, желающие работать не на колхозной, а на своей земле, желающие сами распоряжаться плодами своего труда? Они, по сути, не воевали против России. Были брошены Гитлером в бойню только в конце войны, в Чехословакии, и, как пишут американские историки, поддержали восстание чехов в Праге, перешли на сторону русской армии. Так ли это было? Помогут ли ему оставшиеся из них живыми освободить родину от смертельной хватки Кремля? Лучше, чем Алданов, более глубоко вникает в его состояние Базиль Маклаков. Ему, пожалуй, можно будет доверить свой архив. Он не льет елей на его душу. Он говорит правду

такой, как видит. Керенский берет письмо Маклакова, своего старого друга, и перечитывает его с середины, с самых волнующих строчек: «В 1917 году у меня не было сомнения, что не Вы добивались власти, а общественное настроение, даже Ваших противников, толкало Вас на это опасное место. Вы были одним из немногих представителей революционного идеализма, который в благо революции верил без колебания, не притворяясь, как члены Временного комитета Государственной думы, и поэтому все инстинктивно возложили последнюю надежду на Вас. И отдаю Вам справедливость: Вы тогда не пошли за толпою, когда она истинное свое лицо стала показывать, Вы сознательно шли на непопулярность. И в этом Ваша трагедия, как я ее понимаю. Я вам тогда напомнил фразу Аксакова, которую Вы через несколько дней использовали. Аксаков сказал: „Вы не дети свободы, а взбунтовавшиеся рабы“. А истоки Вашей теперешней, уже эмигрантской трагедии заключаются в том, что Вы не можете смириться с амплуа зрителя и наблюдателя того, что происходит в России. Для активной деятельности сейчас нет нужных условий. Вы помогаете иностранцам отличить Россию от Кремля. Полезное и успешное дело. Но наивно считаете, что без внешнего толчка можно одними внутренними силами свергнуть Кремль. Ваши мысли о том, что если внутренние революционные силы начнут проявлять себя, то Кремль свалится, напоминают мне рассуждения человека, выскочившего из 6-го этажа дома и рассчитывающего остановиться на уровне этажа третьего.

Режим кремлевских владык, в отличие от самодержавного, не может рухнуть, потому что в силах охранять себя. Мы раньше верили, что для оппозиции Красному Кремлю есть организованные силы, что в связи с войной возможна «эволюция», что кремлевские вожди пойдут на уступки, что сопротивление им возникнет не только в подполье, но и наверху, в самом аппарате. И жестоко ошиблись.

Я думаю, что желание революции у многих продиктовано жаждой мести и злобы. Не отношу этого к Вам, так как помню, что в 1917 году Вы, как истинный демократ, защищали побежденных врагов. Понимаю Ваши слова: «Вы мало ненавидели» по отношению не к людям, а к строю, который их обманывает, а они, как твердокаменные глупцы, его поддерживают. Среди «власовцев», брошенных вождем на гибель среди болот, были разные люди: и трусы, и подлецы, и ненавидящие тоталитарный строй России, культ Сталина. Если был бы возможен сговор с Советской Россией и врагами Сталина, то я предпочел бы такой компромисс военному разгрому страны».

Александр Федорович почувствовал, что на глаза

навертываются слезы, и отложил письмо от стопки других писем. Он не сетовал на старость, на более частые проявления сентиментальности. Не в них дело, не от них слезы, а от удивительного, искреннейшего сопереживания Маклакова всей его жизни. Никто еще не говорил и не скажет ему, что он, «как истинный демократ», не пошел за толпой, пошел «на непопулярность», «защищал побежденных врагов». Они, враги, жестоко обошлись с ним, готовили ему «первую пулю». Но в его сердце нет чувства мести к россиянам. Они польстились на утопическое обещание им сказочного благоденствия при коммунизме. Маклаков ироничен насчет его веры в свержение кремлевских владык кем-нибудь из их же среды, человеком умным, смелым и честным. Сам народ, оболваненный единомыслием, скованный охранкой, почище и куда лютее, чем царская, вряд ли подвигнет себя на революцию, но он вряд ли растерял полностью свои лучшие умы – отсюда возможно его возвращение к строю, построить который пытались лучшие люди России в 1917 году. Пусть он, профессор истории, в своих мечтах заходит слишком далеко, в невероятное, но он чрезмерно упрям, веря, что капля точит камень. Кто-нибудь и когда-нибудь, пусть даже через столетие, прочитает это выдающееся письмо Маклакова и сравнит свои и их взгляды на жизнь. Возможно, через столетие-другое положение в России изменится. Еще ни один тоталитарный режим, ни одна диктатура не властвовала вечно. Милый Базиль, родной человек, не забыл ли ты об этом?

Александр Федорович вытер слезы платком, нацепил очки и потянулся к письму человека с инициалами Н. Б., сравнительно недавно, позже его бежавшего из России. Душа его еще не избавилась от страха, коим наполнилась в Совдепии, вот он и пишет под инициалами, от лица мужчины, а это женщина – Нина Берберова: «Поражает в народе непреодолимая завистливая злоба ко всему, что возвышается над ним, хоть на волос; к чужому ли, к своему – безразлично. Злоба безумная, беспощадная и стремление все и вся принизить, и унизить, и непременно обгадить.

Есть приличные люди в народе? Да, их совсем немало, но они рот открыть боятся, и обособленность стала чуть ли не химическим составом их крови. Я не сомневаюсь, что у Вас нашлось бы там достаточно читателей, но я сомневаюсь в том, что вы смогли там писать».

Прочитав эти строки, Александр Федорович улыбнулся, зная, что писать там он не смог бы – хотя бы по той причине, что был бы повешен, как генерал Краснов, или поставлен к стенке.

Дальнейшее чтение письма было мукой сознания и понимания деградации родины: «Человека в России повсеместно

и во всем преследуют неудобства, все вкривь и вкось. Культура труда упала так, что там трудно поесть вкусно и без мухи в супе, прилично одеться, оградиться от клопов. Воровство стало атмосферой, провести границу между ворами и порядочными людьми уже невозможно, потому что воры приняты на службу, а служащие стали воровать, и не только на службе.

Вы ботинок починить как следует не можете, и не только потому, что люди разучились быть добросовестными, а с истреблением национальной гвардии мастеров утратили секреты ремесла.

Одного изгнания большевиков теперь уже недостаточно, чтобы излечить страну от культурного малокровия. Кто научит сапожников, булочников, портных работать не по-стахановски, а по-человечески. Кто научит учителей грамотно писать и говорить «шире», а не «ширше»? Их начальники? Говорящие и пишущие еще безграмотнее.

Я брезгливо боюсь народа с той же силой, с какой он ненавидит меня, вас и всех, в старой русской гончарне закаленных. Я не смею любить народ, двадцать лет топтавший мои лучшие патриотические чувства и лишь по неуклюжести не успевший растоптать меня самого.

Я разлюбил народ за то, что он опозорил и изгадил мою величественную родину, уничтожил лучшее, что в ней было, – нашу юродивую чеховскую интеллигенцию. Уничтожил себе во вред, но с удовольствием.

Я люблю своего замечательного, молодым погибшего отца, но на кладбище, на Ваганьковском кладбище, где он похоронен, компатриоты разрывают свежие могилы, раздевают покойников и воруют кресты. Деревянные – на топливо, металлические – на войну. И как я ни чтил своего отца, свое отечество, но на это страшное кладбище я не вернусь даже в гробу. Пройдут многие десятилетия, прежде чем мы смогли бы вернуться туда, где была наша родина, чтобы безбоязненно жить там и продуктивно работать. Но раньше страна и народ должны претерпеть мучительный процесс перерождения, и горько разочаруется всякий, кто попытается этот процесс сократить, – сделать это не легче, чем ускорить смену поколений. Мы уже с Вами, с нашей патриотической жилкой, сыграли бы не большую роль, чем ложка меда в бочке дегтя. Слишком мало нас осталось, чтобы преодолеть прочно воспитанное в народе недоверие к нам, слишком нас там не любят. Простите, если огорчил Вас».

Александр Федорович не первый раз, но со жгучим интересом прочитывал это письмо, жуткое по фактологии, но не фатально пессимистическое, с верой в пробуждение России, пусть даже

через «мучительный процесс перерождения», пусть даже через череду поколений.

Александр Федорович читал эти письма в последний раз. Составлен личный архив. Он покидает Стенфорд. На шестидесятом году жизни профессоров отправляют на пенсию. Выйдет ли она ему, человеку без подданства? Но зато в этот год им оплачивают поездки в любую часть света, конечно для чтения лекций, для научной работы. Он поедет в Париж. Надо послать письмо Берберовой, чтобы она встретила его. Александр Федорович разложил письма и другие документы по конвертами, сдал дежурной по русскому архиву, находящемуся в башне Гувера, в библиотеке. В нижней части башни, на первом этаже, располагался музей Гувера. Он остановился у портрета его жены, восстановившей башню после землетрясения. Теплые глаза женщины, занятой вязанием, придали страстность его мыслям. В другой комнате под стеклом лежала полустертая от времени благодарственная грамота, выданная Гуверу одним из советских ревкомов в 1923 году. Керенскому, порою галлюцинирующему, наверное от пережитого, показалось, что молодой Гувер улыбается ему с портрета: «Я не был столь наивным человеком, как вы, Александр Федорович, и я знал, как большевики бесчеловечно поступили с вами. Поэтому я потребовал от ревкома, чтобы распределением помощи занимались мои люди и она дошла до голодающих, до таких, как этот», – и Гувер показал на висящий на стене плакат, где исхудалый русский мужик с полубезумными глазами, всклокоченными волосами, в длиннополой домотканой, неподпоясанной рубахе, открыв рот, взывал ко всему миру: «Помогите!» Гувер исчез, а орущий от голода мужик остался. «Это было после 1917 года», – опустил голову Александр Федорович и вышел из башни. Он медленно проходил мимо причудливых фигур Родена к автобусной остановке, откуда собирался вернуться домой, в Пало-Альто, но вдруг до боли в сердце ощутил тоску, понимая, что больше не вернется сюда, к письмам, сохраняющим для потомков правду о его жизни, но захотят ли они знать ее? Он слышал, как про него говорили работники русского отдела: «Чистит свой архив. Для истории. Чтобы в архиве не было пятен».

Александр Федорович не отреагировал на их слова, хотя не прочь был бы сказать им, что он не только «не чистит свой архив», даже вложил в него сугубо критическое в свой адрес письмо. Пусть будут разнообразные мнения о его жизни.

Подошел автобус, и он ловко вскочил на ступеньку. Шестьдесят лет – возраст еще далеко не старого мужчины. Впереди – Париж. Найдет ли он там единомышленников,

сторонников своих помыслов? Берберова знает тамошнюю обстановку лучше его, уехавшего из Парижа девять лет тому назад. Увы, во Франции он не нашел сторонников, готовых поддержать его в борьбе с Кремлем. Как писала Берберова, «А. Ф. поехал в Германию создавать какой-то русско-американский или американо-русский комитет. Из того для него вышел один конфуз». Впрочем, на что-то путное он там не надеялся. Действовал по инерции души, нацеленной и страждущей, не так сильно, как в годы зрелой молодости, но еще достаточно активно. Он осознавал, что остался один, ушли из жизни могучие деятели России, с которыми зачиналась свобода в 1917 году. Князь Георгий Евгеньевич Львов скончался еще в 1926-м, Александр Иванович Гучков – в 1936-м, Павел Николаевич Милюков – в 1943-м. Может, стоило им оставаться вместе до конца. Три ума лучше, чем один. В 1938 году не стало культурного посла России во всем мире – Федора Ивановича Шаляпина.

Керенский понимает, что пора приступать к написанию мемуаров, пора, пока еще живут в памяти воспоминания минувших лет, есть документы в архивах. Обусловливает для себя время обзора – от рождения по 1917 год. Уходит в работу полностью. Моментами ему кажется, что он опустошен, более не возьмется за перо, но два-три дня отдыха – и снова его манит работа, медленно, но уверенно ведущая описание к пику жизни. За те годы, что он создавал мемуары, окончательно посеребрились его волосы. Бобрик остался цел и крепок, но поседел. Заново пережить жизнь, пусть и за письменным столом, оказалось делом благодарным, но и безмерно тяжелым. Зато велико было счастье держать в руках сигнальный экземпляр книги, пахнущий типографской краской и, как ему казалось, несущий ароматы волжских трав, незабываемые запахи леса и русских грибов, маминых волос…

Книга, о которой он мечтал, увидела свет, но читателей ее оказалось меньше, чем он предполагал. Просто он не заметил, как его соотечественники уходили из жизни. Их дети, за небольшим исключением, жили интересами той страны, где пребывали. На последнюю его лекцию, пятидесятилетия февраля, в Колумбийском университете собралось ползала – человек двести. Но он не подал вида, что огорчен этим, и выступил энергично, говорил громко, не чурался самоиронии, когда она требовалась. Это было новым и для него, и для слушателей. «Умение шутить – признак молодости души», – говорили ему после лекции. Человек двадцать окружили его в вестибюле, и это были прекрасные люди, с радостью встретившие февраль семнадцатого и не забывшие его через полвека.

– Я захватил бы вас с собой и никогда не отпускал от себя, – сказал он им, – рядом с вами я забываю о болезнях… Готов летать…

Он не удивился, когда одна из зрительниц предусмотрительно взяла его за рукав. Но это был недолгий эмоциональный взлет. Были и другие дни, праздничные для него. Один из них – творческий вечер приехавшего из России поэта Андрея Вознесенского, состоявшийся в том же зале в 1965 году. Вот как об их встрече рассказывает сам поэт: «На мой вечер в Колумбийском университете пришла американская любовь Вл. Маяковского – Татьяна Яковлева, – почти одновременно… с Керенским.

В антракте я вышел в фойе. Вдруг передо мной расступилась толпа – и высокий страстный старик с желтым бобриком пошел мне навстречу. «С вами хочет познакомиться Александр Федорович», – сказала по-русски моложавая дама. «Ну вот еще кто-то из посольства явился», – подумалось.

Но желтолицый старик оказался явно не из посольства.

– Вы не боитесь встречаться со мной?

Я пожал его сухую, крепкую ладонь. И тут до меня дошло – это же Керенский.

– Что вам прочитать во втором отделении?

– «Сидишь беременная, бледная» и «Пожар в Архитектурном», – заказал первый премьер демократической России. И пригласил к себе попить чаю.

Оказалось, что он никогда не переодевался в платье сестры милосердия. Это была пропагандистская деза. Ленина он уважал как гимназиста-однокашника. Причиной своего падения считал интриги Англии, с которой он не подписал какие-то договора. Судя по женской ауре вокруг, он продолжал пользоваться успехом удам.

В салоне Татьяны Яковлевой его я не встречал, – вероятно, он был недостаточно изыскан и демократичен… Последними завсегдатаями в ее доме были Бродский и Барышников. В углу комнаты скромно сидели два Романовых, Никола и Никита, один из которых говорил по-русски почти без акцента и был женат на очаровательной итальянке, владелице фабрики бижутерии. Когда я читал без перевода свои «Колокола» и дошел до строк «Цари, короны…», до меня дошло: так вот же они, цари, передо мной, слушают, внимая и обожая стихию музыки русского стиха».

Этот отрывок из воспоминаний поэта напечатан в пятом томе его собрания сочинений, который мне любезно передал Андрей Андреевич. Судьба свела нас в июне 2003 года в подмосковном доме творчества «Переделкино», за одним столом в столовой.

Андрей ответил на мои вопросы.

– «Расступилась толпа», – пишешь ты. Значит, он пользовался уважением среди русских эмигрантов?

– Безусловно. Уважением, авторитетом.

– А где жил? Куда пригласил тебя на чаепитие?

– Одна из поклонниц отдала в его распоряжение половину дома.

– Заказал тебе стихи? Выходит, знал их?

– Знал.

– Они чем-то были близки ему?

– По-видимому.

– А может, он не был в салоне Яковлевой не потому, что был «недостаточно изыскан». Там присутствовали Романовы, а он – ниспровергатель их династии. И возможно, обвиняемый ими в том, что не проявил нужного рвения в спасении Николая II и его семьи. К тому же в салоне находились люди из последней волны эмиграции, о которой он мог высказаться нелицеприятно. И вообще, он был чрезмерно резок с людьми, если чувствовал в их отношении к себе неуважение, усмешку. Приглашая его, Татьяна Яковлева рисковала заполучить в своем салоне конфликт.

– Не исключено, – согласился Вознесенский. Поэт говорил отрывисто, тихо, поскольку еще полностью не отошел от болезни. Старался держаться бодро и иногда улыбался иронично и мило, как и в прежние времена, когда мы с ним вместе выступали в Харькове.

– А о чем вы с Керенским говорили во время чаепития? – интересовался я.

– Не помню, – вдруг отрезал Андрей, – с нами был переводчик. – Он назвал фамилию переводчика. – Ты знал его?

– Откуда? – удивился я и поблагодарил Андрея и его жену за принесенный мне том.

И Керенский и Вознесенский, конечно, знали, кем является переводчик, какие функции исполняет помимо переводческих. Поэтому откровенно поговорить не смогли.

Позднее Керенского в Нью-Йорке разыскал журналист-международник Генрих Боровик. Александр Федорович сказал ему, что любит поэзию Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и давно читает несравненную Ахматову. Не сказал, что они в его глазах – надежда России. Журналист выглядел весьма благополучно и почему-то сфотографировал его со своей женой, а не с собою… Боровик разыскал его, а на вечер Вознесенского Александр Федорович пришел сам. Он с нетерпением ждал этого вечера и не уезжал в Нью-Йорк, где тоже мог встретиться с поэтом, но, наверное, в более официальной обстановке, чего ему

не хотелось бы. Он знал многие его стихи наизусть. В них чувствовался запал Маяковского, но стиль и содержание были сугубо личностными, в них шумела и искрилась нетерпимость ко всякого рода пошлости – от политической до бытовой, а иногда нежно и тихо высказывалась лирика. Когда Вознесенский читал его любимые стихи, Александру Федоровичу хотелось встать и выслушать их стоя – в знак искренней признательности поэту за его смелость и стойкость, «недаром» обруганного большевистским лидером Хрущевым. Керенский видел Хрущева в Америке приехавшим в Сан-Франциско на открытие Ассамблеи Объединенных Наций – мужик, возведенный в ранг главы государства. Наверное, мог бы стать хорошим фермером. Выпустил из лагерей оклеветанных коммунистов, но всеобщую амнистию политических заключенных не объявил. Так и дожили в лагерях до своего конца еще чудом сохранившиеся тогда кадеты, меньшевики и эсеры… Вознесенский читал стихи громко и распевно, похоже на то, как произносил речи Керенский, которые, по признанию Берберовой, «выходили у него стихами». И по содержанию они были близки переживаниям Александра Федоровича, уводили в пору молодости:

Сидишь беременная, бледная,
Как ты переменилась, бедная.
Сидишь, одергиваешь платьице,
И плачется тебе, и плачется.
За что нас бабы балуют,
И губы, падая, дают,
И выбегают за шлагбаумы,
И из вагонов отстают?

Стихи лились безбрежно, как Волга весною, в период половодья, и за поездом, увозившим Александра Федоровича в Могилев, мелко перебирая ножками, спешила и махала ему платком Тиме, кажется в ту пору беременная…

О, юность, феникс, дурочка,
Весь в пламени диплом!
Ты манишь красной юбочкой
И дразнишь язычком.
Прощай, пора окраин.
Жизнь – смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь – горишь.

Александр Федорович настолько сопереживал поэту, настолько ушел в воспоминания, что очнулся лишь тогда, когда в зале раздались аплодисменты. «Живешь – горишь», – подумал он, – это так, но неужели я уже сгорел, как кажется даже старым знакомым. Или они хотят видеть меня уже сгоревшим, еще в семнадцатом году?» Вероятно, он был прав. И Берберова в «третий период» их знакомства, в той же середине шестидесятых, когда он встречался с Вознесенским, описывала его так: «В шестидесятых годах мы виделись не более двух-трех раз в год, то есть я видела его. Меня он уже не видел и никаких моих писем прочесть не мог. По полутемным комнатам, старомодным покоям дома Симпсонов, где он жил, опекаемый слугами-японцами, служившими в доме с незапамятных времен, он бродил ощупью между своей спальней, библиотекой и столовой… Я даже совета у него не просила, а совет, между прочим, в США важнее всего на свете. Но он не любил давать советов, и я это знала, он не любил касаться чужих проблем, чужих трудностей. Возможно, что он боялся риска, потому что в каждом совете есть риск».

Александр Федорович, несмотря на старость и постоянные болезни, сохранил высокое чувство человеческого достоинства. «Вы представляете меня немощным, полоумным стариком, то незачем советоваться со мною, – считал он, – чем я могу помочь вам? Ничем – утверждаете вы. И тогда незачем рассказывать мне о своих проблемах».

И Генрих Боровик описывает его предельно старым, очень больным, еле двигающимся и говорящим хриплым, склеротическим голосом. Никто не заглядывал в его душу, где до сих пор царили страсти по России, жила любовь, никто не говорил с ним задушевно. Никто, кроме Елены Петровны Ивановой-Пауэре. Он объявил конкурс на должность секретаря-машинистки. Было тридцать соискателей. Елена Петровна, или Элен, как он ее назвал, была деловита, умна и пришлась ему по душе. Он мог часами говорить с нею, глядя в ее милые, очаровательные глаза. Она ценила его, знала, что он значил для России. Она ухаживала за ним, как за маленьким ребенком, вела его финансовые дела. А он в шутку называл ее «генеральным» секретарем. Иногда он по-старчески капризничал, говорил, что ему надоело жить, надоели бредовые утверждения Ульянова и его последователей о мировой революции, сколько можно дурачить россиян? Внешне радовался, что болезнь одолевает его, что скоро наступит полное успокоение, но в последний момент, когда болезнь доходила до пика, его организм оказывал ей бешеное сопротивление – и смерть отступала. Почувствовав облегчение, оживлялся, но нервно, говорил, глядя в пустоту. Однажды

протяжно произнес:

– Я помню, помню… Вы меня слышите, Элен?

– Конечно, Александр Федорович.

– Я вам рассказывал о встрече с Рахманиновым в Париже?

– Нет.

– Он мне наигрывал русские мелодии. Шаляпин хотел петь в его опере «Алеко», написанной в студенческие годы. Чудеснейший композитор. И пианист от Бога. А в России? Наверное, недобиток буржуазии. Страшные, дикие люди!

– Не волнуйтесь, Александр Федорович, – успокаивала его Элен.

– Я спокоен, спокоен… Чего мне волноваться, – нервно вымолвил он. – Думаете, никто меня не понимал? А вот и не так! Возьмите папку, Элен. Из верхнего ящика стола.

Элен открыла папку с ворохом бумаг и газет. Наверху лежала газета со статьей известного историка Евгения Сталинского, посвященная десятилетию февраля. Элен прочитала строчки, подчеркнутые, наверное, Керенским: «В большевизме, как движении, …воплотился дух разрушения, гнев, ненависть, накоплявшиеся в народе под придавившей его плитой самодержавия… Планы Ленина были не национальные, а мировые, и революция служила ему только рычагом для того, чтобы опрокинуть здание капиталистического мира… Большевизм останется лишь базисом, пусть длительным, русской революции, которая пойдет к своему завершению не под знаком Октября, противоречащим ее сущности, а путями, которые Февраль самим фактом своим проложил в будущее. Февраль начинает побеждать октябрь. Революция медленно, но верно возвращается к позициям, которые были даны в Феврале. Нельзя перелистать обратно страницы истории, и река времен не течет вспять. Происходит возвращение к тому основному, органическому, что нес с собою февраль: свобода и труд, деятельное выступление народных масс на историческую арену, самостоятельное творчество трудящихся, вольно строящих новую жизнь на свободной земле. Февраль был в этом».

Элен подняла глаза на Александра Федоровича: «Каким светлым умом, силой воли и любовью к людям обладал этот ныне немощный человек? Наверное он, сам не осознавая происходящего, цеплялся за жизнь, надеясь застать воплощение своей мечты в реальность». Элен взяла в руки вырезанные из газет заметки об отмене матча на первенство мира по шахматам между Алехиным и советским гроссмейстером Михаилом Ботвинником.

– Вы играли в шахматы? – поинтересовалась она.

– В домашние, любительские, – уголками губ улыбнулся

Александр Федорович, – я с нетерпением ожидал игры Алехина с советским гроссмейстером. Надеялся на победу нашего Алехина. Но неожиданно он умер, неожиданно и очень странно… Да, многое мне виделось в жизни странным… Искал ему объяснение и хорошо, когда не находил. В противном случае меня всегда охватывало отчаяние… От того, что я никак не мог исправить чудовищное, до чего докопался… – мрачно заключил Александр Федорович, и вдруг посветлел. – Вы умны и очаровательны, Элен! Я готов смотреть на вас бесконечно, всю… – задержался он, хотел сказать – «всю жизнь», но остановился.

На девяностом году жизни он сделал предложение Элен, несмотря на почти полувековую разницу в возрасте. Любовь к ней держала его на земле. Она заплакала, жалея его, боясь, что ее отказ сильно огорчит его. Он без слов понял ее. Шансов на взаимную любовь не было. Больше не зачем было цепляться за жизнь. Александр Федорович Керенский скончался 11 июня 1970 года, на девяностом году жизни. Элен дала телеграмму в Лондон, старшему сыну. В Америке Александра Федоровича, человека без подданства, похоронить было нельзя. Сын отвез гроб в Лондон, где прах был предан земле на муниципальном кладбище для нищих и бездомных. Дети плохо знали отца. В Англии его почти не помнили. В своих мемуарах Джордж Бьюкенен предпочитал вместо Керенского иметь во главе России генерала Корнилова.

Сын даже не присутствовал на похоронах. Заплатил за них деньги, и этим его прощание с отцом ограничилось. Прах небрежно ссыпали в общую могилу. Рядом не было ни родных, ни соратников, даже священника. По существу, он всегда был – один. Были сподвижники в борьбе за демократию, но по сравнению с толпами народных масс они представлялись малостью.

В России кратко, без комментариев, сообщили о его кончине. Без сомнения, были люди, помнившие его, лично знакомые с ним, даже на его родине, но высказать свои чувства к Александру Федоровичу Керенскому, первому демократу во главе России, они тогда не могли.

Сейчас, когда в стране происходит то, что Керенский пытался осуществить в 1917 году, его имя и дела начинают вспоминать, хотя еще редко и робко. В его образе довлеет клеймо проигравшего, потерпевшего неудачу в демократизации страны. И Берберова в своей замечательной книге мемуаров «Курсив мой» написала: «…все было в ту весну, в то лето, кроме быстрых, верных и необходимых дел. Не было гения… А был тот, главный виновник всего, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, который не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному ремеслу государственной

власти или хотя бы ремеслу оппозиции… кто вел страну от позора к позору… Тогда на верхах люди бросали все и уходили: сначала царь и его министры, потом кадеты, потом социалисты. Оставались самые неспособные и неумные…»

Общеизвестно, что «политика – дело последнее (хотя и необходимое)», грязное дело. И вот в 1917 году, впервые в истории России, в политику пришел человек честный, с кристально чистой душой, юридически образованный, успешно применявший свои знания в адвокатской практике, никем не назначенный, никем не навязанный, любимый интеллигенцией и рабочими, с прекрасными помыслами, деятельный до самопожертвования, известный с юных лет защитой интересов народа, потом не всегда понимаемый им, но не пошедший навстречу его низменным и невежественным слоям. Он потерпел неудачу, что было неудивительно, но до конца жизни оставался верным своим принципам, вере в преображение России, которое наступает, пусть медленно, иногда с теми же ошибками, что и в семнадцатом году, иногда отступая от намеченной цели, опрометчиво не используя опыт Февраля, но наступает, неотвратимо.

Этот факт неоспорим, как и кто бы к нему ни отнесся.

Необходимое послесловие

Дети рождения начала тридцатых годов взрослели и умнели медленно, с пионерских лет погружаясь в пафос пятилеток и вражду к капиталистическому окружению. Я не был исключением. Но к своим тридцати годам интуитивно почувствовал сочувствие к «наемнику капитала», заядлому «контрреволюционеру» Александру Федоровичу Керенскому, хотя и называл его неправильно, ставя на его фамилии ударение на первом слоге вместо второго, впрочем, так же как и его всевозможные обличители. Слишком яростно его ругали, и к тому же бездоказательно, а такая ругань, как я уже понимал, является признаком бессильной злобы и слабости.

К тому же от старших и более опытных товарищей я слышал мнение, что в социальном развитии нашей страны «следовало бы остановиться на феврале».

Общение с поэтом Андреем Вознесенским приподняло и раздвинуло для меня горизонты в понимании жизни и литературы.

Я знал, что архив Керенского – потом выяснилось, что личный, – находится в Америке в библиотеке Станфордского университета, точнее, в русском отделе Гуверовского института при университете. И надо же случиться такому, что мой племянник из Ленинграда решил уехать в Штаты, считая, что там сможет реализовать себя как программист и личность, жить достойно своим способностям. Поступить в Станфорд ему не удалось, подкачал тогдашний английский, еще недостаточно освоенный. Пек лепешки у хозяина-мексиканца, ремонтировал муниципальный дом для эмигрантов – он и в России был мастером на все руки. И лет через пять, получив официальное право на работу, стал программистом, и не простым, а самой высокой квалификации, вызвал в Штаты жену с сыном, тоже отличную программистку, и родителей, уже пенсионеров. Звали его Сашей Буровым. Его мама, Елена Зиновьевна Бурова, научный сотрудник, была моей двоюродной сестрой, самой близкой. Ее отец – родной и любимый брат моего отца, Зиновий Стронгин, геройски погиб на войне. Его жена, Александра Павловна, пережила блокаду в Ленинграде. И надо же случиться, что семья Буровых пригласила меня в Америку, в городок Монте-Вью, что в семнадцати километрах от Станфордского университета.

Надышавшись чистого воздуха Калифорнии и страны, строго и свободно живущей по законам, я набрался смелости и попросил родных подвезти меня до заветной библиотеки. Мой племянник

настолько отлично справлялся с обязанностями, что шеф фирмы отпустил его в рабочее время часа на три-четыре, за которые мы успели съездить в Станфорд. В течение одной минуты, предъявив международный паспорт, я получил пропуск в читальный зал русского отдела архива, а еще через пару минут мне принесли ящик с личным архивом Керенского. Глаза разбежались от обилия интереснейших документов и радости, но я, как деловой американец, не стал терять время на эмоции и, отобрав самые важные для себя материалы, перепечатал их на ксерокопирующем аппарате, расположенном в читальном зале. Саша оплатил стоимость ксерокопий, а до этого – мою туристическую поездку по Калифорнии, за что я ему вечно благодарен, и, конечно, сестре, без «нажима» которой я, не зная английского, самостоятельно не добрался бы до Станфорда. Надо же было всему этому случиться? Удивительному благоприятному стечению обстоятельств для знакомства с жизнью незаурядного, необычного для своего времени человека, первого истинного демократа во главе России. Работая над архивом и другими документами о 1917 годе и Керенском, я обнаружил, что жизнь сводила меня с людьми из его времени. Этажом выше жила подруга моей мамы Лидия Исааковна Винавер, чей муж приходился племянником Максиму Моисеевичу Винаверу, члену Государственной думы, кадету, известному прогрессивному общественному деятелю России. На похоронах моего отца, на панихиде, выступал Николай Николаевич Накоряков, бывший директор Гослитиздата, а в 1917 году – военный комиссар 12-й армии Временного правительства (!). Прежде ничего подобного об этих людях я не ведал. Расскажу подробнее, поскольку даже их облик, их человеческий настрой помогли мне представить людей из окружения Керенского и понять его самого.

Предварительно должен сказать, что я вряд ли смог бы написать эту книгу без изданий, собранных моим отцом, окончившим Промакадемию и работавшим полиграфистом, директором издательств, входивших в государственное объединение издательств – ОГИЗ, заместителем начальника которого в конце жизни стал Накоряков. Отец рисковал, оставив в домашней библиотеке книги под редакцией «врагов» народа: Бухарина, Рыкова, Каменева, Бубнова, Гамарника… И поэтому, когда он был арестован, будучи директором государственного издательства еврейской литературы «Дер Эмес» («Правда»), за издание якобы националистической литературы», наверное, при обыске волновался, что эти книги обнаружат. Надо же такому случиться, что чекисты в штатском искали в доме «Черную книгу» о фашистском геноциде еврейского народа, изданную отцом и

уничтоженную по их приказу. Боялись, что у отца сохранился экземпляр или верстка этой книги. Лишь однажды я услышал выкрик одного из них: «Нашел! Тухачевский!» Остальные столь нужные мне теперь книги о Гражданской войне сохранились. Хватило мужества у мамы, научного сотрудника Института экономики АН СССР, после осуждения отца страшившейся своего ареста, не уничтожить их при просмотре библиотеки.

Отец вернулся из лагеря в 1956 году, был полностью реабилитирован, называл Сталина «холерным», но, ощутив себя никому не нужным, отработанным «материалом», к концу жизни разочаровался в идеалах партии и лично в Ленине, чего не скрывал. Я задумался об этом, и серьезно, но стереотипы прошлого преодолел не сразу.

Страдавший болезнью Паркинсона отец лег на профилактическое лечение в больницу старых большевиков на шоссе Энтузиастов и, заработав там по странной халатности врачей инфаркт, скончался от воспаления легких в 1968 году, когда после окончания хрущевской «оттепели» в стране подняла голову реакция. В этой больнице начался страшный мор – в основном уходили из жизни старые большевики, репрессированные при Сталине и, вероятно, знавшие о вождях революции и их делах более того, чем кому-то властному казалось нужным. Эти «кто-то» боялись, что панихиды на похоронах бывших репрессированных могут превратиться в стихийные митинги протеста. Поэтому на прощание с моим отцом, куда пришло около трехсот человек, работник крематория выделил всего шесть минут – настойчиво и безоговорочно, грозя прервать траурную церемонию. На каждого из трех человек, пожелавших выступить, приходилось всего по две минуты. Эмоциональнее и лучше всех сказал об отце Николай Николаевич Накоряков. Небольшого роста, ладного телосложения, с седыми густыми волосами, подстриженными бобриком, он говорил, страстно и волнующе, подчеркивая активную роль отца в развитии еврейской литературы, его честность и непреклонность, проявившуюся даже на Лубянке, где он после диких пыток не подписал лживые протоколы. Говорил о деловых качествах отца, кстати члена партии большевиков с 1917 года, говорил о его истинном вкладе не в дело партии, а в служение культуре. На это я обратил внимание и об этом вспомнил, узнав, кем был Накоряков при Керенском. Они, несомненно, встречались, и военный министр, наверное, был для молодого Накорякова отличным примером человека-гражданина.

Всегда подтянутый, немногословный, скромный и гордый, отменный специалист по строительству мостов племянник

Винавера и в первую очередь комиссар 12-й армии Временного правительства Николай Николаевич Накоряков помогли мне, насколько хватило у меня восприятия, сил и умения, наполнить духом Февральской революции повествование об Александре Федоровиче Керенском.

Надо же такому случиться, что судьба не раз подталкивала меня к написанию этой книги. Даже была благосклонна. Я перепечатал архив Керенского и увез в Дом творчества, а в это время мой сокурсник по институту Миша К., вошел в сговор с временными жильцами и риэлтером, выбросил или забрал к себе весь мой архив с целью захвата квартиры. Не удалось. И материалы с Керенским сохранились.

Я вспомнил, что однажды отец, отсидев восемь лет в лагере, переосмысливая жизнь, многозначительно признался мне в том, что до революции получил больше, чем потом, руководя издательствами. До революции, разумеется, Октябрьской – выходит в месяцы правления Временного правительства. Ранее, до объявления Керенским равноправия всех народов, отец просто не смог бы перебраться в Минск из еврейского местечка Пуховичи. Трудился наборщиком в типографии «Звезда» и зарабатывал больше, чем при большевистской диктатуре директор издательства. Значит, жизнь после победы Февраля была в России нелегкой, но не столь удручающей, как в СССР.

Я кропотливо и с полным напряжением сил создавал эту книгу, первый вариант которой увидел свет в 2004 году, и сразу же заимел две полярные рецензии: положительную журналиста В. Крылова – «Пасынок революции», и отрицательную, где я обвинялся в «любви к своему герою». Книга вызвала интерес, продавалась в киоске при Государственной думе и один из ее членов, кстати, выбранный туда от города Вольска, как и в свое время Керенский, познакомился со мною и задал мне несколько непростых вопросов. Немногим позже, меня пригласили на телевидение в программу Первого канала «Постскриптум». Записывали более часа, но пустили в эфир только две минуты. Передача посвящалась девяностолетию Февральской революции и ведущий программы заключил ее словами о том, что «Керенский был блестящим адвокатом, но никудышным политиком». Впервые и открыто о Керенском прозвучали хоть в какой-то мере хорошие слова. Была открыта в Музее Революции выставка материалов о Феврале. Медленно, натужно, но историческая правда начала возвращаться на круги своя. И я снова вспоминаю известного историка Д. А. Волкогонова, его пророческие строчки: «История лаврами победителей увенчивает своих лауреатов обычно много лет спустя. Ленин казался победителем на все времена, но в его

октябрьском триумфе… Керенский и другие проницательные россияне увидели очертания неизбежного поражения… Сегодня мы знаем, что именно они оказались правы». Насчет последнего замечания следовало бы уточнить – кто мы? Далеко не весь народ. Именно сегодня, в ноябре 2008 года в очередную годовщину Октября коммунисты клялись, что «никому не отдадут его завоевания».

Противостояние между демократией и опасностью слева продолжается. Но история неодолима в своем поступательном развитии. Наконец-то в 2007 году на Поварской улице, как дар Москве, установлен памятник великому русскому писателю И. А. Бунину усилиями музея Бурганов-центр и ассоциации «Бунинское наследие». Вышел на киноэкраны фильм «Адмирал» о легендарном адмирале и ученом Колчаке.

Пусть писатель на памятнике не очень похож на себя, отсутствуют интеллигентные и тонкие черты на его лице, пусть адмирал Колчак в фильме показан не таким, каким его знали Бунин и Керенский, его современники, но сами факты возрождения памяти о великих людях земли Русской значительны и демократичны. И как тут не вспомнить об Александре Федоровиче Керенском, который, несмотря на настойчивые требования однопартийцев сделать Россию эсеровской, упорно «тяпал» коалицию, понимая, что только в конкуренции нескольких партий, пусть даже двух, во взаимном контроле их друг за другом, лежит путь к прогрессу. И весьма актуально сегодня звучат слова Николая Дмитриевича Авксентьева, министра внутренних дел Временного правительства последнего состава: «Нечеловеческими испытаниями приходит Россия к самосознанию. Не ее вина. Слишком долго внизу царил мрак, а наверху великая вражда к той государственности, которая претендовала представлять нацию… Слишком долго слово „патриот“ выговаривалось как „потреот“… И прямым нашим желанием, верой является то, что и слово, и понятие это вынесут, выстрадают до конца те, кто принял великую мартовскую революцию, (то есть Февральскую, начавшуюся в последние дни февраля. – *В. С.*), кто, несмотря на все испытания, не отрекся от нее и во имя ее лозунгов живет и действует… Тяжел путь русской демократии. Ее гонят, задушают слева, ее преследуют справа. Между молотом и наковальней она живет и продолжает бороться за новое право… будущее принадлежит ей… И пусть в это будущее из мрачных годов испытаний незапятнанными, неискаженными, абсолютными и вечными принесет она свою веру и свое утверждение родины!».

11 ноября 2008 года многие страны мира, особенно США и

Франция, отмечали восьмидесятилетие со дня окончания Первой мировой войны – страшной мясорубки, унесшей миллионы человеческих жизней. Выделялась важная и громадная роль русской армии в действиях войск Антанты против немецкой армии. Если бы русские войска не перешли в наступление летом 1917 года, то немцы, стоящие на подступах к Парижу, овладели бы столицей Франции, что могло бы открыть им дорогу для других завоеваний. Наступление русских заставило их срочно перебросить часть дивизий на Восточный фронт. Нельзя забывать, что это наступление организовал и вдохновил Верховный главнокомандующий и министр-председатель России Александр Федорович Керенский. Поднять в атаку русских солдат, измученных трехлетней окопной жизнью, разлагаемых большевистской пропагандой пораженчества в войне, травимых горчичным газом противника, стоило ему неимоверных усилий, но помогло утвердить значение родины в мировом сообществе. В самой Франции с немцами геройски сражалось русское соединение, половина которого полегла в боях. Могилы русских воинов сохранены и оберегаются.

В октябре 2008 года в Москве на стене часовни Николая Чудотворца возникла памятная доска Колчаку, была разбита вандалами, но вновь воссоздана. Будет ли когда-нибудь установлен памятник Александру Федоровичу Керенскому, преданному анафеме большевиками более чем Колчак, Деникин, Врангель и Юденич, вместе взятые? Через десять лет, через сто десять, через двести десять? Лучше бы через десять – в 2017 году – в столетнюю годовщину Февральской революции. И я гордился бы тем, что заложил свой камень в основание памятника:

Александр Федорович Керенский – демократ во главе России.

Список использованной литературы

Архив А. Ф. Керенского. США: Библиотека Гуверовского института войны, революции и мира.

Берберова Н. Н. Курсив мой. М., 1996.

Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990.

Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1925.

Воейков В. Н. С царем и без царя. М., 1995.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1985.

Ерашов В. Временное правительство. М., 1995.

История Гражданской войны. М., 1928.

История Гражданской войны. М., 1938.

Керенский А. Ф. На повороте истории. М., 1980.

Ленин В. И. Собр. соч. 1-е изд.

Лукирский А. Кто должник? Авиаиздательство, 1926.

Милюков П. Н. Мемуары. М., 1988.

Милюков П. Н. Мое отношение к последней войне / Последние новости. Париж, 1924.

Набоков В. Д. Временное правительство: Воспоминания. М., 1924.

Очерки по истории Октябрьской революции. М., 1927.

Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М.: Госиздат, 1926.

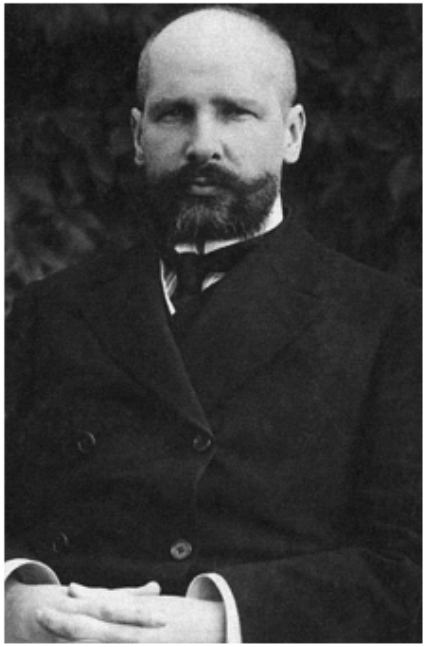
Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1923.

Родзянко М. В. Государственная дума и Февральская революция 1917 г. Ростов-на-Дону, 1919.

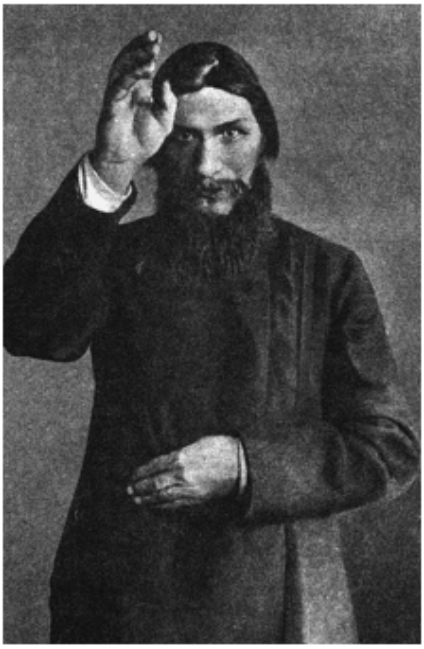
Троцкий Л. Д. Уроки Октября. М., 1924.

Александр Федорович Керенский. 1913 год

Николай II и Александра Федоровна



П.А. Столыпин. Киев, 1911 год



Распутин

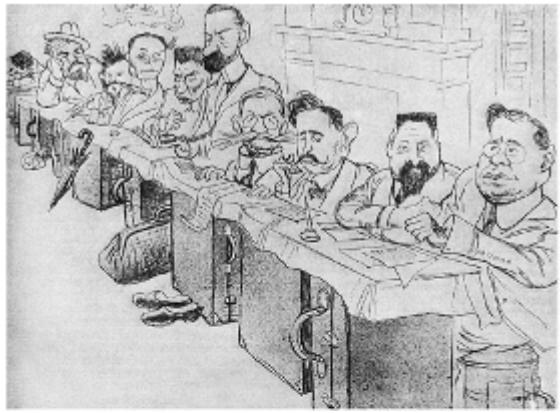
А.Ф. Керенский. 1915 год

Солдатская демонстрация в Петрограде в февральские дни 1917 года

А.Ф. Керенский и члены Временного комитета Государственной думы

Временное правительство первого состава

А.Ф. Керенский и А.В. Колчак в Одессе, май 1917 года



Временное правительство за работой. Карикатура Кукрыниксов

А.Ф. Керенский на Северном фронте

Казачий полк, вызванный с фронта для поддержания порядка в столице

А.Ф. Керенский. 1917 год

Внутри редакции газеты «Солдатская правда»

Союз георгиевских кавалеров агитирует за войну до победного конца

Солдаты требуют заключения Николая Кровавого в Петропавловскую крепость

Смотр женского батальона смерти

«Смотр последних сил контрреволюции». Карикатура Кукрыниксов

А.Ф. Керенский. Париж, 1918 год

Прибытие генерала Корнилова в Москву

Керенский с помощниками. Слева направо: полковник Барановский, генерал-майор Якубович, В.В. Савинков, А.Ф. Керенский и полковник Туманов

Александр Блок

Зинаида Гиппиус

П.Н. Милюков

Д.С. Мережковский

В.Д. Ходасевич и Н.Н. Берберова

О.Э. Мандельштам

Владимир Набоков

В.Д. Ходасевич

Нина Берберова

И.А. Бунин

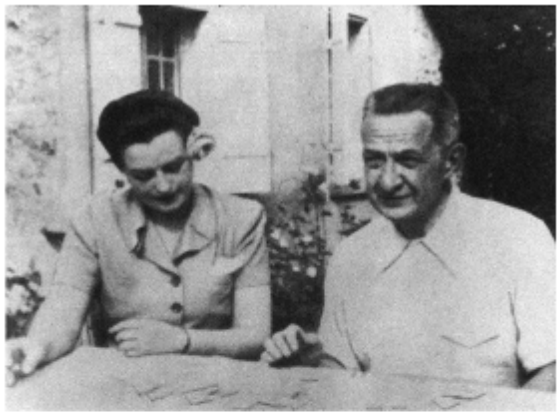
А.И. Куприн

Сергей Рахманинов

Александр Вертинский

Марк Алданов

С П.Н. Милюковым



С женой Терезой-Шелль. 1939 год

А.Ф. Керенский.
Рисунок Ю.П. Анненкова

Одна из последних фотографий